

Е. Е. Колосов

СИБИРЬ ПРИ КОЛЧАКЕ

ВОСПОМИНАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ
ДОКУМЕНТЫ

Издательство «БЫЛОЕ»
1923

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“

Печатаются и готовятся к печати новые издания:

Ст. Белецкий

бывш директор Департамента полиции

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

Из воспоминаний

Проф. К. А. Пажитнов

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В РОССИИ

Т. I. Период крепостного труда

С. Мстиславский

ДЕНИКИНЦЫ НА УКРАИНЕ

Из воспоминаний о киевском подполье 1919 г.

Д. О. Заславский и В. А. Канторович

ХРОНИКА ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С предисловием В. И. Невского. Т. I. Февраль—Май 1917 г.

Проф. К. А. Пажитнов

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РОССИИ

Т. I. От Пестеля до Группы Освобождения Труда

Проф. Б. В. Титлинов

ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“

„БЫЛОЕ“ — КНИГА 21-я

М. А. Бакунин. Годы странствий (1840—1849). А. А. Корнилова. — Возмущение крестьян на фабрике кн. Гагарина. К. А. Пажитнова. — Одесские вольнодумцы пушенинской поры. Ю. Г. Оксмана. — С. Г. Стахевич и его воспоминания. А. А. Шилова. — Среди политических преступников. Воспоминания С. Г. Стахевича. — К процессу В. И. Засулич. Р. М. Кантора. — На закате народолюбия. И. И. Майнова. — Из переписки с П. Л. Лавровым. В. И. Иохельсона. — Материалы для характеристики контр-революции 1905 г. Из переписки Б. В. Никольского с Антоном Волинским. — Григорий Распутин. С. П. Белецкого. — Из воспоминаний М. В. Родзянко. — Как это было? Массовые убийства при Колчаке. Е. Е. Колосова. — Закавказье в первую половину 1918 г. и Закавказский Сейм. С. Я. Хейфеца. — Критика и библиография.

Печатается и выйдет в начале июня

КНИГА 22-я

Александр Первый. Н. Н. Фирсова. — Некрасов и деньги. К. И. Чуковского. — М. А. Бакунин. Годы странствий (1840—1849). А. А. Корнилова. — Воспоминания о Некрасове. Е. И. Жуковской. — По поводу воспоминаний о Некрасове. В. Евгеньева-Максимова. — В Тобольской тюрьме. С. Г. Стахевича. — Былые знакомства и встречи. П. Быкова. — Александр II и имп. Евгения. Г. Сандомирского. — Литературные воспоминания. А. Р. Кугеля. — На закате народолюбия. И. И. Майнова. — Темное дело. Д. Заславского. — Александра Федоровна Романова. Канторовича. — Григорий Распутин. Ст. Белецкого. — Как тайное стало явным? Н. Осиповича. — Революция в Баку. А. Попова. — К 75 летию „Коммунистического Манифеста“. — По поводу воспоминаний И. И. Майнова. — Критика и библиография.

Готовится к печати

КНИГА 23-я

Юность Ф. М. Достоевского. В. Комаровича. — М. А. Бакунин. Годы странствий. А. А. Корнилова. — Ножин и Михайловский. Е. Е. Колосова. — От Тобольска до Агатуя. С. Г. Стахевича. — Два письма марксистов к Михайловскому. — Литературные воспоминания. А. Р. Кугеля. — Дело Плеве. П. Ивановской. — Воспоминания А. И. Верховского. — К истории 17 октября (В. в. Николай Николаевич и „независимец“ Ушаков). — А. Д. Протопопов. Характеристика. Д. О. Заславского. — Из переписки В. В. Розанова. — Революция в Баку. А. Попова. — Критика и библиография.

Автобиографическая заметка.

(Вместо предисловия).

Эта книга требовала бы многих пояснений, я сделаю из них некоторые. Прежде всего о материалах, по которым она писана. Я давно задумал ее, не менее, чем два-три года назад. А собирать документы к ней и литературу я начал еще раньше, но материала этого у меня не было под руками, когда я смог, наконец, заняться давно задуманной работой. Как это случилось, я поясню примером и аналогией.

Когда я думаю об условиях, в которых мне пришлось работать, мне всегда вспоминается один эпизод, рассказанный в 3-ей части „Истории моего современника“ В. Г. Короленко. Там, между прочим, говорится об одном юноше в Метехском замке в Тифлисе, арестованном за пропаганду еще в 1876 г., о том, как его приходил усовещивать вел. кн. Михаил Николаевич, и что из этого вышло. Позже, в Сибири, я хорошо знал этого юношу из Метехского замка. Он пробыл там, главным образом в Алтайском районе, больше 25 лет и выдвинулся, как один из лучших сибирских статистиков и как знаток экономической жизни края, в частности — истории в нем общинного землевладения. В течение четверти века он собирал разнообразнейший материал по этим вопросам, материал зачастую архивный и никому не известный, предполагая потом его обработать. В революцию 1905—1906 гг. он получил давно ожидаемую возможность выехать из Сибири в центр, в Петроград, и рассчитывал, что там он наконец сделает сводку собранного материала и завершит таким образом работу всей своей жизни. Весь свой огромный архив он послал багажом в десятках ящиков и сундуков, но багаж этот до Петрограда не дошел. На железной дороге нашлись люди, которые заподозрили, что в этих сундуках скрыты какие-то большие ценности, и сумели их похитить. Часть этого материала потом можно было встретить в поволжских орбдах, напр., в Самаре, на толкучках, куда он был пущен на продажу, надо думать, с веса. Не знаю, представляет ли себе читатель всю ту драму, которую тут пережил мой бывший юноша из Метехского замка, но я ее себе хорошо представляю, так как со мной случилось нечто подобное. Я тоже нишился всего собранного материала в то самое время, когда долго ожидавшийся момент для работы, казалось, наступил.

472
75

Тот юноша из Метехского замка, о котором рассказывает Короленко, с этим ударом не справился, и работа его осталась не написанной. Я думал, что и меня ждет такая же участь, но оказался счастливее его. Я решил сначала записать хотя бы для самого себя, что помнил и как помнил из времен своей сибирской жизни. Так составились первые два очерка этой книги, напечатанные предварительно в № 20 и 21 журнала „Былое“. Но затем положение мое осложнилось, и я должен был совсем оставить мысль о работе, так как было не до того, и только в последнее время я снова мог вернуться к ней, быстро набросав опять по памяти, без материалов, вторую половину книги. К счастью, к этому времени я получил дубликаты небольшой части утерянных мною материалов из одного сибирского архива и мог пересмотреть заново все написанное.

Оба раза мне приходилось работать с лихорадочной поспешностью, и мне некогда было думать о том, что у меня получается: мемуары или политический отчет. Я не чувствую в себе способностей мемуариста, а для отчета время как будто бы прошло. Но что бы ни получилось, я полагаю все-таки, что мои наброски не будут лишними даже в том виде, какой они имеют здесь. Я достаточно много видел в Сибири, а вне Сибири слишком мало знают, что происходило там за эти годы, чтобы мои записки оказались бесполезными.

По происхождению я коренной сибиряк. Мой отец привлекался когда-то вместе с Гр. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым по делу об отделении Сибири в 1865—1866 гг., все трое они вместе были арестованы в Томске и затем вместе же находились в заключении в омской губернской тюрьме, той самой, о которой не раз говорится в этой книге. Мой отец был убежденным дарвинистом в духе 60-х гг., он выучил самоучкой английский язык, чтобы прочесть в подлиннике „Происхождение видов“ Дарвина, и не только прочел, но и перевел весь том для себя на русский язык. В конце 90-х гг. он сделался марксистом и с большим интересом следил за „Новым Словом“, которое тогда только что стало выходить. Как марксист, он высказывался против общинного землевладения и очень сочувствовал промышленной капитализации России. Он всегда стремился на Запад, где—свобода, просвещение и где все построено на началах самоуправления. Но жить ему пришлось в Сибири, в глуши, занимая пост акцизного надзирателя IV участка Восточно-Сибирского округа. Тут, у себя в канцелярии, он переводил Дарвина и следил за „Новым Словом“.

Он отличался безупречной честностью, его очень уважали во всем округе. Жил он в Ачинске, Енисейской губ. Позже обстоятельства сложились так, что именно Енисейская губерния сделалась центром моей политической деятельности в Сибири, и как бы по наследству ко мне перешли многие связи отца. Это во многих отношениях облегчало мое положение и давало мне доступ в такие сферы, куда проникнуть иначе мне было бы очень трудно.

Мать моя, как и отец, тоже коренная сибирячка, даже более коренная, чем он, если тут возможны степени. Она урожденная Разгильдеева, из Забайкальской области. Чрезвычайно известный в тех местах—„варвар Разгильдеев“, начальник Карийской каторги, прославившийся легендарною жестокостью

близкий родственник отца моей матери. Женская же линия ее рода идет от князей Гантимуровых, которые своим предком считают хана Тимура (Чингис-хана). Таким образом, я могу по матери считать себя ... „потомком Чингис-хана!“ Более сибирское происхождение найти едва ли можно.

Я пишу это для того, чтобы читатель видел, что я с Сибирью связан не случайно. Я и родился в таком ультра-сибирском городе, как Перчинск, куда отец мой был сослан после освобождения по делу Потанина. Мои детские годы были сплошь обвеяны чисто сибирскими воспоминаниями, о людях и традициях. Но меня самого покойный Потанин называл „плохим сибиряком“, имея в виду мое тяготение к обще-русскому общественному движению. И он был прав в известном смысле.

Отец мой всегда настаивал, чтобы мы, его дети, возможно скорее выби- рались на Запад. Его не удовлетворяла даже и Европейская Россия, он хотел, чтобы мы воспитывались в свободных странах, по крайней мере, в Швейцарии, а еще лучше в Соединенных Штатах. Но тогда все мы были патриотами и ехать из родной нам Сибири не соглашались. Я помню, как мне в детстве казалась кощунственной самая мысль о том, чтобы я мог оставить когда-нибудь такую, казалось мне, лучшую страну в мире, как Сибирь. До известной степени это настроение подогревалось и семейными традициями,—я помню приезды Н. М. Ядринцева в наш дом в Томске и разговоры, всякий раз возбуждавшиеся его визитами.—„Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири“,— говорит княгиня Трубецкая у Некрасова. Живут, и как еще живут,—готовы мы были вторить ей в детстве. Позже, однако, у меня в значительной степени выветрилось это областническое настроение, и я стал проще относиться к своей родине. Помыкавшись по свету, повидав красоты горной Швейцарии, наслаждаясь годами чудными красками Генуэзского залива, этого благословенного места, которое стало мне второй родиной, давшей мне столько светлых минут,—я научился ценить и суровую красоту Сибири. Как она прекрасна, эта дикая сибирская природа! Но ее общественная жизнь, но жестокие нравы, веками в ней вырославшие, как они тяжелы! И этот климат с его нечеловеческими морозами, снежными ураганами, молниеносным жарким летом, все это так неприспособлено для культурной жизни. И опять мне вспоминаются жены декабристов, заброшенные, как тропические пальмы, в наши холода. И уж не княгиню Трубецкую, а Волконскую я всегда невольно вызывал в своей памяти в этих случаях, особенно ее слова в одном письме из Читы:—„какое мужество надо иметь, чтобы жить в этой стране“.

— „Словно саваном, снегом одетая, словно мертвый, недвижно бледна, божьим солнышком скупо пригретая, человеческой жизнью бедна“—вот это Сибирь.

Из Сибири первый раз я выехал в июле 1896 г. из Томска. Железная дорога тогда доходила только до Оби. На месте нынешнего Н.-Николаевска была еще—тайга. Я ехал в Петроград, на Запад. Мне было 17 лет.

Вскоре после этого я был арестован по делу о Ветровской демонстрации 4 марта 1897 г.,—это был мой первый арест, но далеко не последний. В конце 90-х гг. я вступил в Северный союз социалистов-революционеров.

основанный тогда Аргуновым, и с тех пор вся моя жизнь определилась. Я всегда был народником, несмотря на то, что отец мой чувствовал себя марксистом.

Моя жизнь прошла вся в революции, и если бы я ее снова начал, я встал бы на ту же стезю. Правда, теперь мы часто слышим сетования:—чего же ради мы боролись столько лет и для чего приносили такие жертвы?—Я понимаю такое настроение, но я чужд ему. От революции меня не отвратят „Двенадцать“ Блока, но я и не буду их идеализировать. Я слишком свыкся с мыслью, что на земле царит закон борьбы, и для меня нет жизни без борьбы, как нет борьбы вне революции.

Свою жизнь я вел долгое время вне Сибири. Но в 1916 г. мне пришлось снова попасть к себе на родину и надолго в ней задержаться. С небольшим перерывом (июль 1917—июль 1918 гг.) я пробыл в ней вплоть до начала 1922 г. Я приехал туда за год до революции; жил я в Красноярске, задержавшись там на пути в ссылку в Туруханск; мартовскую революцию я тут и встретил. В ноябре 1917 г. я был заочно избран в Учредительное Собрание по списку № 3. Зимой этого года, гениально описанную в „Двенадцати“ Блока, я провел в Петрограде и снова в Сибири очутился летом 1918 г., тотчас после чехо-словацкого переворота. Очень многим казалось странным, но это факт: в чехо-словацком перевороте я не принимал участия и даже не знал о его подготовке, как я об этом подробнее говорю ниже.

Для лучшего понимания дальнейшего я должен здесь привести еще несколько хронологических справок, но уже не только личного характера.

Чехо-словацкий переворот произошел в мае-июне 1918 г. Первым пал Ново-Николаевск—24 мая. Потом Омск—8 июня. Потом Красноярск—18 июня, наконец, Иркутск—16-17 июля. В августе открылся путь через Читу и Харбин на Владивосток.

Переворот формально возглавляло Сибирское правительство, избранное на областном съезде в Томске в январе этого же года. Но большая часть его во главе с председателем находилась на востоке, на западе же оставался Зап.-Сиб. Комиссариат Сибирского правительства, составленный сплошь из с.р.-ов. В конце июня месяца он передал бразды правления совету министров во главе с Вологодским. Это и есть так называемое Сибирское Временное правительство.

Оно просуществовало до Директории и потом претворилось через Директорию во всероссийское. Это произошло в конце октября 1918 г. Через несколько недель после этого, 18 ноября 1918 г., круг замкнулся еще раз—воцарился адмирал Колчак.

Моя книга посвящена не Сибирскому правительству, а правительству Колчака. Но я считаю, что „колчаковщина“ началась еще до Колчака. Этапы ее развития можно обозначить датами политических убийств,—Новоселова, Моисеенко и др. Новоселов был убит 20 сентября 1918 г. по возвращении с Дальнего Востока. Военные организации монархического типа, создавшие впоследствии „колчаковщину“, в то время уже существовали. Опасаясь, что с появлением на сцене Новоселова правительство может плевать и стать социалистическим,—они решили сделать нападение на левую его часть, аресто-

вали нескольких министров (Крутовского, Шатилова), затем заставили их силой дать подписи под заготовленными прошениями об отставке, а Новоселова, за отказ удовлетворить их требования—убили.

Убийство Новоселова, это — первое открытое появление на политической арене „колчаковщины“. Через месяц после этого бесследно исчез Моисеенко. О судьбе его я говорю подробнее в самой книге, в гл. 10-ой четвертого очерка.

Правительство Колчака просуществовало немногим больше года. В Омске, впрочем, оно не смогло отпраздновать даже годовщину своего существования, так как Омск был взят красной армией 15 ноября, за три дня до годовщины. Но в Иркутске колчаковское правительство было ликвидировано только в начале января уже 1920 года. Этот процесс ликвидации колчаковщины и занимает мое особенное внимание, так как он был связан с чрезвычайно крупным событием в истории Сибири,—именно с начатыми еще в Красноярске переговорами от лица местных общественных организаций с советской властью о создании единого фронта для борьбы на востоке и с образованием так называемого „буферного“ государства, ныне уже не существующего. Моя задача и состоит в том, чтобы дать не только картину этих переговоров, но и обрисовать, как в Сибири создавалась обстановка, сделавшая их неизбежными, и какие силы в этом случае сыграли особенно крупную и важную роль. А так как во всем этом процессе ликвидации старого строя и выработки новых отношений с советской властью известное значение имело так называемое тогда земско-социалистическое движение и так как я являлся наиболее ответственным лицом его исполнительного органа — „Земско-Полит-Бюро“, — то соответственным образом располагается и все мое изложение.

В книге, которую я предлагаю теперь вниманию читателя, выполнена первая часть этого плана. Здесь дана общая, но, разумеется, не исчерпывающая, характеристика самой „колчаковщины“ и намечены силы, способствовавшие ее разложению. Все остальное мной предположено ввести во вторую часть, которая, впрочем, должна будет носить такой же вполне самостоятельный характер, как и предлагаемая работа.

Кончая это предисловие, я считаю нужным сделать еще несколько замечаний личного характера. Я старался в своем изложении выдержать чисто объективный тон и, полагаю, в общем достиг этого. Я ни с кем не полемирую, а изучаю события, стараясь подвести итог для своих — „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“. Я полагаю, что сибирский опыт должен быть изучен и рассмотрен во всех подробностях и из этого должны быть сделаны твердые выводы для политической работы будущих поколений. Не предполагая пока охватывать всех событий в целом, в намеченных выше рамках, а ограничиваясь только периодом правления Колчака, я бы определил эти выводы, как сознannую необходимость бороться всеми средствами против восстановления старого до-революционного порядка. Все наши несчастья; все бедствия, пережитые нами; ошибки, которые мы допустили; эксцессы, которые оказались неизбежными; ужасы жизни и кровавые

кошмары, о которых так много говорится в этой книге, — все это наследие старого режима. Употребляя выражение известного русского социолога, можно сказать, что мы в своей революции принесли слишком большие „жертвы старой русской истории“. Порвать с прошлым — такова задача. Она не так легка практически, как это кажется, хотя теоретически разрешается сравнительно просто.

Я был бы счастлив, если бы моя книга в этом отношении принесла свою долю пользы. Я хотел бы во всяком случае сказать этим летучим листкам из запаса моей памяти:

— „Идите в мир и послужите миру“...

Евгений Колосов.

Декабрь 1922 г.
С.-Петербург.

Очерк первый.

Крестьянское движение при Колчаке.

I.

Общий обзор крестьянского движения в его разновидностях.

1. Значение крестьянского движения.

Самым ярким фактом в жизни Сибири за период существования власти адмир. Колчака были, несомненно, крестьянские восстания. Они начинаются одновременно с переворотом 18 ноября, даже еще раньше, с первым появлением „колчаковщины“ на общественной арене (убийство Новоселова в середине сентября 1918 г.), носят первоначально характер местных конфликтов, возникавших на самой разнообразной почве, затем сравнительно быстро принимают яркий анти-колчаковский характер, каковой и носят до самого падения власти верховного правителя. За все время пребывания адмир. Колчака у власти крестьянские восстания не прекращались, то затихая,—там, где у администрации находились силы для их подавления, и пока эти силы действовали,—то вспыхивая при малейших благоприятных условиях, то вдруг, как лесной пожар, охватывая огромные территории, десятки волостей, даже целые уезды, а под конец и губернии. Это была длительная, упорная и организованная борьба, не прекращавшаяся ни на одну минуту, если брать общесибирский масштаб, и окончившаяся победой крестьян, столь, казалось, невозможной. Почти все крупные вожди крестьянских отрядов (Мамонтов, Новоселов, Рогов, Кравченко, Щетинкин, Лубков, Яковенко, бр. Бабины и др.) пережили Колчака. Победителями на поле битвы остались они, а не Колчак.

Замечательной чертой сибирской жизни за этот же период является и то, что во время борьбы деревни с Колчаком город оставался сравнительно спокойным. Городские движения, возникавшие в разных местах (в Омске в декабре 1918 г. и феврале 1919 г.; в Томске в марте 1919 г.; в Красноярске в июле 1919 г. и пр.) бывали спорадическими и судорожными, организовывались нередко с участием агентов власти, провоцировавших население на преждевременные выступления. Да и по составу участников эти городские движения являются, в сущности, полу-крестьянскими, так как они захватывали главным образом солдатскую массу, а не городских рабочих. Попыток, которые бы предпринял самостоятельно рабочий класс, городской пролетариат, правда в Сибири немногочисленный, — 300-400 тыс. на 9-10 милл. населения, —

во все же существующий, не то чтобы совсем не было, но длительной, организованной, все более и более нараставшей формы движения они при- вять не могли. Так что, по тем или иным причинам, но главной реальной силой, оказывавшей непрекращающееся вооруженное сопротивление прави- тельству Колчака, должно быть признано—крестьянство.

Я не ставлю, однако, здесь своею целью написать подробную историю крестьянского движения при Колчаке. Для этого у меня нет ни необходимых материалов, ни даже возможности получить для обработки то, что в разных местах имеется. Но я был близким свидетелем этого движения, многое знал о нем из первых рук и, придавая ему всегда очень крупное значение, вни- кательно следил за ним, а с некоторыми руководителями его находился в непосредственном общении. Все это заставляет меня передать здесь то, что я знал уже в то время о крестьянском движении, о его территориальном рас- пространении, о районах, где оно укрепилось особенно сильно, о политическом настроении как повстанцев, так и вообще широких масс крестьянства, о борьбе интересов в его среде и об идейных лозунгах, в которых эта борьба выражалась. Я буду брать, главным образом, такие материалы, которые уж тогда проходили через мои руки; я буду обрисовывать это движение не как ученый, а как летописец-современник, не как историк, а как политик, прини- мавший непосредственное участие в общем ходе событий и в их развязке.

2. Общий обзор движения.—Южный район.

Начну с тех сведений, которые у меня были к моменту падения власти Колчака или, точнее, к моменту падения Омска (15 ноября 1919 г.) о крестьян- ском движении. К середине ноября 1919 г. партизанское движение в Сибири достигло наивысшего развития. О его силах и о территории, находившейся в руках повстанцев, у меня тогда были довольно точные сведения, касавшиеся к тому же не отдельных частей Сибири, а всей ее площади в целом. В моем распоряжении находилась тогда карта Сибири, от Урала до Забайкалья, на которой были нанесены партизанские фронты, всего несколько десятков фрон- тов, с указанием, кто являлся руководителем данных отрядов и в данной местности, какой силы были эти отряды, каким оружием они обладали и какого рода войска, пехота или конница, находились в их распоряжении. Это было очень ценное пособие для суждения о политической роли тогдашнего крестьянского движения, так как оно было составлено крупными специалистами по информации.

Я и раньше имел такие сведения, еще с весны 1919 года, когда я жил в Красноярске, месте своего постоянного пребывания. Военная администрация Красноярска, руководимая ставленником Колчака, генер. Розановым, подозревала, что у меня есть эти сведения, и ген. Розанов, не делая из этого большого секрета, обвинял даже меня в том, что я являюсь одним из лиц, тайно руково- дивших крестьянскими восстаниями по губернии. Я должен, однако, категори-

чески заявить здесь, что эти обвинения совершенно фантастичны: я не имел никогда никакого отношения к непосредственному руководству крестьянским движением при Колчаке, хотя, правда, получал сведения о нем не менее ценные, чем сам ген. Розанов.

Наиболее ценным материалом, который за время моей жизни в Сибири проходил через мои руки по вопросу о крестьянском движении, была, несомненно, та карта повстанческих фронтов, о которой я упомянул выше. Одним своим внешним видом она уже производила большое впечатление: глядя на нее, ясно было видно, что буквально вся Сибирь охвачена пламенем крестьянских восстаний. Не было такого угла в ней, не было ни одного уезда, начиная от Семипалатинска и кончая районом за Иркутском, далеко на Амур и Восток, по которым бы не проходила красная линия партизанских фронтов. То тут, то там, то прямыми линиями, то зигзагами, то замкнутыми районами, то районами с отдельным перерывом красной линии, но фронты были нанесены решительно повсюду. В одних местах они уходили вглубь страны, далеко от ее жизненной артерии — железной дороги, в других подступали к ней почти вплотную, едва не разрезая магистраль.

Прежде всего обращала на себя внимание южная группа, в нижнем углу карты — это Алтайская губерния, хлебная житница всей Сибири, район обеспеченного крестьянства и маслодельных артелей, вывозивший на заграничные рынки перед войной одно сливочного масла на 75 милл. рублей. В этой губернии оказывалось несколько очагов крестьянских восстаний. Самый крупный из них занимал самую хлебную часть губернии — Славгородский уезд, связанный с магистралью Кулундинской жел. дорогой, от Славгорода через Кулундинскую степь к гор. Татарску. Центром повстанческого движения было здесь с. Солонцовка — место нахождения главного штаба повстанческих войск, руководимых Мамонтовым. К этому району тяготели Барнаульский, Каменский, северная часть Бийского уездов и весь Славгородский, — огромная территория, примыкающая к Оби и заречной лесной полосе, постоянному прибежищу повстанцев. С запада сюда же подходил Семипалатинский район с железнодорожной станцией Рубцовка, расположенной на границе большого бора, второй колыбели повстанческого движения. За осень 1919 г., начиная с августа по декабрь, Рубцовка несколько раз переходила из рук в руки, то от правительственных войск к повстанцам, то от повстанцев к правительственным войскам, пока, наконец, последние не были оттуда вытеснены окончательно. Бывали моменты, когда железная дорога (от Барнаула до Семипалатинска) на протяжении 100—150 верст находилась по две-три недели в руках партизанских отрядов, чем расстраивалось все движение грузов в этой части Сибири.

Славгородский район к ноябрю 1919 г. имел всего до 25 полков под общим командованием Мамонтова. Это была целая армия, вооруженная пулеметами и имевшая даже орудия, состоявшая как из пехоты, так и конницы. Начиная с осени, ее несколько раз рассеивали правительственные войска, но она опять возрождалась, провела весь октябрь в боях, а в ноябре, к моменту падения Омска, к каковому периоду была приурочена вышеупомянутая карта,

повстанческая армия заняла Славгород (20 ноября), через несколько дней Семипалатинск, а 9 декабря и Барнаул. Все это происходило в период времени с августа по декабрь.

Одновременно с этим, за те же месяцы в той же Алтайской губ., но не на севере, а на юге созрел другой очаг крестьянского движения, тылом своим опиравшийся на горные кряжи на юге Бийского уезда, а другим флангом уходивший далеко за горный хребет, к югу от Усть-Каменогорска. С последним районом я не имел никакого соприкосновения, он был слишком далек от тех мест, в которых я имел постоянное пребывание. Что же касается движения на юге Бийского уезда, начавшегося с конца лета 1919 г. и имевшего базой Горный Алтай, в частности с. Черный Ануй, то с ним я имел некоторые личные связи, и о нем я ниже буду говорить подробнее, пока же отмечу лишь следующее.

На карте, которой я тут руковожусь, показано, что к середине ноября в этом районе действовали четыре большие крестьянские армии: Милославского в 4000 чел., Плетнева в 3000 чел., Чаузова в 1000 чел. и Рогова в 500—1000 чел. Они занимали район по обе стороны р. Бии, на север от Бийска и к западу от Барнаула, выходя на железную дорогу между Бийском и ст. Овчинниково. Движение началось тут в степи и перекинулось потом в горы, на Алтай. Вооружение крестьян было очень примитивное: огнестрельного оружия, а тем более артиллерии, почти совсем не было, в большом ходу были пикаи, называвшиеся здесь — „тычки“; с ними крестьяне сплошной массой ходили прямо на пулеметы и, усеивая кругом все своими телами, брали их; тех, кто пулеметы защищал, уничтожали, прокалывая своими пиками — „тычками“. Иногда же они заманивали конные отряды, особенно, если это были чехи, поляки и вообще иностранцы, плохо знавшие местность, в глубь страны, заводили их в болота и там, окружив плотным кольцом, выжидали, когда их противник расстреляет все патроны. После этого попавших в засаду брали в рукопашном бою и всех до одного — убивали. Это была настоящая сибирская „жакерия“ со всеми свойственными ей чертами: хитростью, как главным оружием, жестокостью, как главным средством для расправы с противником.

В этом районе необходимо особо выделить крестьянское движение, начавшееся на юге Бийского уезда в конце лета 1919 г. и имевшего своей базой горный Алтай, в частности село Черный Ануй. Оно интересно как своей организованностью, так и политической программой, о которой я буду говорить. Выдающийся интерес представляют и лица, стоявшие здесь во главе движения. Они отличались большим талантом организаторов, необычайной силой воли и непреклонной суровостью в отношении к врагам. Еще в августе 1919 г. здесь происходил большой съезд восставших селений, сначала в с. Солоношенском, а потом вторично в Черном Ануе. Съезд в с. Солоношенском открылся 30 авг., в 8 час. утра. На съезд явились представители 8 волостей, 25 селений в числе 33 чел. Всего же в округе насчитывалось к этому времени 24 восставших волости ¹⁾. 8-го сентября открылся новый съезд

¹⁾ В этом районе население волости в среднем надо считать в 10—12 тыс. человек.

с более полным составом делегатов, так как в Солоношенское многие не смогли прибыть в назначенное время. На съезде в Черном Ануе присутствовало 62 делегата. Как на том, так и на другом съезде была принята одна и та же резолюция о причинах и целях восстания, в которой между прочим говорилось:

— „Народное восстание на Алтае возникло стихийно, подобно буре. Народ был выведен из терпения насилиями, чинимыми агентами правительства Колчака, расстрелами, порками и другими издевательствами; жить по человечески, свободно дышать и спокойно трудиться стало совершенно невозможно, и народ взялся за оружие. Нас никто не подстрекал и не руководил нами. Народное восстание не преследует партийных целей. Мы признаем равноправность всех народностей и полную свободу вероисповедания. Смертная казнь, телесное наказание и всякое насилие над личностью должны быть отменены немедленно. Мы боремся за установление всеобщего мира в России, за объединение в одну дружную братскую семью всех враждующих и проливающих братскую кровь сынов великой пострадавшей родины нашей“.

Повстанцы этого района (как, впрочем, и в других) придавали большое значение правильной организованности народной армии. Еще в с. Солоношенском было постановлено, что все отряды восставшего народа должны считаться частями единой народной армии и обязаны безусловно подчиняться поставленному командованию в лице главного штаба, — который потом был выбран на съезде в Черном Ануе, — и уполномоченных им лиц и учреждений. Все лица, находившиеся в отрядах в возрасте от 19 до 40 лет, составляли боевое ядро народной армии; в течение 3-х месяцев они не имели права покинуть ее рядов и обязаны были по требованию главного штаба в любое время в полной боевой готовности явиться в назначенное место. Но главный штаб, в случае особой опасности имел право и лиц свыше 40 лет призвать в боевое ядро армии.

Необходимо отметить также, что Бийский уезд в этой части граничит с Кузнецким уездом Томской губ., так что здесь алтайские повстанцы соприкасались с повстанцами на юге Томской губ. и переходили из одного уезда в другой. Главным образом, это относится к отрядам Рогова и Новоселова, районом деятельности которых и являлся главным образом юг Томской губернии, та часть ее, — на что необходимо обратить внимание, — где когда-то селились рабочие из ссыльных для нужд горной промышленности. Это обстоятельство положило свой отпечаток на крестьянское движение в этом районе, создав тот тип его, который, в отличие от только что описанного, ниже мной назван — „сибирской махновщиной“. Сибирская махновщина родилась и воспиталась, как в колыбели, там, где раньше когда-то царила уголовная ссылка и принудительные работы на горных промыслах. Этот тип крестьянского движения коренным образом отличался от другого вида, выросшего в чисто земледельческих районах в разных концах Сибири.

Вся перечисленная выше масса алтайских отрядов действовала на территории губернии с 2,5 милл. жителей и 300 тыс. кв. в. пространства, — территории, покрытой и лесами, и горными кряжами, и обширными степными

урочищами, чрезвычайно приспособленной к ведению партизанской войны. Участниками восстаний являлись обычно местные люди, в совершенстве изучившие свои районы, знавшие в них каждый кустик, каждое болото, все тропы и дороги. Сочувствие мирного населения всегда оказывалось на стороне повстанцев, что также давало им огромное преимущество перед правительственными войсками, к тому же составленными нередко из иностранцев, чехов, поляков, сербов или из казаков отряда Анненкова, ненавистных мирным жителям хуже, чем всякие иноземцы.

3. Общий обзор движения.—Томская губ.

Второй обширной территорией повстанческого движения является Томская губ. в своих прежних, а не нынешних границах. Славгород и Семипалатинск лежат к югу от магистрали, на расстоянии от нее в 400—450 в., т.-е. сравнительно далеко. К северу от магистрали по территории Каинского и Тарского у.у. летом и осенью 1919 г. пролегал свой особый повстанческий фронт. Одно время он занимал пространство от села Вознесенского вдоль жел. дороги до Екатерининского завода Тарского уезда, Омской губ. Здесь повстанческие отряды насчитывали от 500 до 600 чел., сравнительно не так много, что не мешало им около двух месяцев быть полными хозяевами этой части территории адмир. Колчака.

Дальше на восток, приближаясь к Томску, мы вступали в сферу действий отдельных небольших отрядов, числом от 8 до 12, друг с другом ничем не связанных и бороздивших губернию по самым разнообразным направлениям с самыми разнообразными целями, очень часто не имевшими ничего общего ни с какой политикой. Наибольшей популярностью среди этих отрядов пользовался отряд Лубкова, бывшего унтер-офицера, с большим успехом ведшего борьбу с карательными экспедициями, направлявшимися против него из Томска. За лето и осень 1919 г. томские газеты были переполнены известиями о действиях, набегах, грабежах, как писали тогда, Лубковского отряда. Его несколько раз разбивали и рассеивали, но сам Лубков оставался невредимым и вскоре снова собирался с силами и вновь начинал свои набеги, внося тревогу в городское население, особенно уездных центров.

Кроме Лубкова, тут же действовали отряды Матузова, Голикова, Керасилова, Толкунова и целого ряда других партизан, часто просто безымянных. Все они заполняли пространство к востоку и северо-востоку от Томска. Как ни менялись судьбы каждого из них, сколько их ни преследовали, а порой сколько их ни уничтожали, тем не менее к осени они все возрождались почти при том же командном составе, но в увеличенном размере. Это была поистине сказочная гидра, у которой на место одной отрубленной головы вырастали две новых.

Припоминаю свой разговор в ноябре того же 1919 г., к которому относится характеризуемая мною здесь карта повстанческих фронтов, с одним лицом,

чрезвычайно осведомленным в вопросах о внутреннем военном положении Сибири. Разговор происходил незадолго до падения Омска. Я спрашивал своего собеседника, как он расценивает возможность дальнейшего хода военных событий по магистрали и в каком положении, по его мнению, обстоит дело с Томском и Н.-Николаевском. Он мне ответил, что Томск, по его мнению, будет скоро занят, но не с запада и не красной армией, а с северо-востока повстанческими отрядами. Настолько, значит, высоко расценивал он, специалист в этого рода вопросах, значение и силу оперировавших около Томска отрядов, несмотря на то, что они были мало связаны друг с другом и сравнительно плохо вооружены.

Кроме этого, беспокоен был юг губернии, куда постоянно заходили отряды Рогова и Новоселова из Бийского в Кузнецкий и Щегловский уезды, и где были, вместе с тем, свои местные повстанческие организации, особенно в каменно-угольном Кольчугинском районе.

Следует, однако, сказать, что обе эти губернии, и Алтайская со своими повстанческими армиями, правильно организованными и сравнительно хорошо вооруженными, и Томская с целой сетью отдельных отрядов, постоянно укрывавшихся в бескрайних таежных пространствах, не представляли такой непосредственной угрозы для существовавшего порядка, как крестьянское движение, развивавшееся дальше, на восток отсюда, в пределах Енисейской губ., особенно в Каянском уезде и отчасти Ачинском, а позже в Минусинском. Повстанцы южного фронта были очень серьезные противники, но силу их не следовало преувеличивать. Наибольшая опасность со стороны их была в том, что они имели хороший тыл, делавший их неуязвимыми, тыл, состоявший в тайге по Томской губ. и в горных районах Алтайской, граничившей с Монголией. Повстанческие отряды могли в случае неудач либо скрываться в тайге, либо хорониться в горных гнездах Алтая, за пределами досягаемости для правительственных войск; либо, наконец, могли даже уходить по Чуйскому тракту под самое Кобдо. Но, вместе с тем, эти преимущества таили в себе и слабость их: они оперировали в области, слишком удаленной от магистрали, чтобы наносить непосредственный вред основному военному фронту на Урале, органически связанному со всей Сибирью жел.-дор. магистралью. Для того, чтобы причинять настоящий вред существовавшему тогда порядку, необходимо было удары направлять именно по этой жел.-дорожной линии, чего нельзя было достичь ни из Алтайской губ., ни из таежных углов Томской. Вот почему для правительства Колчака являлись гораздо более опасными те повстанческие районы, которые гнездились в прилегающих к жел. дороге местностях Енисейской губ. и около которых шла всю весну и лето самая жестокая борьба.

4. Общий обзор движения.—Енисейская губ.

К середине ноября 1919 г. по Енисейской губ. положение было такое. Весь юг губернии, ее житница, Минусинский край, в том углу, который образуется р.р. Тубой и Енисеем,—на восток от Енисея и на юг от Тубы,—во главе с гор. Минусинском, был занят так называемой крестьянской или народной армией Кравченко и Щетинкина. Это была, действительно, целая армия, имевшая артиллерию и кавалерию, притом весьма хорошую, и пехоту. На карте, данными которой я руководюсь, показано, что у армии Кравченко имеется 2 орудия и 25 пулеметов, 8000 пехоты и 1500 конницы. Армия представляла правильно организованный механизм, поскольку вообще могла быть организована такая плохо поддающаяся военной дисциплине среда, как деревенская, да еще сибирская, вольница. Из всех сибирских повстанческих армий армия Кравченко и Щетинкина играла наиболее громкую роль, ее стратегическое положение представлялось наиболее важным, удары, которые она могла наносить, наиболее чувствительными. Она заслуживает и с нашей стороны наибольшего внимания.

Эта армия первоначально зародилась вблизи самой железной дороги, в 15—20 верстах на юг от магистрали и в 50—70 в.в. от Красноярска, на восток от него. Колыбель ее—Степно-Баджейская и Перовская волости ¹⁾ на южной границе Канского и Красноярского уездов, под-таежный район, упирающийся в горно-таежную реку Ману, знаменитую своей красотой, дикой и первобытной.

Сначала там начал действовать Кравченко, у которого около села Нарвы находился собственный хутор (Кравченко—агроном по образованию); Щетинкин же первоначальной ареной деятельности имел северную часть Ачинского уезда с резиденцией в с. Большой Улуй, верстах в 50 на север, прямо от Ачинска. Начало деятельности того и другого относится к концу 1918 г.—приблизительно, к ноябрю месяцу у Кравченко и в декабре у Щетинкина. Оба они—офицеры: Щетинкин кадровый офицер, дослужившийся в германскую войну до чина штабс-капитана из простых рядовых; Кравченко же поручик, призванный в армию из запаса. Оба затем местные люди. Щетинкин до марта месяца пробыл со своим отрядом на севере Ачинского уезда, а затем, преследуемый правительственными войсками и почти ими окруженный, совершил необычайно смелую диверсию,—пошел на юг к Ачинску, перешел в 20 в. к западу от него, с небольшой кучкой сторонников, жел. дорогу, повернул затем к с. Ужур, от него на с. Новоселову, и отсюда через Енисей по льду к Красноярску, на встречу высланным оттуда отрядам, а затем, до встречи с ними, повернув на с. Дербино, перешел в тайгу; через тайгу, неизвестными тропами, на юг Красноярского уезда и на пасхе 1919 г. соединился с Кравченко на

¹⁾ В Степно-Баджейской вол. 3111 жит., в Перовской—9590. Это переселенческий район.

Манском фронте. Весь этот рейд он совершил на глазах всей губернии, пройдя совершенно безнаказанно несколько сот верст, если не всю тысячу, и разбивал неоднократно посланного наперерез ему из Минусинска соти. Бологова.

Напротив, Кравченко, начиная с того же ноября 1918 г., все время оставался в районе реки Маны, постепенно накапливая там силы и доведи их в конце концов до большой армии в 6—7 тыс. человек. Зародившись первоначально в виде небольшой группы повстанцев, которой никто не придавал серьезного значения, эта армия быстро выросла, и к концу зимы образовала так называвшийся тогда „камарчагский“ фронт, широко известный по всей средней Сибири. Камарчага—станция железной дороги в 60—70 вв. от Красноярска в сторону Иркутска. От Камарчаги территории, находившаяся в распоряжении повстанцев, начиналась иногда в 5-6 вв., иногда отодвигалась вглубь, вдоль трактовой переселенческой дороги на р. Ману, верст на 15-20, но никогда не дальше. За этим рубежом, начиная с зимы 1918—1919 г., находилась уже территория, прочно занятая повстанцами, куда в течение полугода, если не более, был совершенно закрыт доступ правительственным войскам. Власти Колчака до июня 1919 г. здесь буквально не существовало.

От ст. Камарчаги вглубь уезда пролежала, по направлению к реке Мане, большая шоссевая дорога, так называемая „переселенческая“ (построенная ведомством переселения), дорога, упирающаяся в село Степной Баджей. Степной Баджей сделался столицей повстанческой территории, и его там крестьяне называли—„Петроградом“. Здесь находилась большая переселенческая больница (лучшие сельские больницы в Сибири—переселенческие), обращенная повстанцами в свой военный госпиталь; школа, церковь, и тут же были оборудованы патронные заводы полукустарного типа, снабжавшие повстанцев военным материалом. В народе ходил слух, что повстанцы умеют делать даже порох, и когда крестьян спрашивали: из чего же они его делают?—то крестьяне отвечали: научились делать из березовой коры. Отмечу здесь, кстати, что в армии Мамонтова имелись тоже свои заводы, фабриковавшие до 500 штук патронов в сутки, и там тоже повстанцы сами приготавливали себе порох.

Работа в Степном Баджее шла очень энергично, местность была хорошо защищена со всех сторон от неожиданного нападения горами и непроходимой тайгой, а с фронта, от жел. дороги, живой силой повстанцев, непрерывно возроставшей. Шла широко поставленная агитационная работа, собирались съезды крестьян, издавалась одно время гектографированная газета „Крестьянская Правда“. Станция Камарчага в это время (март—июнь 1919 г.) походила на настоящий военный лагерь времен серьезной позиционной войны. Основную массу живой силы тут составляли чехи, за ними следовали итальянцы, частью сербы и русские. Центральную роль играли чехо-словаки, а наиболее отрицательную—томские гусары из Красильниковского отряда.

С середины мая 3-я чехо-словацкая дивизия пошла. Прехала начала наступление на камарчагский фронт, чтобы продолжить путь к р. Мане и загнать повстанцев в таежные дебри, где им грозила верная гибель, если не от зверей, то от голода. Камарчагский фронт превратился за время этих боев

в еще более знаменитый „манский“ фронт, бои на котором были необыкновенно кровавыми и напряженными и очень долгими. Борьба шла до середины июня, т.-е. целый месяц. Повстанцы отстаивали положительно каждый клочок земли, каждый пригорок, каждую речку. Рельеф местности для них представлялся чрезвычайно благоприятным: чем дальше вглубь к Мане, тем все более неприступными становились скалы и таежные ущелья, в то же время опасность быть разбитыми придавала энергию бойцам. Это была, действительно, героическая борьба, при том с неравными силами.

В конце концов, повстанческая армия была разбита и отброшена за Ману, в глубь тайги,—безлюдной, бездорожной, настоящей лесной пустыни. Степной Баджей пал, героический период его существования кончился, из столицы, „Петрограда“, он превратился в пустыню:—вся волость была выжжена.

5. Партизаны в Минусинском уезде.

Повстанческая армия на р. Мане была окончательно разбита 15 июня 1919 г. К этому времени она состояла из нескольких больших отрядов. В Красноярске говорили тогда (еще зимой, впрочем), что на Мане действуют три или четыре армии,—Тальская, Манская, Канская и еще какая-то, кажется, Агинская. Количество вооруженных борцов во всех них доходило до 6—8 тыс. человек при 8—10—12 пулеметах, смотря по времени, когда было больше, а когда меньше. При поражении Агинский полк совсем рассеялся, разошелся по домам; из двух других огромная часть либо погибла, либо тоже разошлась. Зато осталось много больных и раненых,—всего более 200 чел. Моральное состояние армии к этому времени сделалось ужасным. Разыгрывались потрясающие картины при отступлении в тайгу. Да и куда было идти? Остаться в тайге долгое время было нельзя, рано или поздно пришлось бы выйти из нее, либо назад в Баджей, либо в Минусинский край. О возвращении назад повстанцам не приходилось думать, оставалось одно—идти дальше к Минусинску. Но разве можно было сомневаться, что там, при выходах из тайги, стоят заставы и повстанцев уже ждут? Ити в Минусинский край значило, в сущности, ити на верную гибель. Случилось, однако, то, чего никак не приходилось ожидать—красноярские генералы оказались настолько непредусмотрительными, что никаких заслонов при выходе из тайги на просторы минусинских полей не оставили. Для разбитых и изнуренных остатков армии Кравченко и Щетинкина эта непредусмотрительность оказалась прямо спасительной.

Выйдя, после чрезвычайно трудного перехода по тайге, в Минусинский уезд и не встретив здесь никакого сопротивления, повстанцы употребили неделю на отдых и собирание продовольствия, а пополнив запасы, двинулись на юг, к Минусинску. Затем с ними начала разыгрываться история, столь нам знакомая еще со времени Дугачева. Только что разбитая армия быстро росла, как снежный ком, катящийся с горы. Минусинск повстанцы миновали, но заняли

Каратуз, столицу минусинского казачества, большое село, почти город. Казачьи власти оттуда позорно бежали, и впоследствии их поведение рассматривал казачий круг, собиравшийся в Красноярске. После Каратуза счастье, однако, еще раз изменило повстанцам,—их настиг с большим отрядом сотн. Бологов и дважды разбил под с. Ермаковским и южнее под дер. Григорьевкой. Вновь разбитые и полурассеянные отряды повстанцев решили спастись тогда в Урянхай и Монголию.

В Урянхай они прошли по Усинскому тракту, построенному руками каторжан, и через несколько дней по приходе туда заняли гор. Белоцарск, бюрократическую столицу Урянхая. По приходе их в Урянхай, там вспыхнуло восстание сойотов, мстивших русским за многолетние обиды, и началось повальное бегство русских на север, вниз по Енисею, на плотах. В свое время оно было подробно описано в местных газетах, сообщавших много интересных подробностей. В Урянхае армия Кравченко и Щетинкина снова оправилась. Красноярские генералы, выпустившие повстанцев из таежного кайкана, куда их загнали чехи, не нашли ничего лучшего, как послать в Урянхай того же сотн. Бологова, который только что взял такой реванш в борьбе с повстанцами. Бологов, молодой, казачий офицер, более смелый и задорный, чем способный к серьезной борьбе, решил, что тот „сброд“, который сгруппировался вокруг Щетинкина и Кравченко, можно рассеять одним ударом, и быстро двинулся на врага. Враг, однако, не дал себя провести.

Кравченко и Щетинкин обманули бдительность Бологова,—благо это не трудно было сделать,—и заманили его к Белоцарску, на левый крутой берег Енисея. Здесь они вдруг ударили на него со всеми силами, окружили и буквально сбросили с крутых скал в Енисей. Разгром оказался превосходящим все ожидания, и у повстанцев в руках осталась огромная добыча: несколько сот винтовок, несколько орудий, свыше 10 пулеметов и пр. Повстанческая армия снова возродилась и с этого времени шла от победы к победе.

После некоторых колебаний, вести о которых какими-то путями быстро доходили до Красноярска, что делать и куда идти—рождались мысль идти через горы в Кузнецкий уезд на соединение с алтайскими отрядами,—армия Кравченко и Щетинкина вступила вновь в пределы Минусинского уезда, на этот раз не с севера, а с юга, через Григорьевку, под которой они недавно еще потерпели поражение. Снова начали разыгрываться сцены, так нам знакомые еще по обороне Белогорской крепости в „Капитанской Дочке“ Пушкина. Серьезных боев нигде не происходило, хотя в Минусинске командовал генерал Попов, ген.-штабист, географ, исследователь Урянхайского края, позже—почти коммунист, в то время ревностный колчаковец. Бологов, к тому же раненный, добравшись до Минусинска, внес туда панику: там началась спешная, нелепая, судорожная эвакуация, а красноярские полководцы, сводя какие-то счета с минусинскими, оставляли их без помощи. Едва отошли последние пароходы с беженцами, как повстанческая армия вступила в город и завладела им так прочно, что оставалось в нем до падения власти Колчака, в течение трех месяцев (сентябрь—январь).

Это был пример, единственный на протяжении всей колчаковской территории и за все время существования власти Колчака. Правда, повстанцы неоднократно захватывали города и в других концах Сибири: так, в феврале 1919 г. ими был занят Енисейск; осенью 1918 г. занимался на некоторое время Славгород; летом—Камень, на Оби; позже Бодайбо; подходили они близко к Кузнецку, Тире, даже Канску. Но все это не выходило за пределы временных захватов, и, занимая эти города, повстанцы очень скоро теряли их, неся более или менее значительные потери. Минусинск, напротив, ими оказался занятым очень прочно, приблизительно так, как перед тем Степной Баджей, но в отличие от Степного Баджея здесь в их руки попал не притаженный район, полугорный и полудикий, упирающийся в дикую тайгу, а огромнейшая площадь плодородной земли, сравнительно густо заселенная (350 тыс. населения на пространстве 80 тыс. кв. в.), осыпанная всеми дарами природы, с железодельным заводом в Абаканске, с рядом больниц, с запасами продовольствия, теплой одежды, медикаментами и пр.

Упрочившись в Минусинском крае, повстанцы могли считать себя вознагражденными за все лишения и от чисто военной жизни имели возможность перейти к настоящему государственному строительству, чем они по мере сил и занялись. Пребывание в Минусинске дало им случай привести также в систему тот идейный запас, с которым они выступили на борьбу с колчаковщиной, что они сделали путем создания местной прессы в виде газеты „Соха и Молот“. Все это, взятое вместе, заставляет обратить на Минусинский повстанческий район наибольшее внимание и с особенной пристальностью приглядеться к нему, что мной и будет сделано в дальнейшем.

6. Тасеевский повстанческий район.

Все факты, приведенные выше, показывают, насколько серьезным являлось крестьянское движение в Сибири во времена Колчака. Между тем мы далеко еще не закончили даже чисто внешнее описание наиболее важных повстанческих районов. Камарчагским и Манским районами, перепешшими позже в Минусинский вооруженный плацдарм между реками Тубой и Енисеем, а также отдельными отрядами по Ачинскому уезду, выведенными на Ману Щетинкиным, еще не исчерпывается перечень крестьянских фронтов по Енисейской губ. Я уже упоминал о захвате в феврале 1919 г. повстанцами гор. Енисейска, находящегося на север от Красноярска в 600 в., в таком же расстоянии, в каком к югу от него находился Минусинск. Енисейск захватили отряды, вышедшие с Аягары, а на Аягаре они появились из с. Тасеева, расположенного прямо на север от Канска, в 125 верст. от жел. дороги. Тасеевский район представлял второй чрезвычайно важный очаг крестьянского движения по Енисейской губ.; он являлся центральным питательным пунктом для повстанческого движения всего севера губернии.

Тасеево—большое село (несколько тысяч жителей; всего в волости жителей 10—11 тыс. человек, что представляет большую цифру по сибирскому масштабу), расположено в глубине таежного уезда. В северной части губернии это единственное место, где есть хлебные излишки, поступающие в продажу на местном рынке. Хлеб отсюда обычно шел к Ангаре и в приангарский край и дальше на прииска Енисейской тайги. Енисейская тайга—это та местность губернии, которая расположена тоже в углу, образуемом тем же Енисеем и на этот раз Ангарой. Рекой Питом она делится на северную и южную тайгу,—«золотое дно» Сибири.

Тут когда-то создавались те самые «приваловские миллионы», которые описаны Маминим-Сибиряком. В 1840-х гг.—время действия героев Мамина-Сибиряка—здесь добывалось золота до 1400 пудов в год, колоссальная цифра даже по тому масштабу. Добыча шла хищнически, золото не добывалось, а расхищалось. Золотопромышленники то богатели, как во сне, подобно английским лордам, то вдруг ввергались в нищету. В конце XIX века выработка золота очень упала и спустилась до 120 пуд. в год, что вызвало кризис золотопромышленности и заставило ее перейти к механической добыче золота путем постановки особых машин—«драг», привозившихся в Сибирь из Новой Зеландии (привоз стоил больше, чем сама машина). Образовался целый ряд промышленных акционерных компаний, поднявших добычу золота до 220—230 пуд. в год. Были драги, как, напр., в северной тайге у Федоровского золотопромышленного об-ва, побивавшие мировой рекорд добычи золота,—25 пуд. на драгу.

Совершенно естественно, что повстанцы, захвативши хлебный тасеевский район, поставили своей задачей овладеть и тесно с ним связанным—здесь хлеб, там золото, два чисто сибирские продукта,—золотопромышленным районом. Отсюда начинается борьба повстанцев за северную, более отдаленную, и южную, близкую к ним тайгу, которая всю зиму 1918—1919 гг. шла с переменным успехом: счастье склонялось то на ту, то на другую сторону. Крупные золотопромышленники не верили в возможность захвата тайги «бандами», полагая, что правительственная власть отстоит столь важные для нее районы. Они даже мешали своим служащим вступать в дружины обороны, так как это отвлекало их от непосредственной добычи золота, которая в южной тайге ведется и зимой. Тяжесть самообороны пала в виду этого на плечи мелкого золотопромышленника, артельщика и на отдельных служащих, предоставленных самим себе, так как помощи со стороны не приходило. Тайга, главным образом, южная, в конце концов оказалась захваченной повстанцами, и дражный промысел правительством Колчака был совершенно потерян и больше ни при нем, ни позже, но уже по другим причинам, не восстанавливался.

Тайга, бездорожье, сравнительная отдаленность от центров, привычка населения к самостоятельности, наличие солдат, вернувшихся с фронта и прошедших там школу позиционной войны, создали такие условия, при которых Тасеевский район с прилегающим к нему Приангарьем и южной тайгой мог быть обращен в территорию, непроницаемую для колчаковских войск. За самодельными окопами, зимой из снега и льда, окруженные сторожевыми отрядами, целые волости выходили из-под власти Колчака и жили там какой-то свое-

образной, самостоятельной жизнью, оторванные от мира, но и отринувшие этот мир.

Весь этот район входил в состав Канского уезда, той именно части его, которая расположена на север от железной дороги. Но и другая часть уезда, меньшая, к югу от нее, находилась, как мы видели, не в лучшем положении, так как входила в состав манского фронта, где часть повстанческой армии так и называлась—«Канской». Зимой 1918—1919 г.г. почти весь Канский уезд оказался в районе восстания. Из 48 волостей, составляющих уезд, земская управа имела тогда постоянные сношения только с 10—12 волостями, примыкавшими непосредственно к полосе железной дороги, да и то, в трех из них, бывали набеги партизан. С остальными волостями у земской управы сношений не было, а если и бывали, то случайные. Населения в Канском уезде 320—350 тыс.; нужно считать, что из этого числа не менее 250—270 тыс. находились за линией фронта. Как они там жили? Какие отношения у мирного населения за ливией фронта устанавливались с повстанцами?

7. Партийные группировки среди крестьян.

Ответить на последние вопросы,—вся серьезность которых ясна сама по себе,—я могу только на основании отрывочного материала, доходившего тогда до меня, на основании сведений, сообщавшихся самими крестьянами.

Крестьянская мысль всегда конкретна. Крестьянство постоянно стремится к реальному, а не к отвлеченному. Крестьянин, особенно сибирский, эмпирик по природе. Поэтому, партийные группировки среди крестьян, намечавшиеся за это время, складывались на своеобразной почве, подчас очень неожиданной и парадоксальной. Крайнюю правую у нас занимала так называвшаяся в деревнях этой части губернии „Серебряная Гвардия“. Своеобразный термин чисто местного происхождения, который я встречал в деревнях Красноярского уезда. „Серебряная Гвардия“ это—люди с посеребренными сединой волосами. Это партия порядка в точном смысле такого слова. Люди такого типа желали гражданского мира и восстановления твердой власти, не особенно останавливаясь на том, откуда она исходит. Откуда бы она ни исходила, пусть будет только это—власть, а не дикое самодурство, которого никто не желал. Это консерваторы деревни. Про Колчака крестьяне такого типа выражались буквально так: „Он хорошо говорит (в манифестах), но делает, ох, как плохо“.

Против этих консерваторов деревни, консерваторов однако в известном, условном смысле, стояли две обширные группировки, одни—принимавшие советскую власть, и другие—тяготевшие к земской власти и Учредит. Собранию. Учесть их статистически, конечно, не представлялось никакой возможности, тем более, что и та и другая группировки, все-таки, в известной мере, тоже условны и своеобразны в понимании своих лозунгов, но обе они тогда существовали и в довольно широком масштабе. Были целые волости, в которых

население, даже по ту сторону линии фронта, все-таки почему-то примыкало то к этой, то к той стороне. Когда Канский уезд почти весь оказался в полосу восстания, то в нем и тогда находились целые районы, напр., Шеломовская, Соколовская, Червинская волости и нек. др., которые не соглашались вводить у себя советскую власть, принятую повстанцами, и высказывались за власть земскую. У самого Тасеевского села шла на этой почве долгая тяжба и борьба с соседней Рождественской волостью, принимавшая иногда формы тяжелого междоусобия.

Если мы станем внимательнее приглядываться к этому крайне любопытному явлению, то увидим, что внутренняя политическая борьба в среде крестьян началась еще раньше, после первых же дней революции. В 1917 г. она обнаружилась в яркой форме на столкновениях, происходивших на первом губернском крестьянском съезде в Красноярске, между большевиками и эс-ерами. Тогда канские делегаты образовали сплоченную левую оппозицию в 40—45 человек, правда, потом распавшуюся, а против них выступали минусинцы, тоже сплоченной группой в 70—75 чел., и съезд пошел за минусинцами и увлек за собой даже часть канской оппозиции.

Борьба доходила до такого страстного нервного напряжения, что во время прений об одной резолюции,—захватывать или не захватывать земли,—один из минусинских делегатов, солдат, контуженный на фронте, сошел от потрясения с ума и позже был увезен в Томск, в клинику душевно больных.

Настроение на съезде было действительно напряженным до крайней степени и могло даже людей привычных довести до изнеможения. Эта напряженность борьбы, находившая идеологическое выражение в борьбе за разные принципы и лозунги, станет для нас понятнее, если мы обратим внимание, какие интересы стояли за теми или иными теоретическими принципами. Так как мысль крестьянства всегда конкретна, то это конкретное должно было сказываться и в данном случае. И вот, приглядываясь внимательнее к указанному явлению, мы можем установить, что политические деления тут—применительно к данной губернии—проходили приблизительно по линии разделения экономических интересов. Конкретно это выражалось в том, что районы подтаежные, оторванные от центра, наиболее глухие, наименее грамотные, хотя грамотностью сибирская деревня вообще не отличается, стояли за одну ориентацию в политических вопросах, а районы земледельческие, хлебопашеские—за другую. При этом оказывалось, что первые районы переселенческие, вторые—старожильческие. Канский уезд имеет не менее 75% переселенцев, минусинский, напротив, отличается большой давностью в заселении: переселенцев там около 35—40%.

Переселенцы, это—парии в нашей жизни. Отношение к ним со стороны царского правительства всегда являлось чисто бюрократическим. Расселяли их до крайности нерационально. Людей из степных губерний селили в тайгу или в подтаежные районы; землепашцев—в скотоводческие местности и т. д. Очень часто они попадали на участки, вообще непригодные для хозяйства,

напр., лишённые воды или задавленные лесом. В тайге их заедал комар, зимой они замерзали от морозов.

С другой стороны, они привыкали ко всякого рода ссудам, которые развращали их и рабочее население перерождали в нищих, попрошайек-профессионалов. В итоге получалась своего рода „бродячая Русь“, хищнически обращающаяся с землей, лесом, природными богатствами. Этот бесхозяйный элемент, „бесхозяйная Русь“ в сибирской переработке, конечно, должна была отнестись очень сочувственно к таким политическим лозунгам, как, напр., захват земли, упорно пропагандировавшийся канскими делегатами на том же губернском крестьянском съезде в Красноярске. Но, ведь, в Сибири, в частности в Енисейской губ., частных земельных собственников совсем почти нет. По Енисейской губ., напр., только 0,9% всех земель состоит в руках частных собственников; остальная земля либо крестьянская, либо государственная. Тем не менее, мысль о захвате земель подкунала крестьян, несмотря на всю свою парадоксальность в сибирских условиях (в Канске было весной 1917 г. вынесено постановление о конфискации государственных земель!), то-есть, она подкупала крестьян-переселенцев. Можно, ведь, было захватывать земли у старожилов и казаков, которые являлись тоже старожилами и лучше, чем кто другой, были наделены землей.

Но, разумеется, по этим же причинам старожильческие районы должны были быть против идеи захвата земель и должны были высказываться за чисто государственный путь решения земельного вопроса, который бы гарантировал им, что их земли не будут предметом раздора и не станут захватываться каждым пришельцем без разбора. Так, по линии экономических интересов и проходило политическое расслоение нашего крестьянства. Как оно переотражалось в отношении крестьян к разным типам организации власти, зарождавшимся и укреплявшимся в разное время, и, в частности, как это отражалось на повстанческих политических программах, мы еще не один раз увидим, ближе знакомясь с крестьянским движением при Колчаке.

8. Тайшетский повстанческий район.

Тасеевский район, так же как и Минусинский, продержался до самого конца колчаковской власти. Руководящую роль в ней играли бр. Бабкины и Яковенко, впоследствии нарком. земледелия. Ни тасеевский, ни минусинский районы колчаковские генералы не смогли отвоевать от повстанцев. Но прежде чем эта власть пала, она нашла силы, чтобы уничтожить еще один очаг повстанческого движения, как был уничтожен „камарчагский“ фронт; этот очаг — Тайшетский повстанческий район, расположенный к востоку от Канска, в сторону Иркутска, на границе Енисейской и Иркутской губ., и относящийся собственно уже ко второй из них, а не к первой. Этот район одно время играл исключительно крупное значение, и на нем необходимо остановиться особо.

Тайшет (теперь он входит в состав Канского уезда, тогда входил в Нижнеудинский уезд Иркутской губ.)—большая железно-дорожная станция, почти город. По последней переписи во всей Тайшетской волости 15 тыс. населения, это очень крупная цифра по сибирским условиям, где средний размер населения волости не выше 6-7 тыс. человек, редко 8-9 тысяч и только в исключительных случаях выше 12-13 тыс. В самом Тайшете населения приблизительно 6-7 тыс. человек, если не больше. Через Тайшет проходит сибирская магистраль, в округе широко развито кооперативное движение.

При Колчаке, начиная с конца зимы (февраль—март) и до весенних месяцев на перегоне от Тайшета к Канску поезда ходили с большими перебоями. Воинские эшелоны почти с регулярной правильностью терпели крушения: спускались повстанцами под откосы; на пассажирские поезда происходили часто нападения. Поезда ходили одно время при обязательном сопровождении броневиков; общее положение было крайне напряженным и тяжелым. Чехо-словацких сил не хватало для охраны этого крайне важного жел.-дорожного участка, и в Тайшете имел постоянное местопребывание отряд румын под начальством полк. Кадлица. Румыны—наименее культурная часть из бывших в Сибири иностранных войск; у местного населения с ними происходили постоянные столкновения, порой очень острые.

Насколько перегон от Тайшета к Канску являлся открытым для нападения повстанцев, видно из всей тогдашней газетной прессы, в частности даже из чешской юмористической литературы, где он фигурирует в ряде карикатур над чехо-словацким войском. Юмористические чешские журналы пользовались правом известной свободы и могли касаться таких вопросов, касаться которых общая чешская пресса не имела возможности, это отражалось и на карикатурах о Тайшете. Временами бывало, однако, и чехам и румынам не до юмористики. Весной 1919 г. повстанцами было произведено прямо на Тайшет большое и хорошо задуманное нападение отрядом в 1000 чел., незаметно подошедшим под прикрытием лесов к самой станции. Бой шел за вокзал; чехи были застигнуты врасплох, но скоро оправались и отбросили повстанцев. Потери оказались, однако, очень большими, вокзал был совершенно разрушен и сгорел, движение пришлось прервать на некоторое время.

Ряд таких же нападений повстанцы произвели на отдельные посты и станции. На перегоне от Тайшета к Канску дорога идет лесом и гористыми увалами, представляющими хорошее укрытие для нападающих. Нападали обычно на лыжах, внезапно подходя к поезду и после обстрела скрываясь в лесу.

Чешская охрана преследовала повстанцев и тех, кого захватывала, „линчевала“ на месте. Разыгрывались сцены потрясающей жестокости, телеграфные столбы то тут, то там превращались в виселицы, и так на протяжении многих верст от станции до станции. О повстанцах тогда ходили целые легенды. Передавали, что у них от Степного Баджея в сторону Тайшета, вдоль железной дороги, на известном расстоянии к югу от нее, был проведен телефон, которым они и пользовались, чтобы комбинировать свои нападения сразу в нескольких пунктах на протяжении 300-350 верст. Телефонов на деле не было, но комбиниро-

ванность действий несомненно имела место. Любопытно отметить, что в армии Мамонтова, напротив, пользовались и телефонами, и телеграфом.

Тайшетский фронт и фронт „камарчагский“, в это время находившийся в полном расцвете, представляли грозную опасность для правительственных войск. Весь этот район от Канска к Тайшету, на север от дороги и к югу от нее, представлял сплошное повстанческое море, бурлившее волнами. В Красноярске власти не чувствовали себя спокойными, нервничали и ждали не то восстания в городе, не то нападения извне. Но город был в общем спокоен, бурлила деревня. Несмотря на это ген. Розанов, наместник Колчака в Красноярске, начал прибегать к самым репрессивным мерам,—введена была система заложничества. Каждое нападение на линии Тайшет-Красноярск вызывало расстрел заложников.

Нет никакого сомнения, что, если бы Колчак не имел тогда на перегоне к Тайшету помощи со стороны чехо-словаков, румын, сербов, итальянцев, то положение его было бы критическим еще весной 1919 г., и дорога там была бы разрушена, связь фронта на Урале с востоком и тылом была бы порвана, и тогда поражения, которые Колчак испытал под Пермью летом, произошли бы гораздо раньше, и катастрофа приняла бы еще большие размеры. Все это показывает, какую роль играло в то время крестьянское движение в Сибири. Без всякого преувеличения можно сказать, что его роль тут была первостепенного значения, и во внутренней жизни Сибири крестьянство являлось решающим фактором. Не город, а деревня создавала тогда длительное, непрерывное, организованное сопротивление диктатуре Колчака.

9. Крестьянское движение и революционная оппозиция.

Правительство Колчака, поразительное по своей политической близорукости, совершенно не отдавало себе отчета, насколько серьезно крестьянское движение и какую грозную опасность оно представляет. Повстанческие районы очень часто являлись хлебными районами (Алтай, Семипал. губ., Минусинский край, Тасеево и пр.); теряя связь с ними, правительство Колчака теряло огромные запасы продовольствия. Нечего говорить также о том значении для фронта, которое имели постоянные перерывы движения на магистрали. Когда тыл представлялся до такой степени беспокойным, то и на фронте не могли идти успешно даже чисто-военные операции. Было совершенно ясно, что для успокоения деревни нужны какие-то срочные и большие мероприятия; между тем Колчак и его генералы полагали, что с крестьянским движением легче всего справиться обычными репрессиями. Однако, совершенно иначе, чем правительство, отнеслись к тому же крестьянскому движению представители разных оттенков революционной оппозиции.

Обычно крестьянское движение определялось в Сибири, как движение большевистское, и в известном смысле оно было таковым. Большевистские нелегальные организации скоро учли, особенно после неудачных опытов чисто городских

восстаний, всю важность деревенского бунта и направили туда значительные силы. Позиция их была тем выгоднее, чем легче было противопоставить, по закону антитезы, власти Колчака идею власти советов. Так большевики и поступали. Коммунистов тогда в Сибири еще не знали (даже термин этот не пользовался распространением), большевиков же помнили еще по 1917—1918 гг., и психологически деревня чувствовала к ним определенное тяготение. Такая психологическая, или шире, социально-психологическая основа, у большевизма в Сибири несомненно была.

Большевизм представлял собою стихийный и бессознательный протест против всяких форм неравенства, а вовсе не непременно против неравенства экономического, как это обычно рисуется. Неравенство по образованию—разделение на грамотных и неграмотных; неравенство по культурному уровню—чисто, по-„городски“ одетые и одетые по-мужицки, по-деревенски; неравенство государственное с разделением на управляемых и управляющих и другие виды неравенства, совершенно неизбежного по существу и при данных условиях непреодолимого, по крайней мере, в краткий срок,—вот что составляло психологический источник для зарождения и развития большевистских настроений. Большевизм, как политическая система, тем и был близок нашему крестьянству, что внушал ему надежду, что все эти формы неравенства можно „скасовать“, как говорили казаки времен Хмельницкого, скасовать одним ударом сабли, выстричь всех под одну гребенку. Это была зыбкая и неустойчивая почва для построения длительного союза между разными политическими группировками. Впоследствии вся эта неустойчивость очень ярко сказалась, но пока, при Колчаке, она не чувствовалась.

Параллельно с этим намечался и другой тип отношения к крестьянскому движению. Он исходил из кругов земско-социалистических. История его образования в нескольких словах такова. Начиная с весны, а особенно с лета 1919 г., в Сибири намечилось одно новое общественно-политическое течение,—земско-социалистическое,—заявившее самостоятельную позицию по отношению к текущим событиям, в частности по отношению к правительству Колчака. Земства, избранные на основе всеобщего избирательного права, тогда, существовали, так как уничтожить их правительство Колчака, несмотря на все желание, не решалось, хотя и пробовало делать в этом отношении некоторые шаги. Несмотря на краткость своего существования, всего с 1917 г., и на малый контингент подходящих работников, земства, особенно местами, довольно прочно укрепились и представляли удобную почву для полу-открытой организации общественных сил на анти-колчаковской платформе.

В конце сентября и начале октября 1919 г. в Иркутске собрался нелегальный земско-социалистический съезд, на котором были представлены Иркутская, Енисейская, Томская губ., Алтай, Владивосток. На нем, для объединения политической работы земств, было избрано Земское Полит.-Бюро, в которое вошел и пишущий эти строки. За октябрь и ноябрь месяцы земское политическое движение становится своего рода политическим центром, около которого группируются представители анти-колчаковских организаций и течений. Земское

Полит.-Бюро вместе с ними вырабатывает общее отношение к текущим событиям. Тогда же на этих совещаниях принимается за руководящий принцип идеи „буферного“ государства. Постепенно, однако, земское течение поглощается новыми или, вернее, старыми политическими организациями, вновь почти открыто выступающими на арену политической жизни. В первой половине декабря того же 1919 г. всеми указанными группами, при участии в том числе и Земск. Полит.-Бюро, кладется начало для создания той формы власти, которая позже получает название „Политического Центра“. Земск. Полит.-Бюро отходит в это время на второй план, оставаясь как бы в тени.

Но если не в Иркутске, то ближе к западу, в Красноярске, представители земского движения во главе с покойным Г. П. Сибирцевым, одним из крупнейших общественно-культурных работников Сибири, выступают с самостоятельной программой деятельности, и, по их инициативе, образуется в городе Комитет Общественных Организаций, к которому на время переходит власть по губернии. Это был очень краткий период, но он важен тем, что здесь, в Красноярске, представители сибирской общественности впервые вступили в организованные переговоры с советской властью об условиях создания единого фронта ¹⁾. Земское движение, оставившее известный след в жизни Сибири, шло, конечно, не случайно. Оно нарастало постепенно, зародившись в самый разгар „колчаковщины“, когда, казалось, царству ее не будет конца. Между прочим, одним из наиболее важных явлений, вызвавших его к жизни, было крестьянское движение, так широко разлившееся тогда по Сибири. Земства, будучи тесно связаны с широкими крестьянскими массами, уже по одному этому не могли игнорировать крестьянского движения и поставили своей задачей войти с ним, через Земск. Полит.-Бюро, в те или иные сношения, что было решено сделать прежде всего в Красноярске.

Такое отношение к крестьянскому движению заставило, с другой стороны, представителей земско-социалистической оппозиции критически расценить, что представляет из себя в разных своих частях крестьянское движение, на что там надо смотреть, как на начало прогрессивное и жизнеспособное, и на что, как на начало нежизнеспособное и реакционное с общегосударственной точки зрения. Из предыдущего отчасти уже видно, к каким результатам пришла в этом случае земско-социалистическая мысль, представлявшаяся тогда двумя журналами: „Новым Земск. Делом“ в Красноярске, за период март—май 1919 г., и „Земской Сибирью“ в Иркутске, выходявшей с осени того же года вплоть до низвержения власти Колчака. В дальнейшем та же точка зрения на крестьянское движение со стороны земско-социалистической оппозиции выяснится перед нами полностью на конкретных фактах.

¹⁾ Об этих переговорах, так же, как о тех, которые вел Иркутский „Полит. Центр“, и о договоре в Томске, заключенном 20 янв. 1920 г., я буду еще говорить специально.

10. К характеристике крестьянского движения.— Сибирская махновщина.

Крестьянское движение в Сибири не только при Колчаке, а и раньше, за предыдущий период революции (оно и тогда существовало), начиная с 1917 г., представляло собою очень сложное общественное явление, далеко не однородное по составу своих участников и далеко не равноценное в разных своих частях. По своему составу оно не всегда было демократическим, напротив, в нем известное участие, иногда даже руководящее, играли обеспеченные слои деревни, зажиточные и богатые крестьяне. Так случалось, напр., на Алтае, в Семипалатинской губ. и др. местах. Не всегда оно руководилось революционными целями в общепринятом смысле этого слова. Больше того, случалось, что крестьянские движения начинались столкновениями с властями на почве, далекой от всякой революции, или принимали характер не столько революционный, сколько анархистски-бунтарский, даже просто погромный. Нередко крестьянство вообще отказывалось признавать какие бы то ни было, хотя бы самые законные и неизбежные виды обязательного отбывания общественных повинностей. Свобода в таких случаях понималась им очень примитивно—в смысле освобождения от всякой государственной власти или в смысле права „свободно“ заниматься всем, кто бы чем ни пожелал, вплоть до свободной выкурки „самогонки“, добытие которой столь распространено в сибирской деревне. Еще до революции в той же Енисейской губ. на выкурку самогонки уходило до 3 милл. пудов хлеба, по 2—3 пуда хлеба на душу, и это в области, которая отнюдь не принадлежит к разряду производящих хлеб, так как в ней только отдельные районы имеют хлебные излишки, остальная же часть живет привозным хлебом, а не только местным. Некоторый примитивный анархизм вообще свойственен крестьянскому мировоззрению, и он неизбежно должен был проявляться в крестьянском движении. Крестьянство могло отказываться, и на деле отказывалось, признавать какое бы то ни было государственное регулирование, напр., в ведении лесного хозяйства, протестуя, даже на крестьянских съездах, против всякого рода лесничества, стесняющих свободу пользования лесом, хотя такое стеснение было необходимо для охранения лесов от быстрого истребления; крестьянство являлось часто настроенным против всякого рода мобилизаций, систематически уклоняясь от них не только потому, что оно не желало признавать мобилизации для какой-либо данной цели, а потому, что оно вообще было против поставки рекрут в солдаты; оно отказывалось платить налоги, хотя бы эти налоги шли на расходы по удовлетворению его же нужд, как это бывало не раз при сборе земских повинностей, и т. д. Во всех этих случаях сказывался примитивный анархизм крестьянского мышления, связанный с давно укоренившимся недоверием к государству. А так как ближайшие стимулы для проявления такого недоверия бывали самые разнообразные и далеко не всегда законные с общедемократической и общереволюционной точки зрения, так как состав населения в Сибири тоже далеко не однороден, и в нем не последнюю роль играли с давних пор элементы вообще антисоциальные,—не забудем все-таки, что Сибирь страна ссылки (я го-

ворю не про политическую ссылку, а уголовную), и в ней осело не мало элементов просто „ушкуйнических“, — то, в результате такого переплетения взаимно скрещивающихся начал, крестьянское движение то тут, то там должно было вырождаться в такие формы, которые ни с какой стороны не могли быть приемлемыми ни для какого государственного течения. Быть может, самым трагическим выражением их являются события в Кузнецком уезде и в самом городе Кузнецке, зимой 1919-1920 гг., когда вся эта область оказалась в безраздельной власти повстанцев, руководимых Роговым и Новоселовым. Здесь ими был произведен настоящий погром интеллигенции, нечто в роде Уманьской резни гайдамаков, при чем интеллигенция („буржуи“) уничтожалась без различия профессий, пола и возраста. Число вырезанных определялось в одном Кузнецке в несколько сот, именно, по подсчету томской газеты „Рабочее Знамя“ — в 325 чел., а на самом деле, вероятно, гораздо больше, особенно принимая во внимание и весь уезд. Когда Кузнецк заняли советские войска, то им пришлось силой остановить эту погромную стихию, все смывавшую на своем пути. Замечательно также, что в этом районе и в соседнем с ним Щегловском уезде и позже, уже при советской власти, внедрился тот же тип крестьянского движения, бунтарски-погромный и примитивно-антигосударственный. Тот же Новоселов и Рогов сделались представителями и вождями его, выступая на этот раз (летом 1920 г.) не против какой-либо буржуазной власти, а против советской, и это было очень характерно. Еще характернее та политическая идеология, которую выставляли в своих прокламациях новоселовские и роговские партизаны. Острые своей ненависти они направляют тут безразлично и против комиссара, и против инженера, и против лесничего, и вообще против государственной власти, как таковой. Для них все формы ее были „от лукавого“. И летом 1920 г. они снова уничтожали всю интеллигенцию, где бы она ни служила, чем бы она ни занималась; всю — от советских комиссаров до православных священников. Это была настоящая сибирская махновщина, оставлявшая на душе постороннего наблюдателя тяжелое и гнетущее впечатление. Эти свойства крестьянского движения проявлялись, разумеется, не только в Кузнецком или Щегловском уездах, а и в других местах. Их можно было встретить и в Тасеевском районе, и в Славгородском, и в южной тайге, и в Томской губернии в отрядах Лубкова, и в Енисейской у Щетинкина. Все такие проявления первобытных свойств крестьянской психологии охотно подхватывались цензовой печатью, раздувались ею и служили у нее оправданием для применения к крестьянам жестоких мер со стороны карательных отрядов. Излишне, однако, доказывать, что делать так, т.-е. сводить все крестьянское движение к одной этой, анархо-погромной струе, значило поступать крайне близоруко и своекорыстно, значило лишь стремиться к угождению узко-групповой психологии цензовых слоев. На самом деле, крестьянское движение вовсе не исчерпывалось вышеотмеченными тенденциями: в среде крестьянства большое место занимали и элементы здоровые социально, исбавшие каких-то нормальных, с их точки зрения, форм власти и не желавшие преступать общепринятых условий социальной жизни.

11. Черно-Ануйский съезд повстанцев.

Одновременно с „сибирской махновщиной“,—умалить значение которой было бы большой политической ошибкой, особенно при общей малокультурности сибирского населения,—существовали и другие типы крестьянского движения, другие группировки крестьянских интересов, отражавшие, главным образом, стремления „средняцких“, трудовых землепашеских слоев. Наилучшее выражение их мы находим в постановлениях повстанческого съезда в селе Черный Ануй на Алтае, происходившего в начале сентября 1919 г. В свое время я имел подлинные протоколы этого съезда¹⁾, очень ярко рисующие политическое настроение алтайского крестьянства. Оно во многом напоминает те политические группировки в среде крестьян, которые я характеризовал выше, говоря об Енисейской губ. Вместе с тем, в постановлениях Черно-Ануйского съезда совершенно отсутствует бунтарско-погромное настроение в духе „сибирской махновщины“, столь типичное для роговских и новоселовских повстанцев Кузнецкого уезда. Напротив, в воззваниях, принятых съездом и обращенных ко всему сибирскому крестьянству, говорится буквально так:— „Избегайте жестокостей, не допускайте расправ с кем бы то ни было, боритесь со всеми, кто хочет, пользуясь восстанием, удовлетворить свои корыстные цели, боритесь с воровством и грабежами. Пусть несмываемое пятно позора будет на том, кто будет дурными поступками чернить народное восстание“.— „Избегайте лишних арестов, не допускайте личной мести, никаких личных счетов, будьте дружны. Пусть объединит вас всех смерть, которая глядит вам в глаза“.

Черно-Ануйский съезд опубликовал несколько воззваний с разным назначением, но все они были проникнуты одним этим направлением, написаны в таком именно, а не ином духе. Отсутствует в них также то принципиальное отрицание государственности, которое составляет самую отличительную черту прокламаций Рогова и Новоселова. Политическая программа съезда носит на себе отпечаток земских традиций,—на Алтае земство было чисто крестьянское и хорошо привилось у населения,—хотя и переработанных применительно к особым условиям переживавшегося момента. Еще съезд в с. Солоношенском постановил 30 авг. по вопросу об организации гражданского управления, что— „На местах должны продолжать свою работу сельские власти и волостные земства“. Как этот съезд, так и последующий в Черном Ануе, вообще, высказался за установление своего рода революционного порядка, демократической государственности, обеспечивающей интересы трудовых слоев деревни на основе того избирательного права, которое было принято в земствах. Через эти же местные городские и сельские самоуправления должна была, по резолюции съезда, быть организованной и временная власть в области.

¹⁾ Протоколы Черно-Ануйского съезда были мною опубликованы в обширных выдержках, после свержения власти Колчака, в газете „Народный Голос“ в Красноярске в декабре 1919 г., еще до прихода туда советских войск.

„Временно, до производства народного голосования и установления постоянного управления... власть должна быть организована следующим образом:—1. На местах должны быть полноправные земские и городские самоуправления.—2. Земские и городские самоуправления избирают все местные власти, уездные, губернские и смещают их.—3. Милиция также должна находиться в распоряжении самоуправлений, и все ответственные должности в ней должны быть выборные.—4. Для решения общегосударственных дел и установления порядка и законности, а также для создания власти должен быть созван земский собор из представителей земств и городских самоуправлений.—5. В виду того, что земские и городские самоуправления частью выбирались уже давно, частью при власти правительства Колчака и не отражают воли и желаний народа, то они должны быть немедленно переизбраны.—6. Еще до их переизбрания Земский Собор должен быть пополнен представителями профессиональных организаций, крестьянских союзов и народной армии“.

Как выше сказано на съезде в Черном Ануе было всего 62 делегата. Делегаты избирались от каждого селения от 1 до 3-х; каждый волостной штаб также мог посылать одного делегата. Пересматривая протоколы съезда, видно, что все делегаты с места были—крестьяне; в штаб избранными оказались тоже сплошь местные крестьяне. Интеллигентов на съезде почти не было, а поскольку были, занимали места исключительно секретарей и в прениях участия почти не принимали. Постановления Черно-Ануйского съезда можно считать поэтому чисто крестьянскими. Свои резолюции съезд принимал чрезвычайно единодушно. Основная резолюция, изложенная выше, была принята большинством 38 голосов против 7,—последние, т.-е. эти семь голосов, высказались за чисто советскую власть. Остальные же, составлявшие основную массу членов съезда, сошлись, как мы видели, на постановлении о созыве из представителей земств, городов, кооперативов, профсоюзов особого Народного Собрания для установления такой формы государственного управления, которая бы обеспечивала народные интересы и могла бы войти в мирные переговоры с Советской Россией на предмет прекращения гражданской войны. Этому вопросу съездом было посвящено особое „Воззвание к воюющим армиям“ за подписью Советского правительства представителей восставшего народа Алтай. Мысль об установлении гражданского мира внутри рабочей и крестьянской демократии—такова основная характерная черта этой прокламации, но таковы же и все постановления Черно-Ануйского съезда. Приблизительно это была та программа, ношедшая непосредственно из низов, которая впоследствии была принята Полит-Центром в Иркутске и частью была проведена им в жизнь.

12. Перед приходом советской власти.

Черно-Ануйские повстанцы, закончив свой съезд к 12 сентября, не сумели овладеть положением. В конце октября они были разбиты правительственными отрядами и рассеяны. Часть их ушла в горы, в горные гнезда, недоступные

для правительственных карательных войск, и оставалась там ждать нового удобного момента; часть разошлась по остальной Сибири. Но к тому времени, когда произошел их разгром, общее политическое положение значительно переменялось в пользу повстанцев. Терниевшая поражения на Уральском фронте, армия Колчака оставила уже не только Пермь,—это случилось еще раньше, но и Екатеринбург и Челябинск, перешла затем за Тобол и тут на время задержалась. Фронт продвинулся внутрь коренной Сибири, и красная армия приближалась к берегам Иртыша. На настроение и политическую ориентировку повстанческих армий этот факт произвел огромное влияние; впечатление, оказанное им, было весьма крупным, чтобы не сказать всецело определяющим. Крестьяне и рабочие с очень сложным чувством следили за ходом борьбы на фронте. Частью сознательно, но еще более бессознательно, крестьяне чувствовали, что одними своими силами им не одолеть колчаковского строя, пока его поддерживают иностранные регулярные войска. Повстанцы, вероятно, справились бы с ним, если бы им пришлось иметь дело с одним Колчаком и его силами. Едва ли бы верховный правитель, очутившись лицом к лицу с крестьянским движением, удержался на своем месте дальше осени 1919 г., но за ним стояли крупные и хорошо вооруженные союзнические армии, так или иначе, вольно или невольно, но оказывавшие ему помощь и поддержку. Верхи, дипломаты и военные руководители союзного командования оказывали, за небольшими исключениями, эту поддержку адмир. Колчаку, столь для него спасительную, по доброй воле, по сочувствию, по социальному психологическому средству, а также в силу политического расчета. Низы же,—это относится, главным образом, к чехо-словацкой солдатской массе,—оказывали такую поддержку невольно, попавши в заколдованный круг сложных международно-дипломатических отношений, разорвать который они просто не знали как, не умели, так как были загипнотизированы мыслью о том, чтобы найти выход на родину, получить который без той же международной дипломатии они не могли. На этой почве в среде чехо-словацкой солдатской массы, очень интеллигентной по среднему уровню, развивался за весь 1919 г. глубокий кризис, о котором мне еще придется говорить в дальнейшем. Несмотря, однако, на эту вольную или невольную поддержку, все более и более становилось ясным, особенно после падения Перми (июнь 1919 г.), что власть Колчака колеблется, что она теряет почву под ногами, что она, словом, падает и, рано или поздно, но падет окончательно. И хотя к моменту сдачи Перми крестьянские армии потерпели в целом ряде мест поражения,—сдача манского фронта, Тайшета, поражения на Алтае и пр.,—тем не менее у крестьян надежда на успешное сопротивление не пропадала. Больше того, у них стало являться сознание, что там за фронтом они имеют союзника, который, может быть, скоро появится по сю сторону Урала и сделается спасителем их от насилий колчаковщины. Вся страна к этому времени уже истрадалась от гражданской войны и страстно желала мира и возможности спокойно трудиться в привычной обстановке. Это настроение создавало возможность духовного объединения между красной армией, шедшей из-за Урала, и поднимавшейся ей (с осени и конца лета

1919 г.) навстречу новой волне крестьянских восстаний. К тому же всю зиму 1918—1919 г.г. шли слухи по Сибири, что советская власть сильно изменилась.

Идея „единого фронта“ становится с этого времени господствующей среди сибирского населения, как города, так и деревни, как в низах, так и в интеллигентских верхах. Побеждая колчаковскую армию на поле сражения, красная армия одерживала в то же время идейную победу, являясь рупором, носительницей принципов советской власти. При таком настроении казались академическими все споры, поднимавшиеся на Черно-Ануйском съезде повстанцев, какой строй должен установиться после падения Колчака, советский или не советский, какие формы власти необходимо принять и какие отринуть. Факт становился принципом: идеи диктовал тот, кто побеждал.

Таким образом, к приходу красной армии крестьянская Сибирь, несмотря на все отличия интересов и настроений, стихийно становилась советской. Как-то сами собой, в этой волне общего настроения, потонули и те резолюции, которые принимали черно-ануйские крестьяне и которые, несомненно, были навязаны не со стороны (впоследствии это очень ярко обнаружилось), а являлись выражением определенных интересов широких групп крестьянства. Но, кроме того, в том же направлении действовала и другая струя сибирских настроений, именно та, в которой выражалась и раньше идея советского строительства. Рядом с двумя группировками, выше охарактеризованными, в сибирском крестьянском движении была и еще одна, третья группировка—чисто советская, или точнее, считавшая, что она представляет советское течение. Так же, как и первые две, она проявлялась повсюду в Сибири, где только находила подходящую почву для своего развития и зарождения. Но опять-таки, как первые две имели особые территориальные районы, в которых они проявлялись с особенной рельефностью, точно так же и советское течение нашло специальный район для своего развития и для своего идейного созревания. Этот район—Минусинский край, занятый с середины сентября 1919 года народно-крестьянской армией Кравченко и Щетинкина и принесшей туда с Маны традиции канских повстанцев. Как я уже упоминал, здесь с середины сентября 1919 г. начала выходить газета „Соха и Молот“, открыто защищавшая советскую платформу. Здесь же армия Кравченко и Щетинкина могла передохнуть и собраться не только с силами, но и привести в порядок свой идейный багаж. Нигде, кроме Минусинска, этого нельзя было сделать, и это действительно было выполнено в Минусинске.

II.

Как понимали партизаны советскую власть?

1. О материалах по данному вопросу.

Как я уже указывал, главным материалом для суждения по вопросу, как относились партизаны к советской власти, является минусинская газета „Соха и Молот“. Конечно, это не единственный источник, которым можно бы воспользо-

водиться в данном случае. В районах, занятых партизанами, происходила своя работа политической мысли, вырабатывались свои организационные принципы, методы и системы управления. Для этой цели созывались съезды, то чисто повстанческие, то чисто крестьянские, из представителей мирного населения, то смешанные, из тех и из других. Напр., в манском районе еще в начале марта 1919 г. происходил съезд 9 волостей, собравшийся в Степном Баджее. Съезд принял тогда советскую платформу. Позже, в половине мая 1919 г., перед началом наступления чехов на манский фронт, созывался новый съезд в том же районе, на этот раз от 16 волостей, с представителями от повстанческих армий,—всего до 400 делегатов. Съезд был, следовательно, смешанный. Эти 16 волостей входили в состав южной части Канского и Красноярского у.у. и представляли собой приблизительно 120—130 тыс. населения.

В промежутке между обоими съездами на территории, занятой повстанцами, издавалась газета „Крестьянская Правда“. Печаталась она на гектографе. Крестьяне, приезжавшие с Маны в Красноярск (сообщение между Маной и Красноярском полностью никогда не прерывалось), передавали, что у повстанцев политическим руководителем является один учитель, кажется, Перовской волости, который объяснял им, что задачей повстанцев является восстановление „крестьянского права“. Теория эта позже была подробно развита в „Сохе и Молоте“.

Одновременно с газетой „Крест. Правда“ издавалось во всем повстанческом районе до Тайшета много прокламаций, воззваний, всякого рода предупреждений, обращавшихся то к чехам, то к казакам, то вообще к населению; часто они были просто писаными, а не печатными. Весь этот материал представлял бы несомненную ценность для суждения о политических взглядах повстанцев и, в частности, об их оценке разных форм власти, но, к сожалению, в нашем распоряжении его нет, да и вообще едва ли он где-либо собран, кроме разве как у чехов. Не располагаем мы также соответствующим материалом по другим районам повстанческого движения, напр., по алтайскому, между тем там тоже происходили съезды и издавались полу-периодические органы в роде, напр., „Известий Главного Штаба Алтайского Округа“, в которых статьи информационного характера сопровождались руководящими комментариями. Печатались „Известия“ на пишущей машинке.

Таким образом, главнейшим материалом для суждения о понимании партизанами советской власти являются у нас статьи в минусинской „Сохе и Мол.“, но это, к счастью, не только главнейший материал, а и самый ценный из того, что имеется по данному вопросу.

Всего, с сентября 1919 г. по январь 1920, вышло около 60 №№ „Сохи и Молота“. Это был настоящий периодический орган, хотя без особенно строго установленных сроков выхода: то он выходил три раза в неделю, то ежедневно, кроме дней послепраздничных. Запас бумаги в Минусинске оказался ограниченным, не вся бумага была сразу взята на учет, и это сказывалось на сроках выхода газеты. Внешний вид газета имела вполне городской, печат-

талась на белой бумаге (большинство колчаковских газет выходило на желтой бумаге, как настоящая „желтая“ пресса); печать, корректура, расположение материала, выбор шрифтов находились в умелых руках. По формату газета представляла газетный полулист небольшого размера, заполненный с обеих сторон разнообразным материалом,—там были и передовые статьи программного характера, и статьи популярные, и беллетристические произведения, и даже стихи. Большое внимание уделялось воспоминаниям о только что проведенной боевой жизни, в частности событиям на манском фронте.

Осведомленность газеты о событиях за пределами Минусинского края, а тем более о заграничной жизни, представляется довольно слабой. Но дело в том, что и правительство Колчака не баловало обывателей остальной Сибири излишними сведениями о заграничье. Перепечатывались больше, да и то редко, статьи Бурцева из „Общего Дела“, имевшего, в свою очередь, о Сибири, судя по его газете, сведения совершенно фантастические; кроме того, появлялись телеграммы, полуслучайно проскочившие с Дальнего Востока. Для того, чтобы судить о заграничной жизни, а отчасти и о сибирской, приходилось в то время пользоваться сравнительно свободной дальневосточной прессой, как русской, так еще лучше иностранной. Получать все это в Минусинске, когда он был занят партизанами, не представлялось, конечно, возможным, тем более, что и до Красноярска, ближайшего губернского города к Минусинску, та же дальневосточная пресса, как несколько „крамольная“, доходила с трудом и не постоянно. При суждении о заграничной и общесибирской, в том числе и дальневосточной жизни, авторы статей в „Сохе и Молоте“ использовали поэтому тот материал, который оказался в Минусинске к их приходу в оставленной там периодической печати. Едва ли, впрочем, в этом была большая беда,—газета „Соха и Молот“ являлась чисто местным органом, обслуживавшим совершенно определенный круг интересов, и эту непосредственную свою задачу она выполняла очень удачно, порой даже талантливо. Этого вполне достаточно, чтобы признать за ней совершенно исключительное значение, как за официальным источником для суждения об общественно-политических взглядах сибирских партизан.

Повторяю еще раз: сколько мне известно, это единственная повстанческая газета в Сибири, столь долгое время, в самый разгар борьбы с правительством Колчака, проводившая на местах принципы советской власти. В этом ее значение для истории и оценки крестьянского движения в Сибири и, быть может, не только в Сибири, так как психология и мировоззрение крестьянства в общем всюду одинаковы, различаясь только в оттенках и зависимости от тех или иных местных особенностей, учесть которые не так трудно.

2. Справка из прошлого.

В Красноярске весть о выходе минусинской газеты произвела большое впечатление и всех заинтересовала. Сведения о ней оказались довольно точными:

говорила, что газета небольшая, выходит не регулярно, лозунгом выставила признание советской власти. Последнее было совершенно верно. С самого начала в „Сохе и Молоте“ появился амплаг крупными буквами, не снимавшийся до конца; в амплаге стояло:—„Вся власть крестьянам и рабочим в лице их советов“. Так и говорилось: не просто вся власть советам, а крестьянам и рабочим в лице их советов. Чувствовалось, что публицисты „Сохи и Молота“ делают ударение не на второй половине лозунга, а на первой.

С другой стороны, выходило как будто и так, что, если советская власть не будет почему-либо выражением власти крестьян и рабочих, то крестьяне и рабочие оставят за собой право приступить к созданию каких-то иных форм государственного устройства, более полно отвечающих их интересам. Теоретически такое истолкование скрытого смысла лозунга, принятого „Сохой и Молотом“, вполне допустимо; по крайней мере, в нем нет ничего логически несообразного; тем не менее я склонен думать, что приведенная формулировка избиралась не в желании чем то предупредить будущее,—на него все тогда в Сибири смотрели радужно, без страха и сомнений,—а учитывая некоторые особенности в поведении советской власти в прошлом. Даже официальные историки партизанского движения в Сибири признают теперь, что в деятельности советов за 1918 г., прерванной чехо-словацким переворотом, было много дефектов и упущений, благодаря которым—„крестьянство не понимало заданий советов, относилось к ним либо пассивно, либо отрицательно“¹⁾—как видим, даже отрицательно.

„Все это — продолжает тот же автор — привело к тому, что трудовое крестьянство („средняк“) от советов отвернулось, беднота же не была организована“; вследствие всего этого—„на зов советов стать на борьбу с чехами отклика не было, и чехи без особых усилий сбросили власть советов по всей Сибири“.

Совершенно те же самые указания о прошлом встречаются в нескольких статьях „Сохи и Молота“, особенно за первые недели ее существования. То тут, то там в ней определено говорилось о допущенных советской властью „ошибках“, которые не должны теперь повторяться и, по убеждению публицистов партизанской армии, повторены не будут. Следовательно, в этом прошлом советская власть, если не на деле, то в понимании самих народных низов, не являлась выражением власти рабочих и крестьян, иначе они не относились бы к ней пассивно и даже отрицательно, и чехи не так легко свергли бы ее по всей Сибири.

Обращено было внимание в „Сохе и Молоте“ и еще на один факт, имевший крупное местное значение, это именно на обстоятельства, при которых в 1918 г. произошло свержение советской власти в самом Минусинском уезде. Как бы то ни было в остальной Сибири, но в Минусинском крае советская власть тогда оказалась свергнутой не чехо-словаками и вообще не

¹⁾ См. сборник „Три года борьбы за диктатуру пролетариата“ (1917—1920). Омск, Сиб. Гос. Издат., 1920,—Цит. место на стр. 130.

какой-либо посторонней силой, а по решению самих крестьян. Это произошло в июне 1918 г. в результате большого и длительного конфликта между советской властью в Красноярске и крестьянами, собравшимися в Минусинске на обще-уездный съезд, так называвшийся VII уездный крестьянский съезд. Обстоятельства, при которых собрался этот съезд, были в свое время подробно описаны в местной печати, и я на них останавливаться не буду, подчеркнув здесь только самый результат разыгравшегося конфликта. Он дошел до такой острой степени, что делегатами съезда была объявлена целая крестьянская мобилизация для самозащиты, и минусинские крестьяне очень энергично откликнулись на призыв о помощи со стороны съезда. К Минусинску начали собираться целые отряды вооруженных, правда, вооруженных примитивным способом, крестьян. Настоящий лагерь их остановился под городом в ожидании развязки событий и исхода прений на съезде. Неизвестно, чем бы это все кончилось, как пришла весть о том, что из Красноярска власти уже эвакуировались, и город ими оставлен. Что происходило в Красноярске, на съезде в точности не знали, но что бы там ни происходило, а у крестьян Минусинского уезда создалось очень твердое и вполне понятное убеждение, что власть уступила свои позиции под их давлением, что настоящая сила — в них и они — сами хозяева своей жизни. Это сознание крестьянами своей силы имело позже крупное психологическое значение в местном крестьянском движении, и оно же положило свой отпечаток на вышеуказываемые статьи в „Сохе и Молоте“.

Не забудем, вместе с тем, и еще одного факта, для того времени весьма показательного: главверхом крестьянской армии являлся А. Д. Кравченко, агроном по образованию, много работавший притом в Минусинском уезде, поручик запаса во время войны 1914-1918 г., примыкавший к эсерам по общему уклону своего политического мировоззрения. В 1918 г. он был весьма далек от большевиков. Говорили, что именно он первым вошел в помещение Красноярского исполкома, когда члены последнего оставили город и отплыли в Туруханский край. Я не знаю в точности (меня в то время в Сибири не было), какую именно роль играл тогда Кравченко в организации борьбы с советской властью, но я не думаю, чтобы он оставался тут совершенно безучастным. Вероятнее всего, что он тогда сочувствовал падению власти советов.

Вот все это прошлое и отражалось в двусторонней формулировке лозунга, принятого в аншлаге „Сохи и Молота“. Насколько партизанская армия придавала указанным обстоятельствам большое значение, показывает еще один чрезвычайно яркий факт, это — резолюции, принятые на съезде партизан в Красноярске в феврале 1920 г. уже при новой советской власти. Партизаны тогда настояли на том, чтобы им разрешено было созвать свой съезд, и он был, с соответствующего разрешения из центра, ими созван. В числе резолюций, принятых тогда участниками съезда, была и такая, которая опять-таки имела в виду прошлое и допущенные тогда „ошибки“. Правда, она оказалась выраженной не столь категорически, как выражались в таком случае авторы статей „Сохи и Молота“, но и сквозь ее туманно-дипломати-

ческий язык, через все ее эоловские выражения, совершенно ясно, особенно для посвященных, пробивалась та же мысль о недопустимости повторения старых ошибок 1918 г.

Однако, я еще раз повторяю: все это, как статьи „Сохи и Молота“, так и резолюции партизанского съезда, относилось к прошлому, а не к будущему и не к настоящему. Это были невольные воспоминания о печальных, но, так сказать, семейных недоразумениях, давно уже изжитых, о которых можно было тем спокойнее говорить, что, казалось, нет никаких данных бояться их возрождения снова. Настроение представлялось именно таким, и я считаю этот факт для истории общественных настроений в крае чрезвычайно характерным и важным, много объясняющим в дальнейшем ходе событий, почему и останавливаюсь на нем так долго и жалею, что не могу остановиться еще дольше.

3. Крестьянские съезды в Минусинске.

Для повстанцев в Минусинске боевая жизнь, хотя фронт продолжал существовать, оставалась уже в прошлом. Наступила осень, ясная и свежая, настоящая сибирская. Колчаковские войска, стоявшие по Тубе и по Енисею, большой опасности не представляли. Обе реки, большие и многоводные, представляли надежный рубеж, переходить через который, оставляя их у себя в тылу, было не безопасно. К тому же генералы колчаковской армии, поссорившись между собой из-за какого-то „гусака“, скорее готовы были загрызть один другого, чем допустить победу которого-нибудь из них над врагом.

С другой стороны, и повстанцы не имели особенного желания переходить Тубу или Енисей, что диктовалось им соображениями дипломатического расчета, так как продвижение вперед в железной дороге увеличивало шансы их столкновения с союзническими отрядами, и прежде всего с чехами, а это для повстанцев не представлялось желательным. Поэтому, они предпочитали другое: схоронившись до поры до времени за речной преградой, собраться с силами для зимней кампании и прочнее наладить отношения с местным крестьянством. Чрезвычайно любопытно проследить по „Сохе и Молоту“, как у них шла эта работа.

Во главе всего управления краем стоял Армейский Совет, полубыборная организация, представлявшая идею коллективной военной диктатуры, вполне естественной в обстановке фронтовой жизни. Следует отметить, между прочим, что и сам Минусинск расположен на одной из протоков Енисея и от линии фронта находился чрезвычайно близко (в 12 верст.), так что иногда разведки правительственных войск достигали почти его предместий. Случалось, стычки происходили на Тагарском острове, под городом, что заставляло быть бдительным и в самом городе. Но, являясь высшей формой власти в крае, Армейский Совет в своей коллективной диктатуре не шел по пути военной

бюрократизации власти, а осуществлял ее через привлечение местного населения к отправлению функций революционного самоуправления. Власть, таким образом, оставалась в руках крестьян и рабочих, а осуществлялась через советы, в духе принятого лозунга.

Совершенно естественно при таких условиях, что первым шагом при организации местной власти явилось созвание Армейским Советом крестьянских съездов. Сначала крестьяне, повидимому, не особенно охотно отзывались на этот призыв собраться на съезд. Мало ли какие могли быть случайности и колебания в соотношении борющихся сил, не пришлось бы после отвечать за эти съезды; такова, несомненно, была мысль минусинского крестьянина. А кроме того, и по своему общему политическому настроению, поскольку оно проявлялось на губернском и всех уездных съездах, минусинский крестьянин должен был принципиально, по крайней мере первое время, занять выжидательную позицию, столь вообще свойственную „середняцкой“ крестьянской психологии. Минусинск, это — край типичного середняцкого старожильского крестьянства, издавна сидевшего на земле, хлебопашеского и скотоводческого по преимуществу.

Не забудем также, что как раз из этих мест происходил и в этих местах работал (в дер. Иудиной) крестьянин Бондарев, о трудовой теории которого в 80-х гг. писал Глеб Успенский и своеобразный трактат которого о „Труде“ он передал Л. Н. Толстому, а Толстой опубликовал его, со своим предисловием, к большой гордости Бондарева, во французском переводе. Бондарев, несомненно, крупная фигура, глубокий и оригинальный ум, хотя ум темный, не обработанный современной культурой. Но такого рода Бондаревых, в меньшем только, разумеется, калибре, и теперь можно встретить по Минусинскому уезду: крестьянство в нем довольно интеллигентно по своему среднему уровню. В целом ряде больших и малых сел и деревень края, в таких как Курагинское на Тубе, как Пушкинское, где когда-то отбывал ссылку Ленин¹⁾, Ермаковское, одно из наиболее культурных мест края, Абаканское и др., до сего времени вкраплены в общую массу крестьянства вполне интеллигентные, но и чисто крестьянские семьи, живущие землей не только материально, но идейно, в духе Бондарева, в современной лишь, социалистической, переработке его учения о труде. И в других отношениях, — по грамотности, числу больниц, системам обработки земли, — Минусинский уезд выдвигается над средним уровнем по губернии. Все это должно было, конечно, сказываться на характере организации власти по уезду при коллективной диктатуре Армейского Совета. Достаточно было бы Армейскому Совету оставить за собой общее политическое руководство ходом краевой жизни, предоставив затем на местах управляться самому населению, сил для этого там хватило бы. Ко второму крестьянскому съезду все это уже выяснилось, отношения до известной степени установились, затем и военная обстановка окрепла, и на этот раз крестьянство гораздо дружнее откликнулось на призыв собраться снова в городе.

¹⁾ Здесь в Пушкине, между прочим, написан известный протест 17 соц.-дем., составленный Лениным, против „Средо“ Кусковой и Прокоповича.

На этот съезд прибыло уже 400 с лишним делегатов; среди присутствовавших начали проскальзывать, как руководители, хорошо знакомые лица. Власть находила базу на низах и шла на соединение с ними достаточно осторожно, стараясь не бить лишней посуды и не создавать ненужных конфликтов. Так как население в крае представляло в общем однородную в хозяйственно-социальном отношении массу, так как известные навыки к революционному самоуправлению в нем уже составились, то делать то, что поставил себе целью Армейский Совет, не представлялось особенно трудным. Не нужно было лишь грубо ломать хороших сторон установившегося раньше порядка, не нужно было пренебрегать созданными, путем большой предварительной работы, традициями у местного населения; следовало, напротив, постараться приспособить готовые уже навыки к отправлению новых требований, не перегружая при этом деревни излишним бюрократическим надзором и опекой, и постепенно отношения бы наладились, да уже и налаживались. Общекультурная жизнь в уезде за это время продолжала существовать и развиваться, как обычно и, быть может, лучше, чем обычно. Основные культурные завоевания предыдущей эпохи—кооперация, самоуправление, школы и пр.—существовали, и, казалось, ничто не мешало им развиваться и дальше. Власть теряла свой прежний одиозный характер, как при Колчаке, и становилась близкой к народу, и по духу и по составу—рабоче-крестьянской.

И я глубоко уверен, что если бы этот уголок Сибири, столь богатый естественными дарами природы, был тогда на более или менее значительное время предоставлен самому себе и мог спокойно, никем не тревожимый извне, развиваться, то в нем мало по малу действительно установился бы своеобразный режим, глубоко-демократический и вместе с тем свободный. Здоровые государственные начала силой вещей взяли бы верх над началами анархо-бунтарскими, „новоселовскими“, которые в минусинском крае тоже, разумеется, были, свои и транспортированные из других районов,—природный ум крестьянина „середняка“, создавший когда-то трудовую философию Бондарева, вступил бы в свои права, и этот слой крестьянства, пользуясь советами, как аппаратом для защиты своих интересов, установил бы в конце концов такой строй, при котором народно-хозяйственная и политическая жизнь края вошла бы в привычное русло и создала бы оригинальную крестьянскую республику, самоуправляющуюся и свободную.

4. Вопрос об интеллигенции у повстанцев.

Параллельно крестьянскому, в Минусинске собирался Армейским Советом съезд учителей и учительниц сельских и городских школ, тоже в довольно многочисленном составе. По отчетам „Сохи и Молота“ на нем присутствовало около 60 делегатов. Если крестьянский съезд был съездом трудящихся, то это был съезд интеллигенции.

Заслуживает внимания уже тот факт, что такой съезд имел место и работал, сколько можно судить по печатному отчету, довольно интенсивно. Вопрос об интеллигенции и об отношении к ней повстанцев был вообще за все это время большим вопросом общественной жизни в Сибири. Можно его поставить и шире, раздвигая до вопроса об интеллигенции за все время революции с 1917 по 1922 гг. За все это время в Сибири интеллигенции погибло очень много, головной мозг страны ампутировался. Она гибла всюду, от Петропавловска до Якутска, от Кузнецка до Сургута, и порой при очень трагических обстоятельствах. Слишком часто там интеллигенты играли роль без вины виноватых и своей жизнью платили за чужие грехи и ошибки. Для Сибири, вообще не обладающей большим запасом интеллигентных сил, это являлось и является огромным несчастьем, все последствия от которого еще будут долго давать знать о себе. Но, поскольку речь идет собственно о периоде колчаковского правления, то представляет еще большой вопрос, от кого собственно исходил более значительный урон для интеллигенции, от колчаковщины или от повстанцев.

Нет никакого сомнения, что на повстанческих низах царило часто крайне недоверчивое отношение к интеллигенции, и там „интеллигенция“ огулом причислялась к „буржуям“. Было бы странно, если бы этого не было при нашей общей некультурности. В частности, в минусинской газете шла порой жестокая травля интеллигенции, правда, не вообще, а собственно кооператоров. Бывали случаи индивидуальных расправ с кооператорами. И тем не менее кооперация в Минусинском крае существовала, аппарат ее не разбивался, и она могла достаточно свободно функционировать. Повстанцы все-таки чувствовали, что переустройство народно-хозяйственной жизни вещь не столь простая, как организация военной борьбы с деморализованной колчаковщиной, притом же и последняя то-есть эта военная борьба, была вовсе не так уж легка. И это сознание сказывалось в поведении повстанцев там, где им, от чисто разрушительной работы, приходилось переходить так или иначе к работе созидательной.

Это же сказалось и на отношении их к такой квалифицированной сельской интеллигенции, как учителя. Ссориться с ними они, судя по отчетам „Сохи и Молота“, во всяком случае не желали, командовать же учительским персоналом на том основании, что теперь у них, повстанцев, сила, тоже как будто не имели склонности. На съезде учителей в Минусинске все это обнаружилось с достаточной ясностью. Характерно, между прочим, что там шли прения не только о профессиональных вопросах, но и чисто политических, дебаты о которых, видимо, заняли особенное внимание съезда. На голосование ставились разные резолюции, одна с признанием Учредит. Собрании, другая за советскую власть, но ни та, ни другая не получили сколько-нибудь значительного числа голосов. За первую было подано из общего числа 57—58 голосов всего 7 или 8, за вторую несколько больше, но не свыше 10—12. Так что обе эти резолюции в конце концов оказались снятыми с голосования. Огромным большинством была принята нейтральная резолюция, в которой говорилось, что непосредственной

задачей народного образования является умственное и культурное развитие народа и подготовка его к умелому выполнению своих гражданских обязанностей и к защите им своих интересов. Это был своего рода аполитизм (на точке зрения аполитизма стояла при Колчаке и кооперация), но аполитизм для народного правления, каким старалась сделаться повстанческая военная коллективная диктатура, сравнительно благожелательный. При таких условиях между сельской интеллигенцией и новой властью мог установиться довольно прочный контакт, и работа по народному образованию могла бы идти без перебоев. Для начала этого было, собственно, вполне достаточно, остальное сделало бы время, особенно, если бы новый порядок укрепился на более или менее продолжительный период. Совершенно в таком же положении находилась и остальная интеллигенция—врачи, агрономы, техники и пр. В самом механизме общественного развития есть свои законы, так называемая сила вещей, которая стихийно заставляла чувствовать свое влияние и подчиняла своим требованиям даже нежелавших ей покоряться. Колчаковским правлением к этому времени все уже пресытились, и перед новыми формами власти открывалось широкое поле деятельности и богатая жатва. Надо было только уметь пользоваться своим положением...

5. Политическая программа повстанцев.

Каждый факт в общественной жизни имеет только тогда крупное политическое значение, когда он является выражением известного принципа. В Минусинске, при господстве партизанской власти, существовали известные гражданские свободы, как в этом можно было убедиться из предыдущего изложения. Съезды учителей и съезды крестьянские служат тому достаточным доказательством. Что там существовала некоторая, даже, принимая во внимание обстановку военной жизни, довольно большая доля свободы в обсуждении событий текущего момента, это не представляет сомнений. Таков факт. Но, может быть, этот факт не является выражением какого-нибудь принципа? Может быть, это только случайное проявление слабости власти, неуверенности ее в своем положении и неумения провести с достаточной последовательностью начала военной диктатуры? Если бы это было так, то самая наличность известных политических свобод при господстве партизанской власти не представляла бы сколько-нибудь серьезного политического значения. Но это совсем не так. Политические свободы, пусть даже в ограниченном масштабе, существовали там не потому, что они существовали, не из-за слабости власти, а потому что они являлись выражением известного, принятого руководящими слоями принципа.

Чтобы убедиться в этом, достаточно опять-таки просмотреть ряд статей „Сохи и Молота“, порой чрезвычайно красноречивых, из числа тех, которые носили программно-политический характер. Все они весьма симптоматичны, так как представляли собой довольно стройное развитие совершенно определенной политической системы. В основе этой системы лежало то понятие

о „крестьянском праве“, слухи о котором, как я упоминал выше, доходили еще зимой 1918 г. до Красноярска. Крестьянство является базисом всей общественной жизни, такова отправная мысль этой теории. Ему же должно быть предоставлено первое место и первый голос в выработке форм общественного устройства и в выборе методов управления. Этим у повстанцев в статьях „Сохи и Молота“ отнюдь не исключалось участие в такой политической работе других общественных групп, рабочего класса и трудовой интеллигенции, этим только намечалась пропорциональность в распределении между ними общественных прав и обязанностей. Строй вообще должен быть чисто трудовым, демократическим, — для теоретиков „Сохи и Молота“ такое условие являлось основным и неподлежащим оспариванию. Всеобщее избирательное право, столь популярное в начале революции, ими решительно отменялось, как не выражающее принципов трудового строительства. Избирательное право должно быть ограниченным. Формой власти являются советы, но советы учреждения по самому своему существу классовые, а не всеобщие, не бесклассовые. Право участия в них, персональное или групповое, непосредственное или через посылку туда делегатов, определяется ограниченным избирательным правом, и мерилом, ограничивающим слои, имеющие право избирать, от лишенных такового права, будет — труд. Те, кто живет трудом своих рук, те получают такое право; те, кто живет не своим трудом, а эксплуатацией чужой рабочей силы, этого права лишаются.

Выставив этот принцип, публицисты „Сохи и Молота“ намечают три основные общественные группы, как обладающие правом участия в советском строительстве, — рабочий класс, трудовое крестьянство и трудовая интеллигенция. Все они в целом и в совокупности представляют собой ту чисто демократическую базу, на которой будет воздвигнуто советское строительство. Но, если избирательное право является, в вышеуказанном смысле, ограниченным, то внутри этих групп никаких новых ограничений не вводится. Напротив, в „Сохе и Молоте“ проповедывался своего рода принцип всеобщего избирательного права для трудовых элементов общества. Избиратели, это — все, кто трудится, — таков принцип, никаких отступлений от него не допускается, по крайней мере не допускалось в статьях „Сохи и Молота“. Тот же принцип проводился повстанцами и непосредственно в жизни, доказательством чего являются выборы на крестьянский и учительский съезды. На первый выборщиками являлись трудовые элементы деревни, на второй — трудовые элементы интеллигенции, без ограничения прав внутри каждой из этих групп. Наличие таких принципов у повстанцев совершенно понятно: они были слишком тесно связаны с широкими крестьянскими массами, они были слишком полны верой в правоту своего дела, столь отвечающего, по их понятиям, интересам народных масс, чтобы они могли, в построении своих политических программ, думать иначе, чем выше охарактеризовано. Никакая другая концепция для них не была бы психологически приемлема.

Принимая такую теорию, они на страницах „Сохи и Молота“ делали и все выводы из нее. Очевидно, если демократические слои внутри себя вполне

равноправны, то не могла бы быть допущена и какая-нибудь насильственная власть одного из них над остальными, то-есть диктатура того или иного слоя. Если бы такая диктатура оказалась допущенной, это явилось бы выражением неравенства в правах, а неравенства в правах теория политического строительства „Сохи и Молота“ не признавала. Совершенно последовательно поэтому она не признавала и такой диктатуры. Ее точка зрения в этом случае должна быть признана точкой зрения старого, романтического народничества времен его зарождения и первых шагов на общественном поприще, приблизительно в 70-х гг. прошлого столетия, эпохи „бакунизма“. И очень характерно, что публицисты „Сохи и Молота“ неоднократно в своих популярных статьях вспоминали об этом времени и ни о ком так охотно не писали, как о тогдашнем авторитетном вожде этой ветви общественного развития, о Бакувине. Как самому Бакунину, так и роли его в истории Интернационала там было посвящено несколько больших статей, достаточно хорошо аргументированных.

Отрицая диктатуру в вышеуказанном смысле и развивая в остальном старо-народническую революционную точку зрения с столь типичным для нее в 70-е гг. недоверием к всеобщему избирательному праву и ко всякого рода парламентарным говорилкам, как выражались прежние бакунисты, — публицисты „Сохи и Молота“ принимали и остальную часть тогдашнего символа веры, — именно, признание политических свобод, но только не вообще, а для трудовых элементов общества.

Такова была в целом их теория, и соответственно этой теории они строили в течение своего трехмесячного господства в Минусинском крае свою практику. Вот почему практика их в данном случае, являясь выражением известного принципа, — выдерживавшего или не выдерживавшего критику, это безразлично, — представляла несомненно крупное политическое значение. Эта теория знаменует высший пункт, до которого тогда доработалась на сибирских таежных прогалинах политическая мысль партизан, предоставленная самой себе и не стесняемая никаким давлением со стороны.

6. Что объединяло повстанцев.

Было бы чрезвычайно интересно проверить на фактах, насколько вся эта политическая теория (совершенно утопическая с современной точки зрения) соответствовала настроению и взглядам остальных повстанческих армий и взглядам населения тех районов, которые эти армии занимали. За недостатком соответствующего материала ответить на этот вопрос можно только предположительно.

Она, конечно, была безусловно неприемлема для тех отрядов и для тех групп населения, которые стояли на анархо-бунтарской, чтоб прямо не сказать погромной, точке зрения в духе Рогова и Новоселова, как и вообще для всех не поддающихся никакой государственной дисциплине элементов населения. Как бы ни расценивать, особенно с современной точки зрения, вышеохарак-

теризованную систему понятий, но ею во всяком случае устанавливались какие-то общеобязательные нормы поведения для населения, для проведения которых в жизненную практику потребовалась бы, разумеется, определенная принудительная сила. Без принудительного аппарата вообще не может существовать никакая государственная власть, это—азбука социальной науки, теперь особенно для всех ясна. На этой почве та теория, которую развивала „Соха и Молот“, при первой же попытке провести ее в жизнь, несомненно, столкнулась бы с анархо-бунтарскими настроениями и должна была бы вступить с ними в борьбу. Нечто подобное, как мы скоро увидим, имело место и в самом Минусинском районе, что тоже характерно. Но, с другой стороны, столь же несомненно, что та же теория „Сохи и Молота“ почти полностью могла бы оказаться вполне приемлемой, напр., для партизан, собиравших Черно-Ануйский съезд, несмотря на то, что они стояли как бы на иной точке зрения, именно на точке зрения отрицания советской власти. Но едва ли черно-ануйские партизаны стали бы в этом случае особенно препираться с минусинскими повстанцами: крестьянская мысль для этого слишком реальна и деловита, и подобные споры для тех и для других повстанцев показались бы безусловно слишком академическими. Общую почву для политического соглашения между ними найти было бы во всяком случае не так трудно, что опять-таки понятно само собой.

Несколько сложнее обстоит дело с определением, насколько точка зрения, развитая в „Сохе и Молоте“, оказалась бы приемлема для других партизанских армий, официально стоявших на советской платформе, напр., для той же армии Мамонтова. Как я упоминал выше, там тоже издавались свои газеты и листки, в виде хотя бы „Известий Главн. Штаба Алт. Окр.“, но это не были политические органы, а главным образом информационные. Повстанческие армии являлись по преимуществу крестьянскими армиями, интеллигенция в них почти отсутствовала и вести политической работы было некому. В частности, в армии Мамонтова работа такая почти совсем не велась, да и там не представлялось нужным ее вести, так как „армия и без того жила ненавистью к колчаковщине и определенно шла под лозунгами советской власти“, как передавал один из участников этого движения. Это было, конечно, ошибкой. Дело состояло не в том, какие лозунги принимались разными группами повстанцев, а в том, как они эти лозунги понимали. К сожалению, судить о том, как эти лозунги понимали партизаны только что указанного Барнаульско-Славгородского района, мы не можем. И не потому, что материала для разрешения такого вопроса у нас нет под руками, а и потому, что его, по видимому, вообще нет, так как политической работы там не велось. Можно лишь судить о том, на какой почве партизаны тех мест объединялись, — этой почвой была ненависть к колчаковщине. Но ненависть к колчаковщине представляла только отрицательный лозунг движения, а не положительный, ссылка же на принятие повстанцами лозунгов советской власти сама по себе не способна разрешить в этом случае всех сомнений. Так что, в итоге, при характеристике политических настроений и взглядов партизан, мы можем считать

пока установленным, но, правда, установленным безусловно, один факт: всех повстанцев, к какой бы политической категории они ни принадлежали, объединяла во-едино прежде всего ненависть к колчаковщине. Это полное и глубокое единство в отрицании колчаковского строя и придавало такую мощь партизанскому движению.

Что касается определения положительных лозунгов движения, здесь тоже едва ли возможно было ожидать особенных разногласий. Повидимому, без большого риска ошибиться, можно сказать, принимая во внимание группировки интересов в сибирском населении, отчасти нами уже указанные, что в общем политическая система, намеченная в „Сохе и Молоте“, оказалась бы приемлемой для основной массы всех повстанческих армий и для мирного населения занятых ими территорий. Конечно, эта система представляется несколько элементарной и даже наивной, но чем элементарнее система, тем она понятнее для народной массы. „Простота—враг анализа“, как говорил когда-то Достоевский. Теория „Сохи и Молота“ тем и была хороша, что она была простой и ясной, делавшей ненужным излишний анализ. К чему анализировать, когда и так все понятно и убедительно! Поэтому, политическую теорию, развитую в „Сохе и Молоте“ от лица минусинских или, точнее, канских партизан, без большой натяжки можно считать выражением взглядов всего вообще сибирского партизанского движения. Так, как в „Сохе и Молоте“, очень многие сибирские партизаны понимали советскую власть, да и власть вообще, т.-е. власть правильно организованную. К такой же общественной позиции склонялись и в ней же в сущности подходили, но с другой стороны, самостоятельно, и в тех партизанских отрядах, которые стояли не на советской, а обще-демократической платформе или близкой к ней. Для серьезных конфликтов и разногласий тут во всяком случае не имелось места, заниматься же академическими спорами, а тем более спором о словах, никто бы не стал.

Почва для конфликтов, если и была, то не в этой плоскости, а в иной: не разные типы партизанского движения могли бы оказаться в конфликте, а на одной и той же территории и в среде одной и той же партизанской армии могли бы возникнуть недоразумения между верхами и низами, особенно низами из мирного населения. Форма власти, установившаяся в том же минусинском районе, сводилась все-таки к военной диктатуре, пусть коллективной, но диктатуре. Представляло чрезвычайно большие удобства и для армии и для населения, что эта диктатура стремилась осуществляться через народ, через низшие ячейки, свободно избираемые населением. Это создавало контакт между низами и верхами и делало их единым слитным организмом, что представляло огромные преимущества для партизанской армии и в ее борьбе с противником. Это не являлось и случайностью, это было логическим следствием из раз принятых принципов. Но логически же мыслимым представляется такой случай, когда требования этой военной власти оказались бы в некотором противоречии с мнением и настроением низов, когда, одним словом, низы с верхами разошлись бы. Нечто подобное однажды и случилось в Минусинске, что и было отмечено в „Сохе и Молоте“, это именно тогда, когда съезд учителей

отказался принять чисто советскую резолюцию и почти единогласно высказался за резолюцию нейтрального характера. В „Сохе и Молоте“ тогда появилась очень резкая статья об учительском съезде. По существу тут произошло незначительное столкновение, не имевшее особенных последствий, но при других условиях мог бы быть длительный конфликт, между, употребляя старые термины, „силой власти“ и „силой мнения“. Как бы поступила в таких случаях власть, располагающая всем аппаратом коллективной военной диктатуры, и в какие бы отношения к ней поставила себя сила крестьянского мнения, такого аппарата не имеющая? Возможность такого столкновения логически вполне допустима, и если бы во время борьбы с Колчаком она имела место, это до чрезвычайности ослабило бы позицию повстанцев и нарушило бы органическую связь между составными частями принятого у них, в аншлаге „Сохи и Молота“, лозунга. Но эта логическая возможность при борьбе повстанцев с Колчаком нигде не переходила в практику, оставалась только возможностью логической. Мне, по крайней мере, такие случаи неизвестны. Так что, та политическая платформа, которую развивала „Соха и Молот“, вполне могла считаться общей почвой для объединения в одно целое всех оттенков партизанского движения, за исключением „новоселовского“, до того времени объединявшихся одними отрицательными лозунгами.

7. Отрицательные стороны партизанского движения.

Говоря о жизни в Минусинске за период пребывания в нем партизан, надо принимать, конечно, во внимание общий культурный уровень повстанческой армии, в состав которой входили самые разнообразные и неравноценные элементы. Этот уровень не мог быть,—и не был,—особенно высоким. Нравы у нас всегда отличались жестокостью, особенно в деревне; к культуре крестьянство приобщалось только спорадически и только верхними слоями; с другой же стороны в повстанцы шла прежде всего та „бродячая Русь“, о которой я упоминал выше; наконец, и вся обстановка гражданской войны мало способствовала смягчению нравов, так что в результате средний культурный уровень повстанческой армии еще более понижался.

Чрезвычайно любопытны в этом отношении в «Сохе и Молоте» рецензии на театральные представления, так как они вскрывают перед нами некоторые характерные черты тогдашнего повстанческого быта в Минусинске. Быт повстанцев, это— тема, вообще незатронутая сибирской публицистикой, настолько незатронутая, что для характеристики его ценны даже театральные рецензии „Сохи и Молота“. Этот отдел в „Сохе и Молоте“ представляет сплошной публицистический вопль, иначе его никак нельзя определить. Все рецензии только частично говорят о самих пьесах и об их исполнении, — ставились обычно чисто провинциальные мелодрамы и исполнялись любителями по мере сил и талантов, — главное же внимание обращается в них на то, как во время представления вела себя публика, на три четверти состоявшая из солдат

повстанческой армии. Судя по рецензиям в минусинской газете, публика вела себя крайне непристойно; конечно, совсем не так, как где-нибудь в „Гранд'-Опера“ в Париже и даже не так, как в любом глухом итальянском театре, где полагается, таков уж быт, вести себя во время представления, как дома, или лучше сказать, как в своей привычной остерии. Там во время действия и пьют, и курят, и разговаривают, а если придется, то хором с мест аккомпанируют певцам на сцене. В театральном зале благодаря этому страшно накурено, пол грязный, воздух тяжелый. Приблизительно то же самое наблюдалось и здесь, в Минусинске, но только в еще большей степени, чем там. и без того налета своеобразного проявления все-таки культуры в этом быте казалось бы, столь некультурном, который так или иначе, но там, в Италии, чувствуется.

Здесь тоже и пили, и курили, и плевали на пол, но все это в какой-то обнаженной от всяких культурных налетов форме. По внешности как будто и то же самое, но по существу иное, нечто гораздо более неприглядное. Солдаты народной армии приходили на представление пьяные, дебоширили, не слушали, что идет на сцене, или — хуже того, — там, где надо плакать (как находил рецензент) смеялись, где надо смеяться, возмущались, — кроме того, задевали женщин, пачкали им платья, вообще держали себя не по-итальянски. Картина в результате получалась такая, что в каждом № театральнй рецензент тратил много сил на обличения и убеждал солдат народной армии не позорить свое звание таким непристойным поведением. Все это может показаться, конечно, мелочью, но во всяком случае эта мелочь характерная, пренебрегать которой, как материалом для характеристики тогдашнего быта, тоже нельзя. А затем, рядом с этим, можно привести факты и не столь уже мелочные, факты тоже обличительного свойства, но иного порядка.

Театральные обличения печатались в „Сохе и Молоте“ обыкновенно в конце номера, в начале же его нередко можно было найти официальные заявления от Армейского Совета, решительным образом и категорически запрещающие всякого рода самовольные реквизиции, захваты частного имущества и другие нарушения революционного порядка. Имущества, стало быть, захватывались, самовольные реквизиции производились, — это несомненно. Несомненно также, что во всем этом проявилась та же некультурность, как и в поведении повстанческих солдат на театральнх представлениях, но только эти проявления некультурности были не столь уж невинного характера. Укоренившись в повстанческой армии, они могли повести к вырождению ее в отряды, занимавшиеся грабежом населения и мародерством, что грозило бы ее гибелью. Армейский Совет с этим вырождением усиленно боролся и не одними только публичными запрещениями реквизиций, а и более решительными мерами. Но, во всяком случае, тут находилась ахиллесова пята партизанской армии, ее больное место, для уничтожения которого было необходимо заранее принимать серьезные меры.

Быть может, партизанам собственными силами, без помощи со стороны, от правильно организованной регулярной армии, не удалось бы даже спра-

виться с этими проявлениями гангрены на своем организме, требовавшими временами хирургических методов лечения. Эта опасность представлялась тем более серьезной, что и в самой политической системе, охарактеризованной выше, имелись такие же слабые, гангренозные места, существование которых могло быть чревато гибельными последствиями. В своем политическом развитии партизанские армии остановились вообще на 1918 г., когда советская власть легко перерождалась в так называемую — „власть на местах“, не желавшую подчиняться дисциплинирующему влиянию центра. Для характеристики этого настроения чрезвычайно типичен один эпизод, разыгравшийся на VII крестьянском уездном съезде в Минусинске, на том самом съезде, с которым связано падение советской власти в 1918 г. в Минусинском уезде. Перед самым финалом, когда обстановка уже выяснилась и стало известно, что советской власти в Красноярске не существует, один из делегатов, имевших непосредственную связь с Красноярском, объявил на съезде об образовании сибирского временного правительства и о том, что оно теперь является восприемником государственной власти от советов. Когда это было оглашено, присутствовавший на съезде кооператор Б., типичный правый демагог, дал такую реплику: — „Вот, не успели свергнуть одно правительство, как явилось уже другое“. Реплика имела несомненный успех, так как повидимому чем-то отвечала общему настроению.

Не трудно даже понять чем, именно — „хорошо было бы хоть на время остаться без правительства, а жить самим по себе“ — такова, несомненно, была мысль многих из крестьян, присутствовавших на съезде. Это для крестьянства типичный пример: идея государственной власти (безразлично в данном случае, в чем она состоит), а тем более власти централизованной и дисциплинирующей, с трудом переваривалась крестьянством. От этой власти крестьянство никогда не видело ничего для себя полезного, т.-е. полезного непосредственно. „Москва навалилась, нас совсем задавила“, — такой пословицей великорусское крестьянство давно уже определяло свои отношения к центру.

Между тем без центральной государственной власти, притом власти дисциплинирующей, существовать мы не могли, партизаны же по самому существу своей социальной психологии с трудом ей поддавались. Вопрос о создании центральной государственной власти, которая, будучи действительной властью, вместе с тем сумела бы учесть все местные особенности и наладить свои отношения с группами, отличающимися центробежными стремлениями, такой вопрос являлся тогда кардинальнейшим в сибирской жизни. Правительство Колчака не сумело разрешить его и погибло.

8. Красноярские рабочие и партизаны.

Чтобы закончить этот схематический отчет о партизанском движении в Сибири при Колчаке, я должен коснуться еще одного пункта, именно отношения к партизанскому движению городских рабочих, в частности железнодорожного пролетариата. Наиболее ярким фактом, характеризующим эти

отношения, мне представляется следующий. В тот момент, когда в Красноярске пала уже власть Колчака и наступило междоусобие, когда аппарат по управлению губернией перешел в руки Комит. Общ. Орг. (в просторечии „земская власть“), в красноярских жел.-дор. мастерских представителями названного Комитета был собран митинг для информации рабочих о текущих событиях. На митинг собралось небывалое количество рабочих, заполнивших весь сборочный цех,—здание колоссального размера. На этом митинге, между прочим, при голосовании резолюций поступило предложение со стороны одной группы рабочих: „передать власть Щетинкину“.

Это было не только характерно, но и симптоматично. Как симптом, это являлось прекрасной иллюстрацией к тем отношениям между городом и деревней, которые тогда установились. Щетинкин представлял собою бунтовавшую деревню, деревню не желавшую покориться и с оружием в руках отстаивавшую свои права. Железнодорожные же рабочие, да еще красноярских мастерских, самых левых и наиболее большевистски настроенных во всей Сибири, (Красноярск, это „Сибирский Кронштадт“, как его называли еще в 1917—1918 г.), являлись передовой фалангой городского пролетариата. И вот по тем или по иным причинам, но этот авангард рабочего класса, как и весь рабочий класс Сибири, во времена Колчака не сумел выработать специфически своих форм протеста, и тем более протеста, принимавшего длительную и организованную форму; между тем деревня эти формы выработала. Предлагая „передать власть Щетинкину“, рабочие красноярских мастерских этим как бы признавали, что приоритет революционного действия и революционной инициативы принадлежат не им, как бы это следовало по всем нашим предположениям, а деревне. Деревня, Щетинкин, вот кто является вождем даже с точки зрения городских рабочих и вот кому следует передать немедленно власть. Из всего этого было совершенно ясно, каким непрерываемым сочувствием и—главное—каким политическим авторитетом пользовалось партизанское движение среди рабочих. Но лично для меня столь же очевидным представлялось и то, что рабочие в сущности не отдают себе должного отчета, в чем же собственно состоит это партизанское движение и какова его политическая программа. Я выступил тогда против этой резолюции, приведя против нее целый ряд аргументов. Меня поддержал присутствовавший на митинге анархист Алейников (вскоре убитый в дер. Коркиной офицерами отступавших частей колчаковской армии), и резолюция была снята.

Итак, вот отношение красноярских железно-дорожных мастерских, к партизанскому движению. Этим собственно все сказано. Для партизан представлялось разумеется чрезвычайно важным наиболее полно использовать это настроение в свою пользу. Деревня тогда боролась с городом, но одолеть город без помощи некоторых городских же групп населения она не могла; это чувствовала она сама. Рука помощи со стороны городской демократии для нее была крайне необходима, просто спасительна. Так как фронт порой очень близко подходил к городу; так как между городом и крестьянством по ту сторону фронта общелие не прерывалось; с другой стороны, так как деревня

испытывала недостаток в целом ряде предметов чисто городского происхождения (медикаменты, перевязочные средства, деньги, оружие, военные припасы), то партизанам постоянно приходилось прибегать к помощи города, наряжал туда специальных уполномоченных. Это были опасные экспедиции и кончались они не всегда благополучно. В декабре 1919 г. я имел сношения с одной из делегатов повстанцев, приезжавших с манского фронта (она была арестована в Красноярске весной 1919 г.; я встречался с нею зимой, после ее выхода из тюрьмы, где она только случайно, заболев тифом, не была расстреляна), и от нее слышал кое-что о том, как ее встречал город, в частности жел.-дорожные рабочие во время ее приезда. Многим она осталась недовольна; той активной помощи, на которую она рассчитывала, и в той степени, на которую она имела право, она не получила. И это тоже было характерно. Город в общем оставался пассивным, при всем сочувствии деревне. Деревня боролась с властью, шедшей из городов, почти один на один, и это вносило в ее самочувствие горечь и недоумение. Я оставляю пока этот факт без комментариев, предполагая вернуться к нему еще впоследствии.

9. Итоги и выводы.

Как расценивала все приведенные мной факты та земско-социалистическая оппозиция, о которой я говорил выше? Здесь мне хотелось бы полнее обрисовать именно то, как она тогда их расценивала, дабы ввести читателя глубже в круг тогдашних сибирских взглядов, оценок и настроений. Ошибки исторической перспективы всегда возможны: так легко усвоить прошлому, хотя и очень от нас близкому, взгляды, которых в то время не существовало или которые, если и существовали, то принимали оттенки, почему либо стершиеся из памяти.

Я бы мог очень легко избежать всякой возможности подобных ошибок исторической перспективы чрезвычайно простым путем. Осенью 1919 г. работа земско-социалистической оппозиции, направленная против Колчака, шла уже во всем разгаре. Как я говорил, в конце сентября и начале октября 1919 г. в Иркутске собрался нелегальный земский съезд, создавший для объединения политической работы земств Земск. Полит. Бюро. Одновременно аналогичная организация создавалась на Дальнем Востоке, с которой я состоял в непосредственных сношениях, сначала от себя лично (до образования Бюро), а потом по поручению вновь созданной организации. Еще в сентябре мне пришлось посылать из Красноярска во Владивосток подробную информацию о положении дела в средней и южной Сибири, и там было уделено много внимания крестьянскому движению по Енисейской губ. Вскоре после этого мной была помещена под псевдонимом „Русский Социалист“ большая статья в „Чехо-Словацком Дневнике“ (я писал ее по-русски, там она переводилась на чешский язык) в №№ 264, 267 и 268 за 1919 г., озаглавленная — „Крестьянское движение по Енисейской губ. и его вожди“, статья, дававшая оценку того повстанческого

движения, которое прочно укоренилось к тому времени в деревнях приенисейского края. Наконец, еще позже, в ноябре мной была составлена, по одному частному случаю, докладная записка: „Земское Полит. Бюро и его задачи“, намечавшая общий план деятельности Бюро и его отношения к крестьянству. Кроме того, большое внимание крестьянскому движению я уделял в журнале „Новое Земское Дело“, который одно время (март—май 1919 г.) я редактировал в Красноярске. Если бы все эти документы имелись у меня сейчас под руками, я бы просто перепечатал их полностью или в выдержках, и тогда стало бы сразу ясно, как земская оппозиция оценивала весной и осенью 1919 года крестьянское движение. Но у меня нет ни этих материалов, ни многих других; я жил всегда в таких условиях, когда было не до того, чтобы хранить при себе личные архивы. Поэтому, в нижеследующих строках я постараюсь восстановить свою тогдашнюю точку зрения так, как она осталась теперь в моей памяти. При случае мое изложение можно будет проверить ¹⁾ всеми вышеуказанными документами.

Наблюдая крестьянское движение как в Енисейской губернии, так и в других областях Сибири (за исключением Дальнего Востока, с партизанами которого я не имел никаких личных связей), — я обращал внимание прежде всего на однотипность его, на повторяемость при сходных бытовых и экономических условиях некоторых основных видов. Это облегчало ориентировку в крестьянском движении той или другой области безграничной по своим пространствам Сибири. Это же давало руководящие правила для разного рода практических соображений при решении вопроса, как успокоить взбаламученное море крестьянской стихии. Рядом с этим фактом, и в непосредственной причинной связи с ним, стоял другой ряд наблюдений, подтверждавшихся многими знатоками сибирской жизни. Крестьянство всюду волновалось, это представлялось неоспоримым, но вместе с тем также повсюду, в том числе и в повстанческих районах, жизнь все-таки шла в старых, привычных рамках, в частности не падал темп трудовой жизни, и — что мне казалось особенно важным — не сокращались запашки земель и посевы. Больше того, местами они даже увеличивались ²⁾.

Это обстоятельство заставляло обратить на него серьезное внимание; очевидно, своеобразная „власть земли“ в Сибири ничуть не ослабевала, несмотря на самые неблагоприятные условия для мирной трудовой жизни; очевидно, крестьянин стихийно втягивался в привычную для него, веками созданную обстановку трудовой жизни. Некоторые весьма интеллигентные люди, с мнением которых я считался, так как они внимательно наблюдали местную

¹⁾ Отчасти это можно сделать и теперь. В книжке полк. Солодовникова „Сибирские авантюристы и ген. Гайда“ напечатан в выдержках мой доклад полк. Прхала, нач. 3-ей чех.-сл. дивизии, поданный мною ему 12 мая 1919 г. Доклад посвящен крестьянскому движению по Енисейской губ. Копию ее Солодовников (лично мне неизвестный) получил, повидному, в Владивостоке, куда мной в свое время был отослан ряд документов.

²⁾ Сокращение площади посева стало наблюдаться гораздо позже.

жизнь, полагали даже, что к весне 1919 г. крестьянское движение само сойдет на-нет, смоется этим стихийным тяготением трудового населения к земле и ее обработке. Взойдет весеннее солнце, пригреет землю, прогонит зимнее безделье, так хорошо питающее всякое ушкуйничество, и жизнь войдет в норму. Так думали многие из местных людей. Мне не казались подобные соображения убедительными, но самый факт тяготения крестьянства к обычной трудовой жизни я считал чрезвычайно показательным.

Летом 1919 г. на этой почве в среде трудового сибирского крестьянства разыгрывались иногда характерные явления. Самым ярким из них я считаю историю отношений между двумя волостями Канского уезда—Тасеевской и Рождественской. Эти две волости, Монтеки и Капулетти Канского уезда, они разной политической ориентации: Тасеево—советской, Рождественское—трудно определить какой, скажем „земской“, хотя это будет не точно. Столкновения между ними случались постоянно и доходили иногда до кровавых стычек, особенно обострившихся при приходах карательных отрядов. К моменту полевых работ столкновения между ними так обострились, что для сенокоса и уборки хлебов приходилось выходить на работу с оружием в руках, ибо иначе нельзя было ни сено косить, ни хлеб убирать. Крестьяне скоро сами поняли, что нужно либо сражаться, воевать друг с другом, либо работать, делать же сразу и то, и другое нельзя. Путая войну с работой, они рисковали остаться на зиму без запасов, этот факт представлялся до такой степени ясным, до такой степени бесспорным, что обе волости заключили перемирие на период полевых работ и свято его соблюдали. Поля были благополучно убраны, хлеб свезен на место.

Для меня этот факт являлся своего рода символом и в этом отношении привлекал особенное мое внимание. Не ясно ли было, что „власть земли“ имела в деревне действительно решающее значение, и не в этой ли области приходилось искать решение всех проблем, поставленных перед нами текущим моментом?

В Степно-Баджейском районе к концу апреля оперировавший там повстанческий отряд выдержал до 70 боев, всю весну с марта месяца положение было крайне напряженным и тяжелым, шла неустанная военная работа. Тем не менее, все поля оказались засеянными; буквально все. Этот факт впоследствии был подтвержден статистическим путем земским обследованием. Следовательно, и здесь трудовая психология давала о себе знать полностью. Если бы жизнь в сибирской деревне вошла в нормальное русло, то, очевидно, все конфликты и все партийные группировки, наметившиеся в ней, постепенно бы сами собой потонули в общем стремлении крестьян—„к красоте ржаного поля“, как выражался некогда Глеб Успенский. При Колчаке этого не произошло. Как только обнаружилось, что правительственная власть принимает определенный реакционный курс, как только ее авторитет стали поддерживать в деревне новые милицейские и разные атаманы, там спутались все партии, исчезли все оттенки, самая „красота ржаного поля“ отошла как-то в тень, и крестьянство сплоченной массой выступило против правительственной реакции. Начались массовые крестьянские восста-

ния, крайне сложные по составу участников, крайне запутанные по идеологии. Эта сложность состава участников и эта запутанность идеологии крестьянского движения имели, однако, ясно видимую причину: крестьянство объединялось не на почве положительных, а на почве отрицательных лозунгов движения, на почве ненависти к колчаковщине. Когда в Минусинском уезде Щетинкина спрашивали (разговор происходил у него с одним местным кооператором), какие у него лозунги, Щетинкин отвечал:— „Я иду против милиции, против казаков, против Колчака“. Он схватывал отрицательные стимулы восстания, стимулы реальные и жизненные, и мало интересовался его отвлекающей идеологией.

Получался в результате клубок запутанных интересов, который надо было как-то распутывать. Я полагал в то время, что из всего намеченного тут клубка противоречий выход найти все же не так трудно. Прежде всего, разумеется, нужно было удовлетворить законные, обще-гражданские и специально крестьянские политические и экономические нужды. Этим устранятся условия, объединяющие крестьянство на почве одних и тех же отрицательных лозунгов. Практически это сводилось к низвержению власти адмир. Колчака, низвержению вооруженным путем, если не будет иного способа с ним покончить. К этой работе мне и пришлось приступить вплотную с весны и особенно с лета 1919 г., весной заведя сношения с представителями чехо-словацкой солдатской массы, а с лета,—после свидания с ген. Гайдой, отколовшимся тогда от Колчака.

Что касается дальнейшей работы по отношению к крестьянству, то и она была для меня ясна, так как определялась моим общим взглядом на роль трудового начала в крестьянской жизни, на роль в ней „красоты ржаного поля“. Несмотря на эту красоту, дело стояло, впрочем, прозаически. Я полагал тогда, что деревню успокоит и ее политическое доверие завоеует тот, кто даст ей товары. Товар — вот средство для политического завоевания деревни и создания в ней настоящей трудовой обстановки.

Но чтобы получить этот товар, нужно было иметь беспрепятственный выход к морю, к Владивостоку, а чтобы иметь беспрепятственный выход к морю, нужно было от чисто местных дел перейти к распутыванию некоторого клубка международных отношений. На пути к Владивостоку стояла Япония. Я слишком хорошо знал роль Японии на Дальнем Востоке и внутри Сибири, чтобы преуменьшать значение этого факта ¹⁾. Трагизм нашего положения в Сибири состоял в том, что мы не могли сделать ни одного шага во внутренней жизни ее, вплоть до налаживания наших отношений с крестьянством, не задевая какие-то сложные и болезненно переплетенные интересы больших капиталистических держав, творивших политику где-то там, за тридевять земель от нас, в бассейне Великого Океана. Надо было искать союзников не только в самой сибирской деревне, во внутренней группировке ее политических направлений, но и на арене международной политики. „Нужно,—как

¹⁾ См. об этом в моей брошюре „Дальний Восток и наше будущее“.—Публичные лекции, прочитанные в Томске 15 ноября 1918 г.—Красноярск, 1919 г.

образно формулировал эту мысль ген. Гайда в последнем разговоре со мной на ст. Слюдянка (в Забайкалье) в конце июля 1919 г., — нужно привязать гири к ногам японских дивизий“. А этими гириями могли быть только американские броненосцы, что было для меня тоже ясно.

Всем сказанным определилась вся моя последующая общественно-политическая деятельность в Сибири, как одного из более ответственных руководителей Земск. Полит.-Бюро. Но прежде чем перейти непосредственно к отчету о ней, я должен коснуться еще ряда сторон сибирской жизни при Колчаке, а равно должен остановиться на нем самом и на той роли, которую играли тогда в Сибири союзники.

0

Очерк второй.

Как это было?

(Массовые убийства при Колчаке в декабре 1918 г. в Омске и гибель Н. В. Фомина).

1. Цензовые группировки в Сибири.

Колчаковский переворот совершился 18 ноября 1918 года. Момент для переворота был чрезвычайно благоприятный. Директория никаким серьезным авторитетом не пользовалась, и ее существованием в сущности мало кто интересовался. Сама она внутренне представлялась слабой и не чувствовала в себе силы для решительной борьбы, между тем весь ход событий заставлял ожидать резкого столкновения. Рабочие и профессиональные организации либо не существовали, либо замерли, погрузились, под влиянием начинавшегося террора, в полудремотное состояние. На крестьянство никто из переворотчиков не обращал внимания,—им заинтересовались значительно позднее. Что же касается обывателя и вообще всей той бесформенной массы населения, по преимуществу городского, мнение которого обычно принимается в цензовой прессе за голос народа, то оно было настроено глубоко аполитично и желало лишь одного, чтобы его оставили в покое. Жардецкий, коронный публицист сибирской реакции, так и писал в „Сибирской Речи“, что вернейшим союзником идеи диктатуры является полная апатия населения. Когда утром 18 ноября омский обыватель, проснувшись, узнал, что у него теперь новое правительство во главе с адмир. Колчаком, то он отнесся к этому скорее благожелательно, чем с неудовольствием. Да и у многих на душе стало как-то легче:—по крайней мере теперь все ясно: диктатура, так диктатура. »

Но встречались и небольшие облачки на этом светлом горизонте, когда на нем взопло новое государственное светило. Сразу, невооруженным глазом их трудно было заметить, особенно в общем праздничном настроении, охватившем цензовые круги; тем не менее они все-таки были. Этими облачками являлись прежде всего некоторые из отзывов самой цензовой прессы о перевороте 18 ноября и в особенности лично об адмир. Колчаке. Я не имею сейчас под рукой полного подбора тогдашних газет, но отзывы их хорошо помню. В общем, цензовая пресса весьма сочувственно и дружно, как по сигналу, высказалась за переворот, доказывая в перегонку его спасительность и законность. В этом отношении никаких разногласий в ее среде не было, что и не удивительно:—

необходимость единоличной власти провозгласил еще съезд торгово-промышленников в Уфе, происходивший за два месяца до переворота. Но, на ряду с органами, преклонявшимися не только перед переворотом, а и перед самим адмиралом Колчаком, были и такие, напр., как „Свободная Сибирь“ в Красноярске, в отзывах которых слышалось не то чтобы разочарование или неодобрение,—переворот должен был быть, диктатура единственный путь к спасению страны, этого газета ни в коем случае не отрицала,—но в них проблескивала какая-то неохота к особенным похвалам по адресу новых властителей. Как будто бы праздничное лицо цензовых публицистов невольно искажала изнутри легкая гримаса. Чувствовалось, что кое-кто из цензовиков в этом случае чем-то не удовлетворен, как будто они хотели сказать, а кое-где и говорили о новом правителе, что это Федот, да не тот, которого они хотели и которого они ждали.

Объяснялось всё это очень просто:—цензовики имели своего претендента на пост верховного правителя, но этим претендентом не у всех у них являлся адмир. Колчак. Адмирала Колчака в Сибири мало знали, даже вовсе не знали, человек здесь он был новый, и когда этот новый и мало кому известный человек (а кроме того, известный некоторым цензовикам, как нежелательный кандидат) оказался верховным диктатором, отстранившим предполагавшегося ранее претендента, то он оказался в глазах наиболее посвященных как бы выскочкой, захватчиком. В Сибири ни для кого не было тайной, что настоящий кандидат на пост верховного правителя, уже открыто, еще в июле 1918 года принявший этот титул (на ст. Гродеково, около Пограничной), был вовсе не Колчак, а ген. Хорват, Димитрий Леонидович, или иначе „Димитрий Самозванец“, как его назвала одна дальне-восточная народническая газета, за что и была привлечена харбинским прокурором к ответственности по статье, карающей как за оскорбление величества ¹⁾).

Кандидатура ген. Хорвата на всероссийский престол,—речь шла именно о всероссийской, а не местной сибирской власти,—была открыто выставлена в средней и западной Сибири еще в августе 1918 года в статьях покойного А. В. Адрианова, напечатанных им в газете „Сибирская Жизнь“. Это были яркие, боевые статьи, тогда же отмеченные во всей сибирской прессе и широко разнесенные повсюду имя ген. Хорвата. В лице Адрианова ген. Хорват имел своего Баяна, как адмир. Колчак—в лице Жардецкого. Но тогда как Жардецкий не успел создать предварительной печатной агитации за адмир. Колчака, Адрианов, напротив, организовал широко поставленную, на американский лад, рекламу ген. Хорвату, страстно пропагандируя настоящий государственный переворот в духе смены власти демократических кругов властью цензовиков. Идейной лабораторией этой пропаганды являлся так называемый в Томске, месте действия А. В. Адрианова и „Сибирской Жизни“, кружок областников имени Гр. Н. Потанина („потанинский кружок“, который гораздо вернее нужно бы назвать „адриановским кружком“), группировавшийся около старейшей

¹⁾ Я здесь не иронизирую, а сообщаю действительный факт.

сибирской газеты, основанной еще в конце 1890-х г.г. сибирским Павленковым, Н. Ив. Макушным. Ген. Хорват, в отличие от адмир. Колчака, считался, — правда, больше по недоразумению, — местным человеком, органически связанным с Сибирью, чуть ли даже не сибирским областником, хотя собственно Западной и Средней Сибирь его знали не больше, чем Колчака. Чтобы приобщить ген. Хорвата к сибирскому областничеству, с которым он по существу не имел ничего общего, предполагалось даже организовать поездку на Восток Гр. Н. Потанина, и если она не состоялась, то по каким-то случайным причинам. Вообще, именем Потанина эта часть областников, несмотря на протесты другой их группы, возглавлявшейся Вл. М. Крутовским, тогда чрезвычайно злоупотребляла, желая использовать его крупный моральный авторитет в узко-групповых целях.

Трудно сказать теперь, насколько это движение в пользу объединения цензовиков около ген. Хорвата было связано организационно в разных своих частях, но что попытки создать такую организационную связь, притом в широком масштабе, существовали, это несомненно. Сам ген. Хорват появился на Дальнем Востоке в начале 1900-х г.г., будучи командированным туда гр. Витте, в качестве начальника управления Восточно-Китайской жел. дор.

На Востоке у ген. Хорвата имелась своя общественная ячейка, подерживающая его кандидатуру на пост верховного правителя, это — биржевые комитеты Амурской обл. и Дальнего Востока. От лица их в октябре 1918 г. из Владивостока в Омск совершила поездку особая делегация от не „социалистических организаций“ во главе с одним видным владивостокским биржевиком. Эта делегация подготавливала общественное мнение цензовиков к необходимости ориентации на ген. Хорвата и по всей линии железной дороги от Владивостока до Омска (Чита, Иркутск, Красноярск, Томск, Ново-Николаевск) оставляла организационные ячейки. Отчеты о деятельности и публичных выступлениях членов делегации появлялись кое-где и в газетах. Восточные цензовики проявляли в это время вообще большую энергию и сплоченность в стремлении насадить диктатуру в Сибири. Идея диктатуры пришла с Востока, там она первоначально зародилась, там была сформулирована, там приобрела полуофициальное международное признание, и оттуда же прибыл в среднюю Сибирь главный диктатор, перед которым разверзались двери неограниченной власти, — хотя не тот, которого ждали. Прибыл, словом, не Хорват, а Колчак.

Кроме Востока, у цензовиков были попытки связаться и с дальним Западом, с Европейской Россией. В апреле 1918 г. с юго-запада России проехали на Восток полк. Глухарев и ген. Флуг, уполномоченные ген. Корнилова, через которых ген. Корнилов, — если не организационно, то идейно, — пробовал связаться с сибирскими цензовыми кругами. Осенью того же 1918 г. в моих руках находились копии писем полк. Глухарева к ген. Корнилову, в которых он сообщал ген. Корнилову о своих сибирских связях с военными кругами и с областниками. Имя ген. Корнилова в то время в Сибири, в цензовых кругах и в части интеллигенции, было окружено необычайным ореолом и пользовалось исключительным моральным авторитетом. Самый факт связи с ним

и с его организациями областники, впрочем, и не скрывали, так как об этом в „Сиб. Жизни“ (в том же № от 28 августа) писал А. В. Адрианов.

Насколько большим и непререкаемым авторитетом пользовалось тогда в цензовых кругах имя ген. Корнилова, показывает инцидент с бывшим министром Временного правительства Н. В. Некрасовым. Он приехал летом 1918 г. в Сибирь, но его появление в Сибири подняло целую бурю в цензовой прессе и в цензовых кругах, потребовавших от Некрасова ответа за его поведение в деле Корнилова. После своего рода общественного суда над Некрасовым, страсти разгорелись до такой степени, что он предпочел вернуться обратно в Советскую Россию, несмотря на весь риск, связанный с таким переездом.

Как бы, однако, ни была сильна эта связь с Западом, — а в организационном отношении она едва ли являлась сколько-нибудь значительной, — она, во всяком случае, не могла идти ни в какое сравнение по своей важности с той связью, которая у сибирских цензовиков установилась с Востоком. Центр всего движения, особенно центр организационный, находился несомненно там, на Востоке. И там же, на Дальнем Востоке, у сибирских цензовиков оказался чрезвычайно сильный союзник, связывавший их с международной дипломатией; этот союзник, конечно — Япония, действовавшая на Востоке через посредство ген. Хорвата и его вооруженной руки, атамана Семенова. Япония, как магнит, притягивала к себе все реакционные силы России, выброшенные за борт революцией 1917 года, и под ее протекторатом они могли постепенно приходить в себя и организовываться. Когда же произошло чехо-словацкое восстание (май-июнь 1918 г.) и Сибирь оказалась совершенно отрезанной от России, эта роль Японии получила особенно широкое значение, и дальне-восточная реакция с своим организационным центром в Харбине у ген. Хорвата перешла на положение полного гегемона в среде сибирских цензовиков.

Отсюда и еще один факт, не представляющий никакого сомнения, — всё то, что потом произошло в Сибири, и тот тип власти, который окончательно установился в ней после 18 ноября, и те методы управления, которые получили название — „колчаковщины“, хотя их с таким же успехом можно было бы назвать „хорватовщиной“, наконец, и те приемы борьбы со всякого рода оппозицией, вплоть до физического уничтожения ее представителей (убийство учителя Уманского и „черные автомобили“ в Харбине), всё это пошло с Востока. Отличие можно заметить только в одном отношении: то, что там практиковалось в сравнительно небольшом размере и на ограниченной территории, здесь развернулось в огромном масштабе, привлекая к себе всеобщее внимание. На этой же почве разыгралась и трагедия 22 декабря 1918 года, связанная с массовыми расстрелами в Омске, с убийством членов Учредит. Собрания и с гибелью Н. В. Фомина. Об этих событиях я и имею в виду рассказать то, что знаю и что непосредственно происходило на моих глазах.

2. Омское восстание в декабре 1918 г.

В декабре 1918 г. меня не было в Омске, и о разыгравшихся там событиях я знал только из газет или из рассказов других лиц. Я находился тогда в Красноярске, и вести из Омска доходили с большими перерывами, нерегулярно. Газеты обо многом умалчивали, питаться приходилось больше слухами, чем достоверными сведениями. Мы знали или „слышали“ в Красноярске, что в Омске восстание; говорили, что город кем-то захвачен и отрезан от остальной Сибири, что там переворот. Слухами о переворотах тогда вообще жила вся Сибирь, и им легко верили так же, как вестям о поражениях на фронтах. Желание есть мать веры, — это давно известно. Но потом стали говорить, что Омск не взят никем, но что крупный бой идет в Куломзине, пригороде Омска, на левом берегу Иртыша, около жел.-дорожного моста. Прошло еще некоторое время, и стало известно, что восстание в Омске действительно произошло, но его сравнительно скоро подавили. Это было одно из тех городских восстаний, которые за время Колчака спорадически вспыхивали то тут, то там, быстро локализовались и еще быстрее подавлялись с невероятной жестокостью. Восстание в Омске по первоначальному плану должно было начаться в городе, перекинуться в лагеря, где содержались военно-пленные гражданской войны красноармейцы, затем найти поддержку в Куломзине среди рабочих и, таким образом, кончиться захватом всей городской территории. Но еще до того момента, как ему вспыхнуть, оно оказалось обреченным на неудачу: накануне предположенного выступления был арестован весь штаб повстанцев, и арестованных тут же расстреляли. Все эти аресты „накануне“ всегда подозрительны и заставляют предполагать, что они происходят не случайно. О подготовке выступлений в таких случаях власти обыкновенно знают заранее, потому вовремя и производят аресты. Чрезвычайно интересны в этом отношении показания, данные после самим Колчаком на допросе в Иркутске.

„Приблизительно около 20-х чисел декабря, — рассказывал там адмирал, — Лебедев ¹⁾ сообщил мне, что имеет агентурные данные, говорящие о том, что в Омске готовится выступление жел.-дорожных рабочих и что движение идет под лозунгом советской власти“.

Движение это, по словам Колчака, не беспокоило Лебедева, — „он большого значения ему не придавал“, и это понятно: он был в курсе дела и в любой момент мог приступить к „ликвидации“, что на деле и произошло, как сказано выше. Тем не менее, восстание вспыхнуло, но не в городе, не в центре, а на периферии, в пос. Куломзино. В городе же оно захватило только ту часть территории, на которой расположена тюрьма. Туда явился небольшой отряд солдат, захватил тюрьму и освободил заключенных, среди которых находилось

¹⁾ Лебедев, нач. штаба верх. главнокомандующего, т.-е. самого Колчака. Гсм. Лебедев один из крупнейших представителей колчаковской политики и наиболее приближенное лицо к самому адмиралу. В Омск он прибыл от Деникина.

много видных эс-эров, „учредильщиков“: Н. В. Фомин, Ф. Ф. Федорович, В. Е. Павлов, В. В. Подвицкий и др. Часть арестованных через день или два вернулась добровольно в тюрьму при обстоятельствах, которые ниже подробно изложены, но некоторые категорически отказались возвратиться. Из тех, которые вернулись, многие погибли, в том числе Н. В. Фомин, и эта гибель Н. В. Фомина произвела в Сибири потрясающее впечатление.

Гибель Н. В. Фомина, принимавшего непосредственное и очень крупное участие в чехо-словацком перевороте, можно сказать организовавшего этот переворот, — поставила естественно вопрос, как это могло совершиться и кто ответствен за его убийство. На том же допросе в Иркутске адмир. Колчак категорически отстранил от себя всякую ответственность за омские расстрелы и за гибель, в частности, Фомина. Он сказал, что он просто „не знал“, кто это сделал и по чьему распоряжению, во всяком случае — не по его. Что это происходило не по его непосредственному распоряжению, это вполне вероятно, но чтобы он так-таки и не знал и не узнал за все время своего правления, кто это сделал и по чьему распоряжению, — тут возможны большие сомнения. Кое-что, и кое-что существенное, адмир. Колчак во всяком случае знал. На допросе в Иркутске Колчаку были названы несколько лиц, непосредственных участников тогдашних расстрелов; напр., был назван кап. Рубцов, затем Барташевский, взявший из тюрьмы Фомина и др., и еще ряд лиц. — „Я знаю, — отвечал Колчак, — что Рубцов принимал участие в выполнении приговоров полевого суда“. — „А знаете ли вы, — спрашивали там Колчака, — что Рубцов и Барташевский ссылались на ваше личное распоряжение?“ — И на это адмирал принужден был ответить: — „Да, Кузнецов, производивший следствие, мне об этом докладывал“. Таким образом, давал или не давал Колчак непосредственные распоряжения о массовых расстрелах в эту ночь, но факт тот, что те, кто тогда действовал, действовали не чьим-либо чужим, а его, адмир. Колчака, именем; он это знал и позднее против этого не протестовал, — по крайней мере о таких его протестах никогда нигде не говорилось, — не поднимал о них речи и сам он на допросах в Иркутске. Я полагаю, что это не случайность. Кровь, пролитая в ту ночь, являлась помазанием адмирала при венчании на пост Верховного Правителя. Она сделалась залогом, примирявшим его с теми самыми непримиримыми фракциями цензовиков, легкую тень неудовольствия которых он вызвал, появившись внезапно, как „выскачка“, на государственной арене. Как именно все это произошло и к каким привело результатам общеполитического значения, — и составляет задачу моего дальнейшего изложения.

3. Адмирал Колчак и англичане.

Кроме самого адмирала Колчака, были и еще силы и люди, политически ответственные, хотя, может быть, не прямо, а косвенно, за происшедшие тогда события. Я боюсь, что читатель моих записок удивится и сочтет это за парадокс, если я скажу, что такими лицами, ответственными за пролитую кровь, явились

иностранцы, именно англичане, английские политические деятели. Это, конечно, очень странно и неожиданно, но это так. Когда при известии о воцарении Колчака легкая гримаса неудовольствия промелькнула по лицу цензовой сибирской прессы, это отнюдь не представляло случайности, да и, вообще, случайностей не бывает в крупных событиях политической жизни, а тем более в таких критических узловых пунктах ее. Цензовики, конечно, прекрасно понимали, что дело тут не в самой личности адмирала, ибо чем он в самом деле был хуже ген. Хорвата, — репутация Колчака представлялась им даже более значительной, чем репутация Хорвата, — но имелось нечто, все-таки заставлявшее их предпочитать последнего первому. Вопрос здесь решался не персональными качествами двух претендентов, а тем, какие реальные силы стояли за ними и что эти силы несли с собой для организации власти внутри Сибири.

За ген. Хорватом, как всем представлялось ясным, стояла Япония, страна еще недавно полуфеодалная, страна монархическая и реакционная. Япония, это — духовный страж реакции на всем бассейне Тихого Океана. Между тем, адмир. Колчак давно уже проявил себя на Дальнем Востоке несомненным японофобом в области международной политики. Об этом он опять-таки совершенно определенно говорил на том же допросе в Иркутске и еще ранее во время своего пребывания на Дальнем Востоке (весной 1918 г.), в одном из обширных газетных интервью, позже перепечатанном в „Свободном Крае“ в Иркутске. Японофобство Колчака в международной политике — безусловный факт и, может быть, было бы даже его единственной положительной чертой, если бы распространялось и дальше, на внутренние дела, чего на самом деле не было. Здесь, напротив, он усвоил чисто японские методы управления и особенно подавления, о чем я еще буду говорить подробно, на основании официальных документов¹⁾. Не будучи в области международной политики сторонником Японии, а на допросе в Иркутске осуждая даже вообще „интервенцию“ (на этот раз едва ли искренне), адмир. Колчак имел своих союзников среди иностранных дипломатов, оказывавших ему серьезную и, конечно, не бескорыстную поддержку. Этими союзниками Колчака, на которых он усиленно ориентировался, являлись англичане.

Переворот 18 ноября — есть дело сибирской реакции, имевшей организационный центр на Дальнем Востоке, но появление на посту Верховного Правителя адмир. Колчака, это — дело, бывшее чрезвычайно желательным для англичан, если не прямо их рук дело.

Цензовые круги в Сибири вообще считали для себя оскорблением слухи о том, что в перевороте 18 ноября играли какую-либо роль иностранцы, безразлично — японцы или англичане. В их представлении переворот 18 ноября являлся исключительно национальным делом, в котором никакие иностранцы никакой роли не играли. Однако, теперь даже в книге Гинса о Колчаке есть такая фраза: „Когда военный представитель Англии ген. Нокс узнал о кандидатуре Колчака, он горячо приветствовал ее и сказал, что назначение Колчака

¹⁾ См. ниже — очерк третий, главы 8 и 9.

обеспечивает помощь со стороны Англии. (Отсюда—по мнению Гинса—пошла легенда о том, что Колчак, как Верховный Правитель, был создан ген. Ноксом¹⁾).

Гинс ошибается,—эта легенда пошла не только отсюда, но, во всяком случае, и это заявление Нокса очень характерно. Гинс, с другой стороны, умалчивает, когда это заявлялось ген. Ноксом, до переворота или после него. Я позволю себе здесь утверждать, что еще в октябре 1918 г. ген. Нокс при поездках по Сибири усиленно зондировал почву в разных городах на предмет возможных перемен в организации власти, при чем то тут, то там он называл и определенные имена, в том числе и адмир. Колчака. Заслуживает также внимания такой факт: в сентябре 1918 г., будучи во Владивостоке, я имел случай убедиться, что, по мнению местных биржевых кругов, далеко не одни японцы настроены в пользу восстановления монархической или полумонархической власти в России, но что и англичане (там был тогда ген. Нокс, а перед тем сэр Джордж Эллиот) полагают лучшим типом власти для России конституционную монархию, а для данного момента власть единоличную, диктаторскую. Я тогда был очень заинтересован этой уверенностью владивостокских биржевиков и впоследствии не раз убеждался, что их информация оказалась довольно точной и близкой к истине. Но, какую бы роль ни играл ген. Нокс до переворота 18 ноября, во всяком случае, после переворота он сделался самым энергичным и самым сильным союзником Колчака, упорно поддерживая его до самого конца. Фактически ген. Нокс взял на себя главную тяжесть по снабжению армии Колчака военными припасами: это был интернациональный интендант колчаковской армии, делавший всё от него зависящее для полного насыщения ее необходимым техническим материалом. Колчак, однако, ни в какой степени не оправдал оказанного ему ген. Ноксом доверия, и когда началось беспримерно-паническое отступление, вернее—бегство его армии на восток, все это английское снабжение в колоссальном количестве попало в руки красной армии. Французы тогда острили в Иркутске над ген. Ноксом, называя его „Le grand fournisseur de l'Armée Rouge“—великим поставщиком Красной Армии.

4. Выступления полк. Уорда.

Что Англия в лице своих дипломатов приложила руку к перевороту 18 ноября, это теперь не представляет спора. Но кое-что уже выяснилось и в то время. Я хорошо помню, напр., хотя и не могу навести нужную справку, как весной 1919 г. в газете „Наше Дело“, издававшейся в Иркутске, появилась телеграмма из Лондона с отчетом о заседании парламента и с ответом лорда Черчила на запрос оппозиции о роли Англии в сибирских делах. Лорд Чер-

¹⁾ См. Гинс, „Сибирь, союзники и Колчак“. 2 тома. Пекин, 1921.

чиль заявил там, что положение в Сибири осенью 1918 г. было таково, что англичанам приходилось для охраны своих интересов предпринимать некоторые меры с целью надлежащей организации власти, и в результате этого появилось правительство, возглавляемое Колчаком. Находились, впрочем, и в самой Сибири простаки из числа местных бурбонов, которые без всяких дипломатических тонкостей пробалтывались о том, как и кем, с чьей помощью происходил переворот 18 ноября. Для характеристики этого приведу один пример.

Вскоре после переворота 18 ноября, в Красноярске пачальник местного гарнизона ген. Феодорович (тогда генералов, как блины, пекли), типичный военный селадон старого типа, собрал к себе представителей всех общественных учреждений, имевшихся в городе (дума, земство, профсоюзы и пр.), чтобы информировать их о происшедшем перевороте, и, изложив, что произошло в Омске, закончил свое сообщение заявлением о бесполезности каких бы то ни было протестов против правительства адмир. Колчака, так как, по словам ген. Феодоровича, то, что произошло, было сделано с согласия и при участии союзников, в частности англичан. Не помню, был ли тут назван тогда ген. Ноке, но все знали и понимали, что если в этом случае фигурировали англичане, то не мог не фигурировать прежде всего ген. Ноке: слишком уж он был тогда известен в Сибири, правда, еще никто не подозревал, что он сделается современем великим поставщиком Красной Армии с помощью своей креатуры — адмир. Колчака.

Ставка на Колчака являлась, таким образом, ставкой на Англию, что, по многим соображениям, не соответствовало желаниям сибирских цензовиков. Япония им была, во всяком случае, ближе всякой Англии, не говоря уже о том, что Япония и географически находилась тут же, близко, тогда как до Англии из Сибири три года скачи — не доскачешь. Затем, все-таки англичане считались конституционалистами и демократами, а это для цензовиков тоже представлялось неподходящим. Герцен когда-то говорил, что самое худшее из всех правительств, это — правительство рассвирепевших лавочников, но вот это самое правительство тогда и устанавливалось в Сибири; как же оно могло ориентироваться на Англию и ее демократию? Нужно, однако, сказать, что англичане сделали все возможное, чтобы примирить с собой этих сибирских „рассвирепевших лавочников“. Особенно на этом поприще постарался полк. Уорд (или Ворд, как его иногда называли), английский демократ, член парламента, деятельный участник тред-юнионистского движения. Полк. Уорд проехал от Владивостока до Перми, если не дальше, не до самой линии фронта, всюду выступая с лекциями, докладами, застольными речами и всякого рода призывами. Как подобает английскому тред-юнионисту, полк. Уорд излагал свои взгляды на положение России не только среди чистой публики, но и среди рабочих, особенно среди жел.-дорожников. В жел.-дорожных мастерских для полк. Уорда устраивались специальные собрания, как в былое время всяческих митингов и свобод, но только без права диспута, а лишь с обязанностью слушать. Этот способ воздействия на аудиторию усвоил впоследствии, впрочем, не только один полк. Уорд.

Выступления полк. Уорда, начавшиеся еще задолго до переворота 18 ноября, но, несомненно, расчищавшие путь к нему, были чрезвычайно характерны и симптоматичны. Я считаю, что одним из самых ярких является помпезное выступление его в середине октября на банкете в Иркутске; банкеты тогда были в большой моде. Полк. Уорд говорил долго, говорил он по-английски, с переводчиком, и едва ли он представлял в точности, кто его слушает и как его слова, быть может, очень хорошие и уместные где-нибудь в Англии, преломляются в душе и в понимании сибирских „расширенных“ обывателей, как штатских, так, в особенности, военных. Типичный английский либерал, свято хранящий в душе верность старым английским традициям и всему прошлому в истории своего народа, такой богатой культурными завоеваниями, полк. Уорд не считался с тем, что тут, в Сибири, перед ним была не Англия, а скорее Патагония, как выражался когда-то Столыпин, и что здесь все его разговоры о традициях будут поняты самым прямолинейным образом и едва ли так, как этого хотел бы он сам.

Полк. Уорд, по его словам, был очень удивлен, когда, приехав в Сибирь узнал, что здесь национальным английским гимном считается — „Rule, Britannia“, „Британия, царствуй на водах“, тогда как на самом деле национальный гимн англичан — „God save the King“ или по-русски: „Боже, сохрани короля“. „В Англии, — говорил дальше полк. Уорд, — могли бы быть всякие перевороты и революции; Англия, быть может, совершит еще огромные социальные реформы, но все-таки национальным гимном ее останется по-прежнему гимн в честь короля. Англия — страна традиций и от них никогда не откажется; ее прошлое ей дорого просто потому, что это ее прошлое, и она над ним не станет надругиваться и другим надругаться не позволит. Но это не мешает ей быть страной передовой, прогрессивной и демократичной“. Совсем иное полковник нашел в России. Проезжая сюда из Харбина, он увидел, напр., что на всех станциях железной дороги, принадлежащей русским — русской дороге болтаются какие-то красивые доскутки вместо флагов. „Но где же ваш старый национальный флаг? — спрашивает полковник. — Почему вы от него отказались?“.

Речь полковника имела огромный успех особенно в том месте, где он с большой эспрессей сказал, что если бы в Англии появились такие же реформаторы, как в России, проповедующие грабеж и убийство и нагло нарушающие вековые национальные традиции, то мы, англичане, при всем нашем уважении к суду и к законности, не нашли бы для таких людей иных слов, кроме слов негодования, и они за свою пропаганду ответили бы своей головой.

Гром аплодисментов похрыл эти слова полк. Уорда, и какой гром. Сибирские погромщики почувствовали тут что-то свое, родное в словах английского либерала и похрыли их целой бурей оваллий.

События имеют свою логику. Поэтому, по мере продвижения полк. Уорда на запад, к Омску, его слушатели не удовлетворялись уже одними аплодисментами и, напр., в Красноярске, а потом в Омске, наслушавшись речей о том, что в Англии всякий рабочий тред-юнионист поет национальный гимн в честь короля, участники банкета затянули тут же от полноты чувств в тон оратору: „Боже, царя

храни“, а затем на глазах англичан разыгралась настоящая „драка в Доме“, подобная той, которая была описана в свое время в одном рассказе Короленко, хотя едва ли это живое напоминание об английских традициях доставило много удовольствия и польстило национальной гордости англичан, прибывших вместе с полк. Уордом.

5. Н. В. Фомин и его общественная работа.

Полагаю, на этом я могу пока закончить предварительные замечания к рассказу и к оценке декабрьских событий 1918 г., чтобы теперь ближе подойти к ним самим. Прологом к омским событиям явилось столкновение между съездом членов Учредит. Собрания и колчаковскими офицерами в Екатеринбурге. Собственно уже тут было решено расправиться с „учредильщиками“, и, если этого не произошло, то по чисто случайным причинам, в виду вмешательства чехов. Я, впрочем, не был свидетелем того, что происходило в Екатеринбурге и позже в Уфе и Челябинске, так же, как не участвовал и на предыдущих съездах членов Учредит. Собрания. Об их работах я знаю только с чужих слов, поэтому я на них здесь не останавливаюсь. В числе членов Учредит. Собрания, арестованных в Челябинске, после того как съезд был вывезен чехами в Уфу, был и Нил Валерианович Фомин, человек мне близкий и очень хорошо известный.

Я знал Нила Валериановича с лета 1916 года, со времени моей ссылки в Енисейскую губ., которую я, вместо Туруханского края, куда был назначен, отбывал в Красноярске. Там я встретил целую группу ссыльных, большевиков и эс-эров; из них многие играли впоследствии крупную роль в революции, как февральской, так и октябрьской, и в центре и на местах, а некоторые, правда, не все, и теперь занимают весьма видные посты. Нил Вал. Фомин работал в то время в Енисейском союзе кооперативов; он был еще молод, ему исполнилось тогда лет 27-28, хотя на вид он казался гораздо старше. В Енисейском союзе он пользовался большим авторитетом, и за ним, несмотря на его молодость, числился уже серьезный кооперативный стаж. По убеждениям он являлся эс-эром, что, впрочем, не мешало ему в то время быть в очень близких личных отношениях с некоторыми видными большевиками. В тот момент, когда мы с ним встретились, он заведывал в союзе секретариатом и, вскоре после нашего знакомства, уехал в Минусинск на ревизию местного кооперативного объединения. В Минусинске он между прочим очень близко познакомился с Е. К. Брешко-Брешковской, тоже отбывавшей там ссылку.

Центром тяжести его работы в это время являлась, однако, не политическая деятельность, а кооперативная. Необходимо отметить здесь для характеристики его, как кооператора, что в кооперативной литературе его работа по минусинской ревизии считается образцовой. Позже волна событий оторвала его от вопросов кооперативной практики и теории, и центром тяжести у него сделалась не кооперативная, а политическая деятельность. Это произошло сейчас же после революции 1917 года. Нил Валер. примыкал тогда

к направлению центра партии соц.-рев., лидером которого является В. Чернов. В местной партийной группе он занимал одно из самых видных мест, можно сказать даже центральное положение, сохраняя его и впоследствии. Временами он уезжал из Красноярска на съезды, то кооперативные, то обще-политические, на совещания и просто по личным делам. Он не присутствовал, напр., на первом крестьянском обще-губернском съезде, где шла ожесточенная борьба с большевиками, окончившаяся в то время их поражением. Однако, эти отъезды, обычно кратковременные, не мешали ему сохранять живую и крепкую связь с местными интересами.

Я выехал из Красноярска в начале июля 1917 г. и до декабря этого года с Нилом Вал. не встречался. Встретились мы с ним снова только перед открытием Учредит. Собрания, как депутаты от одной губернии, прошедшие по одному списку. Я нашел Нила Вал. за этот период значительно изменившимся, что очень выпукло отражалось на его тогдашних статьях в „Красном Знаме Труда“, присылавшихся им из Петрограда в Красноярск. Раньше по целому ряду вопросов обще-политического характера (война, временное правительство, большевики и пр.) он был, по общепринятой терминологии, „левее“ других; теперь он стал переходить на чисто „активистские“ позиции, не останавливаясь перед самыми крайними выводами, что являлось для него характерным. По натуре это был вообще типичный искатель правды, глубоко честный и искренний; в поисках правды он иногда как бы метался от одного положения к другому, но, раз в чем-либо убедившись, делал из этого все логические выводы.

Прошло Учредит. Собрание, и в самом начале 1918 года, еще до Брестского мира, мы с ним снова расстались; он уехал в Москву, я остался в Петрограде, почти не принимая участия в тогдашней политической жизни (если не считать ряда лекций и выступлений на митингах), но сотрудничая на этот раз в официальном партийном органе „Дело Народа“. Для характеристики своего отношения к тогдашним событиям в Сибири считаю необходимым отметить здесь две свои статьи, напечатанные в конце мая 1918 года, одна под заглавием „Что происходит в Сибири?“ и другая — „Что ждет Сибирь?“. Во второй из этих статей, определив свое отношение к большевистской работе, я, между прочим, писал, что в Сибири, как и везде, нас ждет приступ борьбы с демократией и социализмом, со всем социализмом, безотносительно к тем или иным его разветвлениям. Одни течения социализма, вроде большевиков и левых с.-р., будут ненавистны и виноваты в глазах самых разнообразных кругов тем, что они делали; другие же, противники большевиков и левых с.-р., виновны окажутся в том, чего они не делали или, вернее, чего они не сумели сделать. Первые признаки такой реакции мы имеем уже в Сибири. Как характерно, напр., что бывший депутат от Красноярска в Госуд. Думе Востротин, правый кадет, находившийся тогда на Дальнем Востоке, отказался там входить в сношения с социалистами при переговорах об организации власти. Этот отказ, переданный газетами, был весьма знаменателен; я находил, что это первая ласточка, за которой последуют и другие вестники реакционной волны...

В той же статье я указывал в противовес московским „Известиям“, что в Сибири „атам. Семенов есть реальная сила, и едва ли правы „Изв.“ в своем патрилизме и в уповании насчет не-реальности его предприятия“¹⁾; далее там упоминается о „намерении есаула Семенова назначить диктатором Забайкалья адм. Колчака, известного в Сибири своими связями с американскими капиталистами, тоже людьми, как известно, частными; наконец, проводится параллель между Семеновым и Калединым с Корниловым.—„Картина в этом отношении вполне ясна: Семенов действует не по типу Каледина или Корнилова, Семенов действует скорее по типу украинской Рады, опиравшейся в своей борьбе против большевиков на иностранную помощь, более или менее искусно вуалированную. Это факт огромной важности для оценки того, что ждет Сибирь“.

— „Лозунгом Семенова является учредит. собрание, — говорится дальше в статье.— Не станем этим обольщаться: ныне никакого иного лозунга ни у кого, пока что, не может быть. Это единственный приемлемый для народа лозунг, под знаменем которого можно действовать. Но ведь не всякий вызывающий: Господи, Господи, внидет в царство небесное“. „К учредительному собранию есаул Семенов относится так же, как все люди его типа: если оно поддерживает его, тогда он признает его, а если не поддержит, то нет, не признает. Что оно его может поддерживать, это не невозможно, особенно при содействии Востротинных: бывали же в истории учредительные собрания вроде Бордосского парламента во Франции, почему же их не может быть у нас? Даже наверное будут“.

„Учитывая все это в целом, мы должны признать, что Сибири предстоит тяжелые времена и что истинно-демократическим элементам этой окраины надо спешно мобилизовать все свои силы, дабы не дать реакции беспрепятственно занять все те места, которые если она займет, то сумеет надолго на них основаться“.

Статья оканчивается словами: — „Итак, граждане, все на работу! Не дайте этой великой по своим возможностям окраине сделаться вотчиной какого-нибудь нового гетмана Скоропадского“.

Приблизительно такого же содержания, сколько я помню, была и вторая статья моя о Сибири, напечатанная в „Деле Народа“, тоже в конце мая 1918 г. Печать тогда в Петрограде была почти что свободна и высказываться можно было полностью. Я не верил тогда в прочность существования на окраинах советской власти, но я не особенно высоко оценивал также и организованность демократии. О подготовке переворота чехо-словаками мне в то время ничего не было известно. Очередным вопросом дня я тогда считал борьбу с грядущей реакцией, политически и морально окрепшей под влиянием практики последнего времени, предшествовавшего периода политики, особенно в вопросах политики международной.

¹⁾ Московские „Известия“ тогда писали: „У Японии нет никакого намерения вмешиваться в сибирские дела, и если есаулу Семенову помогают японцы оружием и деньгами, то это делают частные лица и компании, правительство же Японии стоит от этого совершенно в стороне“. И дальше „Известия“ говорят, что „Семеновщина доживает свои последние дни“, так что Семеновым, Хорватам, Плешковым не удастся избежать корнадовской участи.

6. По приезде в Омск.

В начале июня 1918 г. я решил ехать в Сибирь, в значительной степени, в виду вышеназложенных соображений. Не могу не отметить тут одного факта, который может служить некоторой иллюстрацией к последним словам предыдущей главы. Перед тем как выехать, я получил от редакции „Дела Народа“, через А. Р. Гоца, предложение написать статью о начавшемся конфликте советской власти с чехо-словаками. Должен сознаться, что я до того времени имел весьма слабое представление о существовании чехо-словацких дивизий у нас в России, и поэтому весь вопрос о чехо-словацком выступлении упал на меня, как снег на голову. Не будучи ориентированным в достаточной степени в этом вопросе, не имея точного представления о характере и возможном будущем этого движения, я, после некоторых колебаний, отказался от мысли написать такую статью, и очередной № „Дела Народа“ вышел без предполагавшейся оценки чехо-словацкого движения. Свои взгляды по этому пункту я окончательно выработал несколько позднее, будучи уже в Сибири.

Из Петрограда я выехал 6 июня 1918 г. Цель моей поездки был Красноярск. Я не думал, что мне удастся остаться в городе, какой бы режим там ни основался, но я полагал, что деревня примет меня радушно, и я найду в ней достаточно надежный приют. Не успели, однако, мы доехать до Перми, как стало известно, что прямой проезд в Сибирь закрыт. Наш поезд задержали на ст. Верещагино. Станция, как обыкновенно в таких случаях, была полна слухами, но что собственно происходило за Уралом—никто не знал. Лишь по секрету местные железнодорожники сообщили пассажирам глухое известие о падении Омска. Еще раньше, в Петрограде, вечерние газеты напечатали краткие телеграммы о падении Н.-Николаевска, а в дороге мы прочитали отчеты о событиях в Пензе. Но из Пензы чехо-словаки быстро ушли, и в прочность н.-николаевского переворота не было больших оснований верить. Да и вообще, за это время мало кто придавал серьезное значение чехо-словацкому выступлению.

Задержанный на ст. Верещагино я, однако, ни в каком случае не хотел возвращаться назад в Петроград, как это предлагала нам железнодорожная администрация. Я поехал поэтому окружным путем в Сибирь, через Верхотурье, Надеждинский завод, Сосьву и Тавду, и через месяц пути с столь обычными в то время приключениями, сделав часть его на лодке по Тоболу, прибыл сначала в Тобольск, а потом, уже на пароходе, в Омск. На пароходной пристави в Омске я высадился утром 2 июля 1918 года, эту дату я хорошо помню. Только на перегоне от Тобольска к Омску и затем в первые часы пребывания в Омске, я узнал более или менее точно, что именно произошло в Сибири за этот месяц моего странствования. В Омск в это время уже переехал совет министров Врем. Сибирского правит-ва, во главе которого, к моему раз-

очарованию, оказался П. В. Вологодский. Однако, о самом близком участии в событиях Н. В. Фомина я и в это время еще не слышал.

Вскоре, однако, я услышал обо всем этом от него самого, так как случайно встретился с ним в одной квартире и узнал, что во всем перевороте он играл, с самого начала, одну из самых активных и ответственных ролей. В Омск он только что приехал с фронта из-под Нижнеудинска и после доклада в совете министров о текущих делах (Нил Валер. в это время был уполномоченным председателем сов. министров) должен был снова возвратиться на театр военных действий, неуклонно подвигавшийся к Иркутску.

Вечером того же дня Нил Вал. делал доклад о положении фронта и о тех настроениях, которые там начали обнаруживаться тогда же (конец июня—начало июля). Он желал, чтобы я выслушал его доклад, и просил совет министров допустить меня присутствовать в той части заседания, в которой будет идти его вопрос. Мне разрешили, и я доклад его слышал.

На этом заседании присутствовали почти все будущие колчаковские министры, за исключением П. В. Вологодского. Здесь находился Михайлов, Ив. Адр., известный впоследствии под именем „Ваньки Каина“, Степаненко, управлявший тогда министерством путей сообщения, да и ныне не остающийся без дела, Головачев Мст. П., тов. министра иностранных дел, человек случая, ни в каком отношении не соответствовавший своему назначению (назначили его потому, что он знал иностранные языки, да и то не блестяще), Гинс Г. К., вошедший в правительство еще до Вологодского и ушедший из него, точнее бежавший в Иркутске из-под ареста, последним из старых министров, это был один из самых активных представителей реставрационной Сибири, ее идейный руководитель,—был ли кто еще, не помню. Заседание происходило под председательством Вл. М. Крутовского. Отсутствовал на заседании управляющий военным министерством Гришин-Алмазов, на встречу с которым особенно рассчитывал Нил Вал., а вместо него пришел начальник его штаба полк. Белов, одна из самых загадочных фигур среди тогдашних деятелей Сибирского правит-ва. Я много о нем слышал за этот день и с большим интересом к нему приглядывался. Его настоящая фамилия была не „Белов“, а „Виттенкопф“, он из курляндских немцев, впечатление производил человека не глупого, повидимому с волей, и знающего, что надо делать. Уже чувствовалось, что власть надо искать нигде, как здесь, в кругах, представляемых „Беловым“.

Из доклада Фомина я очень ясно помню только одно место, навсегда запечатлевшееся в моей памяти во всей своей конкретности. Это именно то место, когда Фомин, глядя в упор на Белова, с характерным для него наклоном головы, сказал тихо, но отчетливо разбеднивая слова:—„А затем обращаю внимание совета министров на то, что в армии Пепеляева есть люди, которые говорят: перевешаем сначала большевиков, а потом будем вешать членов Временного правительства“.

Полк. Белов сидел и старательно что-то записывал себе в книжку, повидимому, для доклада Гришину-Алмазову. Остальные слушали молча, некоторые делали вид, что как будто даже и не слышат, что говорит Фомин, на

лицах кое-кого проскальзывало выражение легкой досады на оратора, как на человека, допустившего какую-то нетактичность. После доклада Белов произнес несколько незначительных слов, а потом долго и нудно болелесил вокруг да около поднятого вопроса Гинс, большой мастер на такого рода операции. Исно, однако, было, что он на стороне Белова, а не Фомина. Он, вероятно, не только чувствовал, но и просто знал, что его-то вешать во всяком случае не будут. Полагаю, что спокойным за себя был и Михайлов, хотя совершенно не помню, высказывался ли он по докладу Фомина или нет. Держал он себя на заседании вообще очень скромно и предупредительно, особенно когда речь зашла о предоставлении субсидии обществу Ач.-Минусинской жел.-дороги. Не знаю, были ли приняты какие постановления по докладу Фомина, но думаю, если были приняты, то, вероятно, в следующем заседании, на котором Нил Вал. вторично выступал, но меня туда уже не допустили. Протестовал против моего присутствия Михайлов. Да я и не высказывал особенного желания слушать, что там происходило.

Останавливаюсь на этом эпизоде, так как считаю его очень характерным для тогдашнего момента. Напомню еще раз, что все это происходило 2 июля, меньше чем через месяц после того, как Омск был оставлен большевиками.

Я пробыл тогда в Омске очень недолго, день или полтора, тем легче я мог подвести итоги первым впечатлениям. Они представлялись мне в таком виде:—переворот в Сибири произошел не так, как я себе представлял в статьях, цитированных выше. Он разразился скорее, чем я думал, и был совершен такими силами, которые не находились в поле моего зрения. Но он все-таки произошел, обнаружив тогдашнюю дезорганизованность и слабость советской власти. Он обнаружил вместе с тем, что—как и следовало ожидать—реакция лучше подготовлена к захвату власти, чем демократия.

7. Мобилизация реакции.

Настроение Фомина за эти месяцы было очень тревожным. Перед тем он сделал большой изгиб вправо, уйдя далеко в сторону от прежних позиций. Памятью об этом уклоне его политической мысли осталась его статья об отношении кооперации к совершившемуся перевороту в журнале „Сибирская Кооперация“, в 8-ом номере за 1918 год. Статья была написана в самые первые дни после переворота, а появилась уже осенью, когда настроение Нила Вала снова изменилось или, точнее, выравнялось, и он был недоволен ее опубликованием, хотя задержать его уже не мог. Писал ее Нил Вал., усиленно оттачивая острые углы и с тенденциозным подчеркиванием доводя свою мысль до крайнего выражения. Едва ли он и в то время думал так именно, как писал, а писал он, что политический смысл совершившегося переворота заключается в замене власти партий и классов властью всего народа, социальный

же смысл — в возвращении к буржуазным формам общественной жизни. В мае-июне месяце он с нарочитым подчеркиванием развивал эти мысли и в печати и в партийных собраниях, и все-таки я думаю, что это были бурные всплески молодого протеста против уродливых форм социального реформаторства, а не выражение спокойного и глубокого убеждения. Начиная с июля и, особенно, конца августа 1918 г. настроение Нила Вал. стало принимать совсем иные формы. Революционный инстинкт делал в этом случае свое дело.

Из числа общественных факторов, оказывавших большое влияние на общественное настроение Н. В. Фомина, на первое место нужно поставить, конечно, тот процесс мобилизации реакции, который тогда развивался таким ускоренным темпом. Первые признаки его появились еще в самом начале после переворота, в то время когда я приехал в Омск. Одновременно с тем, как я слушал доклад Фомина в совете министров, мне пришлось сталкиваться с фактами, аналогичными тем, какие он там приводил. На юге по области шли какие-то подготовительные работы среди казачьих кругов. Через Монголию они входили в связь с организациями ген. Хорвата на Дальнем Востоке и, по сведениям, которые я имел, получали оттуда большие деньги. В то же время отряд Анненкова, развертывавший все шире свою деятельность, получал крупную субсидию от омских торгово-промышленных кругов. Уже в это время имя ген. Хорвата начинало слышаться все чаще и чаще, пока, наконец, всеобщую огласку не придал ему А. В. Адрианов своими статьями в „Сибирск. Жизни“. Ген. Хорват трактовался почти открыто, как некоронованный король Сибири; несколько позже, в сентябре 1918 г., на Восток выехал с особой делегацией премьер-министр Вологодский, при чем главная цель его поездки состояла, несомненно, в том, чтобы там выяснить отношения и столкнуться с тем же Хорватом, а через него с японцами.

Параллельно этому еще большая консолидация реакционных сил происходила в самом Омске. Здесь центральную роль играл салон Гришиной-Алмазовой, жены министра, омской красавицы, представлявшей собой нечто среднее между г-жей Сталь и Сонькой Золотой Ручкой. В салоне Гришиной-Алмазовой культивировались чисто монархические настроения, это было настоящее гнездо реакции, ничем не прикрытой. Здесь открыто пили за здоровье Михаила Романова и не сомневались в его близком пришествии. В Омске, вообще, тогда распространялись слухи, что сам великий князь находится уже здесь, спасшись от большевиков, но живет инкогнито, до поры до времени не открывая своего имени. Находились даже офицеры, которые собственными глазами видели его на улицах города или, по крайней мере, утверждали это. В известия о его смерти во всяком случае никто не верил, все были убеждены, что он спасся.

Сам Гришин-Алмазов не был лишен некоторой политической гибкости и пока что лавировал между разными лагерями, но истинное его настроение и его волеуказания не так трудно было понять, хотя вместе с тем весьма многим очень почтенным людям он сумел тогда внушить большое доверие к себе. Его идеализировали и находили, что он годится быть сибирским Напо-

леоном. Занимая пост военного министра, или собственно управляющего военным министерством, так как военным министром предполагалось сделать Краковецкого, находившегося в то время на Востоке,—и проповедуя всюду, что армия должна стоять вне политики, Гришин-Алмазов вместе с тем охотно вмешивался в разрешение чисто политических вопросов. Так, в августе 1918 г. он сделал попытку разогнать собиравшуюся Областную Думу, но его отряд, предназначенный для этой цели, был остановлен чехами в Тайге, и Гришин-Алмазов сделал вид, что все это недоразумение. Потом в Томске числа 15-16 августа он выступал на закрытом заседании думской фракции областников и развивал там идею диктатуры. Словом, в воздухе уже начинал чувствоваться запах крови, процесс мобилизации реакции все ускорялся, положение с каждым днем обострялось. Оставалось только делать из этого выводы.

Помню, как числа 18-го августа мы с Н. В. Фоминим сидели рядом на заседании Областной Думы (Сиболдумы, как ее называла цензура печать). Слево от нас в первом ряду с краю, на министерской скамье красовалась фигура Гришина-Алмазова, поразительно напомилавшего по внешности Керенского. Нил Вал., показывая на Гришина-Алмазова глазами, тихо сказал мне, наклонясь к уху: „Нас он на одних берегах с большевиками будет вешать“. За все это время у него зрела какая-то глубокая уверенность, столь же глубокая, сколь и спокойная, что он погибнет, что это неминуемо, неотвратимо и скоро совершится. Предчувствие не обмануло его, и гибель постигла его и как раз в тот момент, когда, казалось, он был уже спасен.

Но это случилось позже. Что касается того времени (август 1918 г.), то я считал, что он сгущает краски. Мне казалось, что еще далеко не все потеряно и есть большие возможности, опираясь на те и на другие силы, в том числе и на чехо-словаков, нанести сильный удар реакции, предупредив ее нападение на нас. В общем так же думал и Нил Вал., но мысль о гибели приходила к нему и с другой стороны. Он считал тогда, что истинным вождем реакции является Михайлов и Гришин-Алмазов, особенно первый. Так оно, конечно, и было на деле. Считая, что он сам помог им возвыситься и укрепиться, Нил Вал. полагал, что он же должен взять на себя инициативу для решительного пресечения их деятельности. Он тогда рассуждал приблизительно так, как Бульба у Гоголя по отношению к Андрею, передавшемуся полякам: „Я тебя породил, я тебя и убью“. Руководясь этими соображениями, Нил Вал. ставил вопрос о совершении немедленно террористического акта против Михайлова, при чем брал лично на себя выполнение его. Не знаю в точности, но, повидимому, он обращался с этим предложением к официальным партийным организациям. Сам я полагал тогда, что человеку в положении Нила Вал. подобные акты нужно предпринимать непосредственно на свою ответственность, не ища им санкции со стороны. Так или иначе, но этого покушения не состоялось. Михайлов не был устранен ни прямо, ни косвенно, и вскоре сам перешел в наступление. Руководимая им реакция быстро спланировалась и начинала действовать. В сентябре произошла первая попытка государственного переворота справа, в Томске была разогнана Обл. Дума, в Омске погиб в это время

Новоселов, убитый офицерами из организации ген. Волкова. В октябре исчез Моисеенко. В декабре произошли массовые расстрелы, в том числе погиб Фомин.

Каждый шаг мобилизовавшейся реакции оставлял по себе кровавые следы.

8. Перед гибелью Н. В. Фомина.

Гибель Фомина произошла в самый разгар зимы 1918—1919 г. Зима в тот год стояла необычайно суровая. Весь декабрь не прекращались жестокие сорокаградусные морозы. Казалось, замерла вся жизнь, казалось, были скованы все чувства. Какая-то ледяная глыба задавила всю страну, и она рисовалась воображению, как у сибирского поэта, — „словно саваном снегом одетая, словно мертвый, недвижна, бледна“.

Начиная с конца ноября и почти весь декабрь я тогда пробыл в Красноярске. Переворот 18 ноября застал меня при переезде из Томска в Красноярск, и в пути сначала в вагоне от одного из пассажиров, имевших связи в Томске, я услышал, что в Омске что-то произошло, и Авксентьев арестован. В Ачинске на станции я прочел первые официальные телеграммы о перевороте, мне они показались жалкими и робкими, какими-то стыдливими. В это время члены Учредит. Собрания организовывали съезд на Урале. Я не поехал тогда ни в Екатеринбург, ни в Уфу, так как не верил, что там может что-нибудь выйти. Не верил в это и Н. В. Фомин, но у него было, очевидно, больше, чем у меня, сознания, что в этот момент надо всем быть вместе, и он, неверующий, оказался там, где спасти могла бы только фанатическая вера. Не поехал туда я и потому, что вообще тяготел к самостоятельной деятельности, на личную ответственность, что в дальнейшей моей работе в Сибири заставляло меня иногда входить в конфликты с партийными организациями.

Об аресте Н. В. Фомина я узнал в Красноярске от его родных, которые пришли ко мне встревоженные и даже потрясенные. Я успокаивал их чем мог, ибо я и в самом деле полагал, что все это не так еще страшно, как кажется. Потом жена его уехала в Омск. Потом я узнал, что Нил Вал. перевезен вместе с другими „учредитовцами“ туда же, в столицу Колчака, которой предстояло сделаться их общей Голгофой. Я считал, что возможны, конечно, всякие случайности, но вместе с тем полагал наиболее безопасными именно омские тюрьмы, столпчные, а не провинциальные. Родные Нила Вал. настаивали, чтобы я тоже поехал в Омск хлопотать за него, но я находил, что мое заступничество скорее пойдет ему во вред, чем на пользу, и не поехал. Впоследствии, по многим причинам, я в этом очень раскаивался. Одно время из Омска стали доходить, впрочем, успокоительные известия, сначала о том, что попытка устроить процесс ничем не кончилась, что следователи даже не находили состава преступления в деяниях арестованных и, наконец, что их решено освободить. Казалось, можно было вздохнуть свободно, и я уже радовался, что так скоро оказался прав, как вдруг эта страшная весть: — в Омске восстание.

Тут я впервые, как-то вдруг, был охвачен мыслью: неужели теперь все кончено?!

В успех восстания я не верил. Одних чешских сил хватило бы для подавления какого угодно внутреннего движения на городской территории. Но тем более страшными должны были быть расправы, а в такие моменты не разбирают, кто прав, кто виноват, особенно среди сидящих в тюрьмах.

Как томительны, как тяжелы были эти дни ожидания известий. В конце концов они пришли. События жестоко надругались над моим спокойствием и оптимизмом: почти все были убиты, в их числе Нил Вал. Фомина.

Потом, через несколько дней приехала из Омска жена Нила Валериан. с одной из своих подруг. Я не стану здесь рассказывать этих дней свиданий и разговоров. Помогать людям, когда они в горе, когда этому горю нет ни конца, ни края, когда оно ничем не может быть исправлено, всего труднее. Отыскивая хоть какие-нибудь средства, чтобы облегчить, пусть даже немного, горе всей семьи Нила Вал. (после него осталась жена, мать, двое детей, сестра матери), я подумал, что, если они выплачут его слезами до конца, то им, быть может, станет легче. И я сказал жене Нила Вал., чтобы она, как это ни тяжело для нее, записала теперь же, как все это произошло, и рукопись оставила где-нибудь в надежном месте. Я не был даже уверен, что у нее хватит на это сил, но ее, повидимому, так приковала мысль ко всему пережитому, что, начав эту работу, она уж не могла оторваться от нее и все, час за часом, записала. Может быть, ей и в самом деле стало тогда легче после этой записи. Когда она принесла ко мне эти записки, посвященные ею „друзьям Нила — кооператорам“, и я прочел их, только тогда встала передо мною во всем объеме пережитая ею трагедия, столь потрясающая и, даже в нашей жизни, столь необычная. Эти записки я считаю одним из самых замечательных документов времен гражданской войны и полагаю, не совершу нескромности, если воспроизведу их полностью, по тому тексту, который случайно у меня сохранился, несмотря на все тревожения.

9. Рассказ жены Н. В. Фомина о его гибели.

Не знаю, удастся ли мне записать все, что было в те дни, когда погиб Нил. Накануне я получила от него письмо, где он писал о близком конце своем, о смерти... „Если меня не прикончат здесь и дело мое кончится каторгой, тюрьмой или еще чем,—это не меняет дела. Будь спокойна в этом вопросе, как спокоен я сам. Сегодня у меня показалась кровь горлом. Это в пятый или в шестой раз в этом году. И это само по себе определяет перспективы“.

В этом же письме была приписка: „Сегодня группа офицеров опять делала попытку взять нас—одиночников, из тюрьмы „на допрос“. Надо торопиться давить в смысле ускорения нашего дела“. Жуткие сообщения... Они еще больше усилили тревогу, в которой я жила в Омске с 11-го декабря. С утра же мы (я говорю о себе и С.), как и каждый день, впрочем, начали свои хождения. Бесцельные хождения, потому что они не зажигали действительной энергии

у тех, в чьих руках была возможность „давить“ на ускорение дела... Один из товарищей, которого я в тоске спрашивала, что можно сделать в таком случае, когда над головой близких нависла такая угроза — быть взятыми и в тюрьму обманным путем и незаконно убитыми — сказал мне: — „Попробуйте обратиться к прокурору, за которым дело вашего мужа, может быть, он сможет предотвратить это“. Немедленно же я пошла к прокурору военно-окружного суда. Рассказала ему в чем дело; надо отдать ему справедливость: он был внимателен, повлиал мою тревогу, но сказал, что ничего не может сделать, так как вооруженной силой он не располагает и ею не располагаться, и посоветовал мне обратиться к окружному комиссару... Я была и там. Комиссар принял меня не в приемные часы, так как я настаивала на приеме, говоря, что по очень важному неотложному делу.

Выслушал он меня почти враждебно... Но все же обещал принять к сведению мое заявление. Обещал предупредить тюремную администрацию о том, что надо тщательнее относиться ко всем требованиям выдачи арестованных... Затем я съездила обед Нилу, как и всегда, в 2 часа и вернулась к себе на Кокуйскую. Вечер я, С., Р. и М. А. провели вместе, ежась и говоря вполголоса на моей кровати, в той комнате, которую я снимала пополам с хозяйской дочерью. Затем они ушли. Я села за письмо Нилу. Писала его всю ночь до 3-х час. Затем копировала для себя и в 5 час. только уснула.

В воскресенье проснулась я рано и с 8-ми часов сразу же принялась писать прошение Вологодскому. Мне казалось, прошение мое об освобождении Нила будет иметь силу. Там я сообщила министру-председателю о том, как военный прокурор не нашел во всех, вменяемых в вину Нилу, деяниях состава преступления: — „То, что есть в этих бумагах, — сказал прокурор, перебирая бумаги, — ведь, это же мнение, за это не судят“. — Прокурор заверил меня, что дело он возвращает обратно в военный контроль, с надписью о передаче его в Брюхатовскую комиссию ¹⁾, сказав еще раз, что нет возможности предъявить обвинения.

Мне казалось это убедительным. И еще — эта ужасная кровь из горла — это было тоже лишним доводом за то, чтобы освободить Нила, не держать его в гибельных условиях, в тюрьме. Прошение осталось недописанным на полуслове. Пришла взволнованная С. И., жена содержавшегося вместе с Нилом члена Учред. Собрания — Девятова, и тихо сказала: „Одевайтесь, в городе переворот. Ваш муж у меня. Едемте — повидаетесь“. — Я изумилась. Стала спрашивать, в чем дело — какой переворот. Она ответила: — „Не знаю. Кажется, не удался. Всюду расставлены патрули. Паспорта проверяют. Из тюрьмы всех освободили“... Тревога сжала сердце. Руки опустились... „Зачем все это случилось? Что же теперь будет? Ведь их же должны были не сегодня-завтра освободить“. Я растерянно задавала ей эти вопросы, она сердилась и говорила: „Вот чудачка какал, одевайтесь же, едемте, там видно будет“... Я оделась — мы вышли, взяли извозчика. Доехали до поста — остановил патруль. „Паспорта, куда едете?

¹⁾ Комиссия по лиевидации.

Не советую ехать, в 12 час. дни будет прекращено всякое движение по городу, лучше возвратитесь (было около 9-ти часов)". Мы заверили, что вернемся во время домой, и просили разрешить ехать нам дальше. Начальник караула сделал нам под козырек—и мы проехали.

Да, всюду патрули. У всех паспорта спрашивают. Спрашивают у мужчин, впрочем. Видно было, что это делается для того, чтобы выловить кого-то. Кого же? Освобожденных из тюрьмы. На душе—тревога. Но по настоящему ничего не знаем. Приехали к С. И. Я вошла в комнату. Из угла раздался голос Нила: „Ну, здравствуй“. В голосе смех... Я прошла к нему, присела на кровать, спросила его:—„Что такое? в чем дело?“ Он говорит:—„И сам не знаю... Какая-то провокация: пришли, говорят: „Свобода, идите на волю“. Ну, и пошли.—„А зачем же пошли вы, нельзя было остаться?“—наивно спросила я.—„Так как же останешься—ведь, они вооруженные,—еще и прикончат...“ Дальше я стала спрашивать, как произошло это освобождение. Нил рассказывал: „Я спал в это время. Ко мне пришел надзиратель, радостный, и сказал: „Ну, товарищ Фомин, свобода, одевайтесь!“—Ничего не понимая, я стал складывать вещи, собирать все. Через двери крикнули: какие там вещи; идемте, за вещами после приедете.

В тюрьме раздавался шум, крики—уголовные просили освободить и их, но солдаты, освобождавшие политических, загнали их всех обратно в камеры. Вышли за ворота—нигде никого и ничего... Пошли в город... Почти никто из нас не знал города. Скитались долго по городу. Натыкались на патрули. Первый, недалеко от тюрьмы, караул казацкий спросил, что за люди идут: мы сказали:—„Мы—члены Учредительного Собрания, сейчас освобожденные из тюрьмы“.—„Ну, идите“.—Некоторые из освобожденных в этой группе склонны были считать это доказательством того, что патруль этот был осведомлен об освобождении политических арестованных и стоял на стороне переворота, другие уверяли, что казаки ничего не поняли...

Стучались в „Центросибирь“,—не достучались. И опять до утра бродили в разных направлениях по городу. Мороз был большой, до 40 градусов. Нил был без галоп.

К утру собрались почти все из группы уфимских арестованных, члены Учредительного Собрания в редакции „Слова“—там грелись. Часов в 8 поставлен был у редакции караул—сказали, будет обыск. Минут через пять солдаты ушли сами. Публика, пользуясь этим, разбрелась, кто-куда. От одной из служащих Демятов узнал адрес своей жены. Нил пошел с ним, надеясь так скорей найти меня, потому что знал, что и с Демятовой ежедневно возим передачу в тюрьму. Позже в редакции все же был произведен обыск... Слушавшая этот рассказ Нила, я все спрашивала себя, что же дальше, что делать? Никто из присутствующих не знал, в чем же, собственно, дело. Я предлагала пойти к чехам—рассказать им, спросить, что делать? Нил отверг мое предложение. Ему хотелось выяснить, в чем дело, и поговорить с остальными освобожденными, что намерены они делать, как согласовать свои поступки, чтобы представительство от членов Учредит. Собрания было достаточно авто-

ритетным; кроме того, Нил просил меня съездить в город к товарищам-кооператорам, узнать у них о более надежной квартире и информироваться о происшедшем в городе. Я поехала к С. рассказать ей все и с нею ехать в кооператив. Уезжая, я отдала Нилу письмо, которое писала ему ночью, сказав, что хоть теперь и не то совсем, но все же он, может быть, его прочтет.

Товарищи указали нам квартиру, а относительно положения в городе и дальнейшего поведения освобожденных говорили единодушно, что необходимо сдать в руки властей,—министра юстиции или прокурора; горячо и с негодованием говорили о том, что все это освобождение—сплошная провокация, что завтра их должны были освободить, а теперь это освобождение—только предлог для расправы, указывали на необходимость немедленно же возвратиться.. Лицо, у которого предполагалось достать квартиру, мы не застали дома. Были еще раз, опять не застали. Возвратились к Нилу. Это было около 12 час. дня. Рассказали ему все, как о положении в городе, так и о совете возвратиться в руки властей. Нил и Девятов согласились, что это, пожалуй, лучше всего гарантирует неприкосновенность жизни. Но сдаваться прокурору влчзем считали нелепым: надо сговориться с остальными освобожденными. Хозяева квартиры волновались все время ужасно,—говорили, что уже есть слежка за квартирой. Нил и Девятов соорудили себе на всякий случай паспорта. В это время С. И. и хозяин квартиры отправились в поиски другой квартиры. Скоро они возвратились и предложили нам ехать. Я поехала с Нилом. Позже туда же приехали и Девятовы. Нил ужасно мерз дорогой. Попросил меня взять его под руки—так, тесно прижавшись друг к другу, радуясь тому, что извозчик уверенно нас вез улицами, где нет патрулей, мчались по Омску. Приехали. Это была окраина города. Люди, приютившие нас, были простые люди. Они были радушны, напоили чаем, обогрели. Затем Нил опять просил меня ехать к другим освобожденным и предложить им план действий—сдачу властям с вышеприведенной мотивировкой. В то короткое время, что мы виделись, мы перебрасывались урывками мыслями. О разном,—о нутяшном и важном. То, что говорил Нил мне—часто диктовалось уверенностью в том, что, может быть, мы и не увидимся больше.. Он сказал, что прочел мое письмо и сжег его там у Девятовых. Дал ответы на мои вопросы в письме. Между прочим, тревожно спросил, сколько я получаю жалованья,—видимо, обеспокоенный мыслью о том, как будем мы жить без него. В душе—тревога, как постоянно все нарастающий мотив. Надо ехать, искать других освобожденных, спросить их, согласны ли сдать.. И надо узнать о квартире. Я поехала, простившись с Нилом, неуверенная, найду ли его здесь, возвратясь. Другие трое освобожденных, с которыми мне удалось свидеться и передать им предложение Нила, категорически отказались сдаваться в тюрьму. В их числе были Федорович, Иванов и Брудерер, но Брудерер после, когда я поехала узнавать еще про квартиру, перебрался к Нилу и Девятову, желая с ними сдать властям. Пришлось ехать дальше относительно квартиры. На этот раз я застала указанное лицо дома. Там были еще Х. З. Я спрашивала их, что делать нам, как быть Нилу. Оба они не советовали сдаваться. Гово-

рили, что при царском режиме было труднее,—шпионы, охранка, и те не сдавались. Не советовали ни в коем случае возвращаться в тюрьму. Предлагали достать лошадей на завтра для выезда из города.. Я была у них с С., и отсюда уже мы отправились к Нилу. Там застали и Брудерера. Я стала рассказывать Нилу обо всем, что узнала. Он, выслушав, спросил: „А знаете ли вы о приказе начальника гарнизона—сегодня же явиться всем, незаконно освобожденным, в противном случае — расстрел при поимке на месте, расстрел хозяевам, укрывателям, и т. д. и т. д.“

Лица у хозяев были уже встревожены, и видно было, что они ждут от нас всех решений, спасающего их жизнь. Мы с С. молчали, не зная, что посоветовать. Нил и другие проявили сами инициативу. Нил сказал: „Ну, думать нечего. Поезжай, Наташа, к Сазонову ¹⁾ и узнай, как сдать надо—куда и как бы это вышло надежней, чтоб нас не выдали за пойманных“... Пока я одевалась, Нил и Брудерер обменялись мыслями по поводу того, что кругом так все безнадежно, и, скрываясь нелегально, едва ли делать что возможно;—Брудерер слабо возражал, указывая на возможность работы в России. Нил только рукой махнул. Бедный Нил. Он давно чувствовал, что завоевания революции погибли. Помню ясно и твердо, когда он уезжал в октябре, на съезд членов Учред. Собрания, решив не пользоваться отпуском до первого января, я, провожая его на вокзал, спросила его о чем-то, относящемся к нашей дальнейшей жизни, и он сказал: „Не знаю, Наташа; видишь ли, страшно сказать, но для меня несомненно, что завоевания революции погибли, и как, вообще-то, жить дальше—трудно сказать“... Это не был ответ на мой вопрос, но он объяснял многое, и я поняла тогда, что вопросы нашей личной жизни отодвинутся дальше, на потом...И еще долго мы будем жить далеко от Нила, оторванные от него.

Я не спрашивала его больше тогда, не ждала ответа.

Во время этого последнего его ареста в Челябинске, откуда он был немедленно перевезен в Омск, на одном из допросов он заявил, что власть, по его мнению, должна принадлежать Учредительному Собранию.— За это его не хотели освобождать вместе с другими уфимцами...

Было уже 7 часов вечера... Я уходила. Надо было ехать к Сазонову, узнать, как сдать властям побезопаснее. Нил выглядел совсем больным. Его знобило. Всю предыдущую ночь он пробродил без галош в 40-градусный мороз. И теперь без конца подблудывал в чугунную печь дров, и, хотя кругом уже было нестерпимо жарко, ему все было холодно... Я уехала. Я мчалась, пообещала извозчику двойную плату, чтобы только уснуть к 8-ми час. вернуться обратно. Там (Атамановская, 9) я застала только В. Г. Шипканова ²⁾—Сазонова не было. Сказала В. Г., зачем я приехала. Он сердито набросился на меня: — Почему же так медлили, почему не сдались днем? Ведь, уже почти все сдались сами“... Я объяснила, как это случилось. Тогда Н. сообщил об этом

¹⁾ Председатель управления совета всеобщ. кооперат. съездов.

²⁾ Член правления — „Закумбьга“.

бывшему у них в гостях М., заведующему отделом печати в Совете Министров — тот позвонил по телефону к Бржозовскому, начальнику гарнизона, спрашивал, куда могут явиться трое желающих добровольно сдать властям. Из канцелярии нач. гарнизона ответили, что в приказе ясно сказано, куда явиться: 1) к начальнику караула тюрьмы, 2) — в участок милиции и 3) — к коменданту города. Ш. и М. посоветовали мне отвезти Нила и других прямо в тюрьму, так как это обеспечит их от перевода ночью из одного арестного помещения в другое, когда наиболее часты случаи расправы с арестованными. С этим я возвратилась к Нилу, Девятову и Брудереру. Выслушав меня, они заторопились одеваться. Я попросила хозяина провести нас коротким путем к тюрьме — тот пошел с нами... Через полчаса мы подходили к тюрьме. Мы шли с Нилом, держась за руки. Отрывисто говорили — о том же, о чем писали в последние дни друг другу: о его болезни. Я просила беречь себя в тюрьме. Он обещал по освобождении серьезно заняться лечением и еще раз сказал, что я никогда не была ему роднее, чем теперь, после моих писем ему в тюрьму. Едва ли не последние его слова были о детях: „будь с детьми...“ Мы подошли к тюрьме. У проволочных ворот темнела кучка солдат. Нас окликнули. Мы остановились. Нил отпортовал: Мы были освобождены сегодня утром из тюрьмы и по приказу градоначальника возвращаемся, — доложите начальнику караула“. Тот вышел, спросил еще раз, кто пришел — скомандовал: — „Ну подходи, по одному“. Нил сказал: „Мы с женами пришли. Вот, вprostимся и сейчас“. Мы стали прощаться, Брудерер пошел первый, затем Нил и Девятов. Когда обыскали Нила и пропустили его вглубь двора, начальник караула спросил: как фамилия второго? — Нил ответил: „Фомин“.

В голосе слышалась спокойная решимость претерпеть все до конца... Поразительным спокойствием веяло от него... И знанием того, что их ждало... Нам солдаты сказали: — „А вы отправляйтесь“. Мы, помедлив еще несколько минут, ушли. Странно непостижимы пути мыслей человеческих. Мы шли с С. даже успокоенные тем обстоятельством, что благополучно довели их до тюрьмы, что теперь их дело пойдет обычным порядком... Мы не знали, что в тюрьме распоряжается отряд атамана Красильникова, а то бы не были так спокойны за судьбы дорогих нам людей... Еще деталь — когда мы отходили от тюрьмы, к нам подошел человек, оказавшийся хозяином квартиры, провожавшим нас до тюрьмы. — Он объяснил нам, что не мог так уйти, надо было справиться, как их взяли, все ли благополучно. Эту ночь мы провели у меня на Кокуйской. Мы даже довольно спокойно спали, измученные тревогами дня... На утро мы отправились к кооператорам, рассказать им, где Нил, и узнать от них о дальнейшей судьбе, их ожидающей. Все облегченно вздохнули: Нил вернулся, избегнув таким образом массы случайностей нелегальной жизни в дни усмирения мятежа в Омске... В два часа поехали мы с С. к тюрьме — повезли обед Нилу и Девятову по поручению его жены. Там узнали, что никаких передач нет, что администрация тюрьмы сменена. Мы стояли с С., держа в руках судьи с обедом, не зная, что делать. Солдат, стоявший на часах, сказал нам, что сейчас сменится начальник караула и придет новый, у которого мы

сможем еще раз справиться о новом порядке передач в тюрьму. Действительно, при нас подошел к тюрьме отряд вооруженных людей, входящих внутрь тюрьмы. Я представила себе, что положение заключенных там должно быть ужасно. Когда они прошли, я обратилась опять к часовому, добродушному и словоохотливому парню, с вопросами: „Голубчик, скажите, а заключенные сидят по камерам — те, кто вернулся сам? Их кормят? С ними ничего не делают?“ — Он ответил: — „Да, кормят. Много возвращается добровольно. Сидят в камерах. Им ничего не делают“. В это время к воротам подошла девушка со связкой книг. Лицо взволнованное — она стала спрашивать. „Николай Бобров в тюрьме?“. Часовой вызвал офицера, видимо, начальника уходящего из тюрьмы караула. Девушка спросила и его о том же. Из ворот выглядывало злорадно-насмешливое лицо, молодое. — „А вы нам скажите, где он?“ — „Если бы я знала, не пришла бы вас спрашивать“, — вспыхнула девушка. Мы слушали, и все стояли, не хотелось уходить ни с чем от тюрьмы. Случайно пришел на ум и мне этот же вопрос: „А Фомин, член Учредительного Собрания, в тюрьме? Он вчера вернулся, я проводила его до тюрьмы“. Стоявший у ворот другой офицер сказал: „Нет, Фомина нет в тюрьме“. — „Где же он?“ всполошились мы, подошли к нему вплотную. — „Его увезли в три часа ночи в военно-полевой суд“... Мы сомневались. Уверили, что это ошибка, что он сам вернулся — не может быть, чтобы его взяли в суд. Офицер уверил, что это так. С безумной тревогой, с ужасной боязнью, что уже все кончено, бросились мы в город. Я попросила С. ехать к кооператорам, сама же поехала к чехам, к французам и в военный контроль. У чехов уверили, что с ними ничего не может быть сделано, если они вернулись добровольно — успокаивали. Меня поражала их уверенность в порядочности русских властей, в то, что слово, данное градоначальником, должно быть сдержано. Эта уверенность казалась трусостью. В душе жила безумная, затемняющая мысль, что уже все кончено, или каждую минуту может кончиться — и Нила не станет. От чехов бросилась к французам. В ужасе рассказала им, зачем я приехала к ним. К сожалению, Реньо не было уже он уехал; был кто-то, его заменяющий, и секретарь. Они выслушали меня, а затем спросили, силась понять, в чем дело. И, признав положение ужасным, — спросили, что они могут сделать и почему я к ним обращаюсь? — „Ведь, это же дела русских с русскими. Мы не можем вмешаться“... Я пошла в ставку, в военный контроль, там долго не принимали. Я ждала, разрываясь — не уйти ли мне. Ведь, пока я жду, там может быть все уже кончается. Я металась, как затравленный зверь. Швейцары успокаивали, говорили, что начальник контроля примет, когда придет, и что все выяснится. В конце концов, вышел ко мне пом. нач. военного контроля и надменно спросил, что мне надо. На мой горячий вопрос, где мой муж, член Учредительного Собрания Фомин, он ответил с гримасой: „Не знаю, — он у нас числится в бегах!“. Когда я в ужасе стала уверять его, что я, сама, проводила его, Девятова и Брудерера вчера в тюрьму, что это ужасно то, что он говорит: их могут осудить, как пойманных, если у военного контроля такие сведения, что он в бегах, между тем как я — свидетельница его добровольной сдачи в тюрьму... Он сказал: — „Ну

что вы хотите?—Мы верим вам, но у нас он числится в бегах“, — и, резко повернувшись, ушел от меня. Я стояла, не зная, что же делать, куда обратиться. Все глухи и безучастны. И как-то сразу я тут почувствовала, что здесь убийцы Нила. Оставаться в военном контроле больше было незачем. Я пошла с ужасной тревогой в душе — к С., к кооператорам. Там все уже были в тревоге. Звонили Старынкевичу, довели до сведения адм. Колчака. Но узнать сегодня же о судьбе их ничего не смогли. Узнали только, что ночью, кроме Нила, взяты еще девять человек, в том числе Девятов, Брудерер, Маевский, Кириенко, Саров, Локтев, Лиссау, Барсов и Марковецкий. Кроме того, В. В. Куликов смог найти, где заседает военно-полевой суд, и добился того, что его заявление было передано председателю военно-полевого суда, затем виделся лично с председателем и на словах ему сказал еще, что он, Куликов, желает быть по делу взятых ночью из тюрьмы свидетелем и что есть у него свидетели и по делу Фомина, Девятова и Брудерера. — Председатель сообщил ему, что дела этих лиц не поступали еще в суд, а когда будут, обещал его вызвать.

В этот же день вечером мы узнали от Сазонова, что Старынкевич, министр юстиции, — был у Верховного Правителя, где делал доклад по делу исчезнувших ночью из тюрьмы членов Учр. Собрания и общественных деятелей, и что Верх. Правитель передал председателю военно-пол. суда распоряжение о предоставлении ему на ревизию дел о членах Учр. Собрания, если таковые дела поступят в суд. Это немного нас успокоило. Нам казалось, что, если еще не совершилось ужасное, то теперь уже достаточно сделано, чтобы помешать ему совершиться... Но это — если... А если уже... Я поехала еще, несмотря на то, что было уже около шести часов вечера, в канцелярию нач. гарнизона Бржезовского, но у порога на крыльце стоял солдат, не русский, а, видимо, серб с винтовкой и свирепо гнал меня... Я не смогла пройти внутрь и никого не видела. Позже вечером мы ездили с Куликовым к нач. гарнизона на дом, желая заявить о том, что мы свидетели их добровольной явки. — Нач. гарнизона не принял Куликова, хотя и был дома. Сказали через дверь, что нет дома. Мы возвратились на Атамановскую, в квартиру Сазонова и В. Г. Шипканова, где был телефон и где В. Г. нам разрешил остаться ночевать (ночь с понедельника на вторник). Мы подводили итоги дня, говорили, что в общем, конечно, мало надежды, но если еще не поздно, то сделано достаточно, чтоб помешать теперь совершиться злодеянию... Дело передано гласности. О нем осведомлены все, кто должен быть осведомлен... Вспоминали Директорию, тоже просидевшую под арестом чуть не два дня, и когда тоже никто не знал, где члены Директории. Цеплялись за надежду — может быть, и наши также где-нибудь еще сидят... Но тревога разрасталась в душе... Под утро я забылась тревожным сном. Мне хочется отметить сновидение, привидевшееся мне в эти короткие часы тревожного сна, потому что я в страхе проснулась и думала: — верно, уже все кончено... И в течение дня, во время бесконечных поисков Нила, не раз возвращалась мыслью к этому сновидению... Снилось мне свитание по какому-то городу... Поиски, напри-

женное ожидание. Потом мы едем на катере—Нил, я, А. В. Сазонов. У меня сохранилось неясное впечатление, что А. В. Сазонов—кормчий нашего катера. Плыдем стремительно по темной реке... неба не видно. По берегам подымаются сплошные стволы деревьев, вершин их не видно. В том же направлении, что и мы, но обгоняя нас, плывут баржи, „с осужденными“ — почему-то думала я... И на одной из них вижу фигуру полураздетого человека с низко опущенной головой, волосы закрывают лицо, руки скручены назад... Баржи одна за другой проплывают мимо нас... Тяжело там на баржах. Чем-то черным, кровавым веет от них. У нас чисто, легко на катере... Вот приплыли. Стремительно не идем, а точно несемся мы: Нил, я, С. по целой анфиладе комнат-камер. Всюду пусто, чисто. Сквозь верхние окна последней камеры пробивается свет восходящего солнца, розовый свет, отблеск его пронизывает все пройденные нами комнаты. Нил останавливает меня, предлагая оглянуться назад, посмотреть на отблески света... Мы стоим минуту, потом входим в комнату, залитую солнцем, маленькую, уютную... Последнюю комнату, где мы должны остаться надолго, чего-то ждать... Во сне я назвала это „Воскресением“ почему-то. Мы должны ждать „Воскресения“ здесь... На столе стоит стакан с двумя роскошными душистыми цветками... Мы садимся... Я смотрю на Нила, С. Потом Нил начинает искать бумаги. Ему страшно хочется курить... Бумаги нет нигде... Пересохшие губы, беспокойный взгляд и эта жажда курить...

Еще не совсем проснувшись, не открыв глаз, я думаю:—„Боже мой, если бы не забыть этот сон,—надо продумать, что значит он“. Сердце почти останавливается от странного ощущения, что сон этот означает то, что последние этапы земной жизни Нилом уже пройдены...

В 8 часов утра (вторник, 24 декабря) мы были уже в Центросибири у В. В. Куликова, узнать, нет ли у него каких-либо сведений. В. В. был уже там. Он предложил нам поехать с ним к управляющему делами совета министров Гинсу, чтобы мы лично могли рассказать ему о положении дела и через него получить возможность увидеться с Вологодским. Из слов Гинса мы узнали, что весь совет министров озабочен этим делом, все встревожены, сделают все, что можно... „Но, сказал Гинс, мы, гражданские власти, так растерялись, что выпустили все из своих рук, и теперь целиком распоряжаются военные... Боюсь, что уже поздно что-нибудь сделать“... Выяснилось что к Вологодскому нам идти незачем. „Если еще не поздно, все будет сделано“,—сказал нам Гинс. В. В., выходя с нами от него, сказал нам: „Вы поезжайте, дождитесь меня в Центросибири, я съезжу к Жардецкому и постараюсь через него добиться от начальника гарнизона, где же они? Но еду в канцелярию Верховного Правителя. Во что бы то ни стало узнаю, где же они и что с ними сделали“. Я попросила В. В., боясь выговорить уже ставшую почти во весь рост передо мной ужасную истину—попросила добиться разрешения, если правда, что они убиты, взять тело Нила, похоронить его. В. В. обещал мне это.

Около 12-ти часов дня мы узнали через канцелярию Верховного Правителя, что ночью (с воскресения 22 декабря на понедельник 23 декабря) были

действительно кем-то из тюрьмы взяты члены Учредительного Собрания, уведены и убиты... Мы получили бумагу из канцелярии Верх. Правителя к начальнику гарнизона, чтобы он оказал „содействие мне и Куликову в розыскании тела убитого члена Учредительного Собрания Н. Фомина“.

Дальше — наши поиски. Описывать ли их ужас? Эти бесконечные мытарства по участкам, канцеляриям... Страшное состояние, когда рассудок мутится от ужаса совершившегося, а тут формальности — разрешения, длительная процедура записывания этих разрешений в исходящий и т. п. Вместе с Куликовым, я, С. и Девятова поехали к начальнику гарнизона. Добившись личного свидания с ним, В. В. передал ему пакет из канцелярии Верх. Правителя об оказании содействия нам в отыскании тела Нила. Мы искали всюду только Нила, будучи уверены, что там окажутся и все остальные, исчезнувшие одновременно с ним из тюрьмы.. Начальник гарнизона написал приказ на этой бумаге городской милиции. Все вместе мы поехали туда. Здесь нас без конца долго держали. Пока составлялись приказы в третий и пятый участки городской милиции, в районах которых были в эти дни убитые, подписывались, записывались и т. д., я волновалась, негодовала на их жестокость, ведь, они своей медлительностью могли помешать нам выяснить сегодня же, где же Нил, что с ним было... Но в то же время я подмечала, что руки у канцелярских служащих как бы в ужасе медлят над этой бумажкой, глаза по несколько раз перечитывают две-три строчки, ум, видимо, не может постигнуть ужаса, заключенного в этих строках... Может быть, это мне казалось, но я меньше сердилась на них, прощая отчасти им их медлительность. И потом, в других участках, в пятом и третьем, куда мы поехали в первый раз, опять все, и куда потом в течение этого дня мы возвращались по несколько раз, я подмечала машинально, что простые солдаты, милиционеры сочувствуют нам, жалеют нас, сокрушенно качают головами и вздыхают над судьбой членов Учредительного Собрания... По указаниям пятого участка мы поехали в анатомический театр.

В. В. Куликов дальше нас не сопровождал, мы ездили вдвоем: я, С. и Девятова. Анатомический покой. Здесь было много — до пятидесяти убитых в воскресенье 22-го. Я не могла преодолеть ужаса. Я знала твердо, что сойду с ума. В ужасе, в страшной тоске, заполонившей меня всю, без всяких задерживающих преград, я кричала, плакала. Это был крик всего моего существа, крик протеста и скорби... Я просила С., если она в силах, если надеется на себя, пойти с Софией Ивановной Девятовой посмотреть, там ли Нил. С. И. долго не могла собраться с силами, как говорила мне потом С. Потом они пошли. С ними пошел наш кучер (из Центросибири); всех они не смотрели, их было много. Свалены друг на друга. Почти все нагие. „Лежат, как дрова“, — сказал наш кучер... „Лица у всех такие молодые, невинные, ничего не понимающие, — говорила С., — видно, Наташа, что они все ни при чем, совершенно бессознательные лица, добродушные... Какой ужас, Наташа! Они ни в чем не виноваты, видно, что их зря убили... случайно... Сторож сказал, что здесь все убитые в воскресенье днем. Значит, наших не может быть здесь“... Мы поехали в город... Опять участка... По указанию начальника

милиции третьего участка были еще тела убитых, леубранные на Иртыше, у переправы, на левом берегу Иртыша. „Вы никуда не ездите, — говорил он Куликову, когда мы были еще с ним, — советую вам. А прямо поезжайте к этой переправе. Там были 11 или 12 трупов, еще не убранных — там люди „в манжетах“: я думаю, что это должны быть члены Учр. Собрания“. Я стояла за спиной В. В. Куликова в переполненной людьми компании и смотрела на лицо этого человека. Мне показалось, что он пытался подмигивать своим подчиненным: „вот, мол, какая история бывает с членами Учр. Собрания“. Потом он пересилил себя, перестал улыбаться. Сделал даже сочувствующее лицо и стал рассказывать подробно, где эта переправа, как нам туда проехать. Он обратился к одному милиционеру: не знает ли тот, убраны ли в настоящий момент оттуда тела убитых? — „Не спущены ли под лед?“ — буквально спросил он. Тот заверил, что не должно этого быть.... Я стояла и слушала. В уме отметила: „Боже мой, еще и так бывает — спускают под лед“... Мы поехали сначала одни с кучером, ездили долго, ничего не могли найти, потом вернулись в милицию, и тогда уже милиционер поехал с нами, и очень быстро привез нас к тому месту, где лежали тела одиннадцати или двенадцати убитых. Лошадь подъехала почти вплоть к телам и в страхе захрипела... Я увидела часть ложбины и неясную груды перепутанных человеческих тел, полузанесенных снегом... Один лежал слева, отдельно от других... Тот же крик захватил меня всю... Скорбь, страшная скорбь по случившемся... Мука, тоска рвались безудержно в том крике...

С. и Девитова мужественно пошли к убитым, пошел с ними и милиционер. Фигура Нила, его спокойное лицо привлекли внимание Сони. Милиционер, заметив на кого она смотрит, нагнулся и сказал: „Вот и метка на белье: Н. Ф., это он“. С. подбежала ко мне сзади — обхватила меня за плечи и как-то странно взволнованно сказала: „Наташа, Нил здесь“...

Позже, по дороге в город, перестав кричать и плакать, я просила С.: „Расскажи, какой Нил? много ран? лицо цело?“. Заливаясь слезами, С. сказала: „Ах, Наташа, они еще их и ограбили. Сняли шубы, на многих нет верхнего платья, почти все без ботинок... Нил тоже без шубы, платья и ботинок... на лице — кровавое пятно. Лицо спокойно“... Мы попросили милиционера и одного извозчика остаться там. Сначала я хотела остаться с ними. Но милиционер запротестовал — послал в город за санями и разрешением взять тело Нила. С. И. Девитова не нашла среди убитых своего мужа. Уже вечерело. В городе мы разделились: я попросила Девитову поехать к Куликову, к А. А. Емелину, сама же, по указанию нач. третьего участка милиции, должна была ехать в уездную милицию за разрешением взять тело Нила, так как оно было найдено за пределами города.

Страшно трудно было ехать одной по городу и искать уездную милицию (адрес сообщили неверный, старый) с мыслью, гвоздящей мозг: Нил убит, Нил там в поле лежит замерзший, израненный... Собирала все силы довести до конца, добиться разрешения взять Нила, увезти его, согреть... После часу езды мы подъехали к помещению уездной милиции. У дверей я столкнулась с А. А. Емелиным. Неподдельным участием, глубоким сочувствием моему горю

звучал его голос. В эти ужасные часы тяжелой муки, безвыходного отчаяния, я почувствовала в его голосе дружескую поддержку. Мне стало, как будто, легче. Словно под тяжелое бремя, легшее на меня, кто-то подставил еще свои плечи... „Теперь уж позвольте, Н. Ф., нам сделать все, что надо“, помню сказал... Он был уже с дровнями. Мы поднялись вместе наверх. Там нам быстро выдали разрешение, с которым пришлось возвратиться в 3 участок милиции, чтобы с милиционерами ехать взять тело Нила. Здесь был уже и Куликов. Милиция стала протестовать против действий уездной милиции, говорили — уездные милиционеры должны ехать с нами, а не они. После долгих переговоров с ними, Куликов позвонил непосредственно к директору департамента милиции ¹⁾. Ему пришлось прочесть в телефон бумагу из канцелярии Верх. Правителя, разрешение Бржозовского и т. д., взять на себя ответственность за перевоз тела, пообещать представить еще сколько угодно разрешений завтра... Кроме того, пообещали, что до осмотра тела врачом, следователем — мы не станем обмывать и одевать Нила, а только увезем его к себе, ибо тела всех убитых с ним валяются без присмотра и охраны за городом... Наконец, он стал негодовать: „Имейте же хоть каплю человечности, дайте, наконец, сделать хоть то, что можно, отдайте тело жене для погребения“... Мы стояли, безмолвно следя за переговорами. Телефонная трубка переходила без конца то к Куликову, то к дежурному помощнику нач. милиции, — аппарат соединили то с директором департамента милиции, то с квартирой нач. участка, то с уездной милицией... Уже темно. Горит огарок свечи. Кругом солдаты-милиционеры. В душе все нарастает тревога, неужели не дадут взять сегодня Нила, и он останется на ночь в этой ужасной ложбине, там, в степи, брошенный. Во время переговоров кто-то предлагает перенести его до утра в анатомический покой, мы с С. в ужасе протестуем. Нет, только не туда!... В конце концов В. В. Куликов добился-таки разрешения взять тело Нила сегодня же и приказал двум милиционерам помочь нам. Мы поехали все туда, на берег Иртыша. Александр Андреевич и Куликов со свечой (было уже около 8 час. вечера) пошли к телам убитых. С трудом нашли Нила, подняли и уложили его на сани, в снегу наткнулись на паспортную книжку Брудерера. Печальным кортежем мы двинулись в город.

Нил нашел последнее пристанище в доме „Закупсбыта“. Руки товарищей и сослуживцев оказали ему последнюю услугу. Помогли согреться, вымыться, одеться. Потом только показали его мне. Эти два дня, что Нил отогревался, я не могла решиться пойти к нему. Да меня и удерживали. А. М. Д-на ни за что не хотела пустить меня к Нилу, пока он не одет и не вымыт. Потом я пошла к нему с С., Р. и М. А. и уже до конца, не отрываясь, смотрела на него, держала его руку. Усилием воли я гнала слезы с глаз. Они сохли у меня... Я сознавала, что ни минуты больше нельзя плакать — надо смотреть, смотреть... Плакать буду потом. А теперь — смотреть, впитывать в себя образ

¹⁾ В. Н. Пепелев. Впоследствии министр. внутр. дел и еще позже председаг. сов. министров. Расстрелян вместе с Болчаком.

Нила, надо, потому что скоро закроют крышку. Опустят в могилу. Хотелось без конца оттягивать этот момент. Хотелось прочесть, что пережил он в этот короткий промежуток времени с того момента, когда я проводила его в тюрьму, до того, как я увидела его убитым... Лицо спокойно. Под конец мне удалось прочесть ясно вопрос, застывший в глазах его. Мне кажется, вопрос этот относится к тому ужасу, который совершили над ними. Кому это надо? Кто смел совершить это черное злодеяние? И еще какой-то вопрос, более важный — видимо, перед всеми, стоящими перед лицом смерти, был в его глазах. Сформулировать я затрудняюсь... Я видела этот вопрос, силилась понять его... во взгляде был не только вопрос, но и знание чего-то, нам неизвестного. Я видела все до конца. До последнего момента я смотрела в лицо, в глаза Нила. Мысленно я говорила с ним. Обещала помнить, быть с ним и там...

Когда я была у гроба Нила, в низкой, маленькой кухне „Закупсбыта“, переполненной людьми, тот же человек, у которого мы были в воскресенье с Нилом и который нас провожал до тюрьмы, протискался ко гробу, сочувственно, скорбно посмотрел на Нила, перекрестился, покачал головой и участливо посмотрел мне в глаза... Как он узнал, где тело Нила, как нашел и пришел отдать последнюю дань убитому избраннику народа, я не знаю...

Из квартиры, около 4-х часов, Нила вынесли на руках товарищи-кооператоры. Все близкие люди, имена которых я не раз слышала от Нила, а увидеть пришлось их только теперь... Понесли в ближайшую церковь. Нил лежал прямо, как струна. Лицо спокойно. Гроб господствует над небольшой толпой друзей. Я иду у гроба. Поза Нила, в которой было что-то стремительное, вызвало у меня в уме скорбную мысль, что это — смотр... Смотр друзьям-соратникам. Кругом — все люди, среди которых протекла недолгая активная жизнь его... Близкие товарищи его по кооперативной работе. И ведь, по существу, по складу его характера, желаний, настроений кооперация была его любимой областью работы, творчества... Вот я в церкви. Я приняла к гробу, смотрю, не отрываясь, в лицо Нила. Мне кажется, он слушает слова священника и пение. Я стараюсь слиться с ним в этом процессе восприятия одних и тех же слов, молитв. Смотрю, не отрываясь, в лицо, в глаза Нила. И слушаю, понимаю слова молитв...

Вот подходят прощаться. Не могу оторваться, не могу перестать смотреть... Сзади меня берут, поднимают от гроба — говорят, что проститься еще можно будет на кладбище. Вот катафалк, я растерянно смотрю, а как же я, — неужели, не видеть Нила?... Какая-то женщина, незнакомая мне, говорит: — „Вы тоже можете ехать, сядьте у гроба на колесницу“. Я ухватилась за эту идею. Села, приняла опять к Нилу. Смотреть, смотреть, еще смотреть в глаза. И так всю дорогу. Медленно едут лошади. Слегка трясет. В уме рой вопросов: — Нил, скажи же, что было? Бедный, бедный, мой Нил! Руки покрывают его рану на голове, стараются как можно большую площадь его тела прикрыть, согреть. Мороз, ведь. А Нил в одном платье... В уме мелькает желание, от которого веет успокоением — вот так бы ехать долго, без конца, всю жизнь, не отрывая

взгляда от его лица... Но вот остановились. Дальше ехать нельзя.. начинается кладбище. Гроб опять несут. Вот свернули с аллеи — идут по глубокому снегу. Вот могила. Гроб опускают. Я опять подхожу, опускаюсь у гроба. В сумерках мерцает лицо Нила... Все тот же вопрос на лице... Ну, прощай, прощай, прощай, родной. Потом опустили крышку. Вбили два гвоздя. Опустили в могилу. Стали засыпать. Кто-то вложил землю в мою руку и заставил бросить ее. Что это? Зачем? Я не знаю значения этого обряда...

10. Комментарии к рассказу Н. Ф. Фоминой.

Первый вопрос, который является по прочтении этого потрясающего повествования, несомненно такой: кто же были виновники этого небывалого злодеяния? В рассказе Н. Ф. Фоминой на это дается определенный ответ: это был самосуд кучки офицеров над ненавистными им социалистами; самосуд, попытки к которому имели место и раньше, при том не раз и не два, за время их тюремного заключения.

— „Офицерский самосуд!“ — Вот та версия, на которой сошлись тогда все круги и все слои общества, без различия партий и направлений. Очень энергичное выражение той же версии дал прежде всего председатель совета министров П. В. Вологодский в интервью с сотрудником „Сиб. Жизни“ в начале 1919 г. Там было рассыпано много жестких слов по адресу безответственной кучки военных, столь неразумно запятнавших свой офицерский мундир. Порой, впрочем, для этих преступников находились некоторые смягчающие вину обстоятельства. Говорилось, напр., что поведение официальных эс-эровских кругов давно уже раздражало, и не без основания, военную среду, патриотично и государственно настроенную, и вот в результате такого раздражения, вызванного бестактным поведением самих „учределовцев“, и разыгрался прискорбный инцидент с офицерским самосудом над членами Учредительного Собрания.

Выражалось также упование, что Верховный Правитель достойно покарает всех участников такого самоуправства, нетерпимого ни в какой благоустроенной стране. Колчака, ведь, тогда серьезно многие считали „русским Вашингтоном“. Или говорили, даже после омских событий, буквально так: „Конечно, он не Вашингтон, но он подавит атаманщину и тогда пойдет по пути русского Вашингтона“.

Мысль об офицерском самосуде как-то всех тогда загнипотизировала, она принималась везде на веру и никем не оспаривалась. Даже в недавно вышедшем сборнике: „Рабочая революция на Урале“ омские убийства членов Учредит. Собрания оказались изображенными в таком же виде: „По чьему-то приказанию они были взяты из тюрьмы и обратно уже не вернулись. Их тела были найдены на берегу Иртыша. Против убийц, конечно, не было принято никаких мер“. И разве можно удивляться, что при таком общем настроении, загнипотизированном мыслью об „офицерском самосуде“, то же самое освещение омских событий встречается в рассказе Н. Ф. Фоминой? Это так понятно! Подавленная

ужасом перенесенных ею испытаний, она должна была механически воспринимать то объяснение происходившего вокруг, которое как-то само собой установилось во всех общественных слоях. Несмотря, однако, на все это, общепринятая версия об офицерском самосуде показалась мне с самого начала мало убедительной. Совершенно же я в ней разуверился, когда при первом же ближайшем посещении Омска (самое начало января 1919 г.) мне пришлось разыскать то место, на котором разыгрался заключительный акт этой ужасной драмы.

Я выехал из Красноярска на запад в конце декабря 1918 года, сам еще в точности не зная, где я окончательно остановлюсь. В Омск я приехал под самый новый год и, пока что, по разным соображениям, задержался в городе. Здесь я пробыл весь январь, и обстоятельства так сложились, что, через два-три дня после моего приезда в Омск, мне пришлось, между другими делами, заняться подробным и тщательным расследованием того, как произошли декабрьские убийства. Первый толчок к этому мне дало посещение того места, на левом берегу Иртыша, где были убиты Фомин, Брудерер, Маевский и др.

Оно оказалось совсем близко от центра города, прямо против крепости и чуть наискось от того дома, в котором позже жил Колчак. Если бы он переехал в него раньше, то мог бы, особенно в хороший морской бинокль, к обращению с которым он так привык, наблюдать, как на рассвете зимней ночи на 23-е декабря происходила вся эта расправа с его врагами, так называемый „офицерский самосуд“, к которому сам он, конечно, никакого касательства не имел.

Убили их в небольшой ложбине, отделявшейся невысоким пригорком от русла Иртыша. Когда я стоял на этом пригорке и смотрел с него на город, весь залитый зимним солнцем и широко раскинувшийся передо мною, вверх и вниз по реке, как-то сама собой мне пришла в голову странная мысль:— зачем это их так далеко увезли из тюрьмы, разве нельзя было сделать то же самое где-нибудь около нее?

Областная омская тюрьма расположена в северной части города, вниз по Иртышу, считая от жел.-дорожного моста и от вокзала. Когда-то, и не так еще давно, она находилась за городом, почти что в поле, как о том можно судить между прочим по запискам Гр. Н. Потанина, который в этой самой тюрьме содержался в 1865-1866 г.г. по обвинению в намерении отделить Сибирь от России. С тех пор Омск, расплываясь, подобно липаю, во все стороны, окружил тюрьму рядом мелких домиков и просто лачушек, так что севернее тюрьмы создан еще ряд улиц, числом 14 или даже больше, которые так и называются — „Северными“. Но от тюрьмы все же недалеко и до всякого рода пустырей и до знаменитой „Зеленой Рощи“, давно уже игравшей в Омске роль парижской площади Революции, но только без эшафота и без гильотины. Здесь в подобных случаях обходились и обходятся проще, без таких затейливых сооружений. Это та самая „Зеленая Роща“, хорошо видная из окон тюрьмы, в которой 20 сент. 1918 г. был убит Новоселов, первая

искупительная жертва на пути развития „колчаковщины“. В Сибири все такие даты, как я уже упоминал, связаны с убийствами.

Таким образом, по создавшейся традиции „Зеленая Роща“, казалось бы, представляла все удобства для офицерского самосуда. И, однако, „учредилковцев“ зачем-то увезли совсем в другой конец города, за несколько верст от тюрьмы, увезли к той центральной части, к дому Колчака, до которого расстояние было гораздо большее, чем до близ лежащих пустырей. От дворца Колчака до тюрьмы дорога, особенно в то время, вообще казалась очень дальней. Чтобы попасть сюда с северной окраины, надо было проехать полгорода, пересечь его центральную часть, потом всю крепость, потом повернуть направо около гауптвахты, где по преданию, весьма мало впрочем достоверному, содержался Достоевский, проехать к старинным Тобольским воротам, памятнику Екатерининской эпохи, пройти через них, спуститься вниз к реке, пересечь реку, выехать на противоположный берег и только потом уже спуститься в эту злополучную ложбину. Какой долгий, настоящий крестный путь! Положительно не представлялось никакой нужды, да еще в жестокий 40-град. мороз совершать его весь полностью, когда так просто и легко было поступить иначе, тем более, что ведь это был, по общему убеждению, быстрый и скорый самосуд.

Когда бывают самосуды, то убивают тут же на месте, там, где застают свою жертву, или где-нибудь вблизи. Для самосудов характерна импульсивность действия: тут некогда раздумывать, некогда откладывать то, что задумано, — могут, ведь, и помешать. На самосуды люди приезжают возбужденные, пьяные от угарных мыслей, а часто просто от вина. Сознание тогда туманится мыслями о крови, о кровавой расправе, руки судорожно ищут дела. Такова психология всякого самосуда, а тем более офицерского. Но какой-то инстинкт, бессознательный ход мысли, получившей откуда-то неожиданный толчок, подсказывал мне, что такого самосуда тут не было, а было что-то иное, более холодное, более жестокое, более расчетливое. Вскоре в этом я убедился документально.

II. Мое расследование по делу Н. В. Фомина.

Я жил тогда в Омске полулегально. Мне приходилось показываться в таких местах, где все бывали, в том числе и лица весьма высокопоставленные, мечтавшие, что скоро они будут в Кремле, и в то же время я постоянно менял места своего приюта. Ареста я особенно не опасался: — после этой драмы как-то все затихло, и реакция на время притаилась. В Новый Год был даже опубликован примирительный манифест о левых партиях. Всем этим можно было пользоваться...

Чрезвычайно скоро после моего приезда меня начала захватывать повседневная революционная сутолока, начались сношения с тюрьмой или, точнее, с тюрьмами, в которых еще содержалось много близких мне лиц, явились планы организации побегов. Порядки оказывались удивительными: — при некоторой настойчивости и небольших тратах можно было многое сделать.

Потом начали поступать предложения более серьезные, но и более опасные. То тут, то там возникали предположения о разных выступлениях, в том числе террористических, прежде всего против Колчака. Технически они представлялись сравнительно легко выполнимыми, но меня они по разным причинам мало привлекали. Еще ранее, за время петроградской жизни, я начал приходить к мысли, что в этой совершенно новой обстановке, в корне отличной от прежней, в особенности от той, какал была до 1905 г., эти методы революционной борьбы как-то поблекли, потеряли прежнее значение. Дело было ведь не в простом физическом устранении какого-либо лица, власть имущего, а в том резонансе и политическом значении, которое должно было бы сопровождать всякий аналогичный акт. Раньше оно давалось само собой, теперь это стало как-то сложнее и заставляло медлить. Я очень боялся, кроме того, и провокации,

Чем больше все это выяснилось, тем глубже стала меня захватывать задача, невольно вставшая передо мною, разъяснить во всех подробностях, как именно произошли убийства 22—23 декабря. Клубок был очень запутан. Нити сплелись и слиплись от кровавых пятен, но то тут, то там стали проскальзывать разные концы, и за них можно было ухватиться, распутывая дальше. Я работу эту делал не один, нас было двое. Очень скоро мы узнали один факт, тогда же установленный официально. В ту ночь из тюрьмы были взяты Кириенко и Девятков, но их—о чем упоминает также Н. Ф. Фомина—в груде трупов в лощине на берегу Иртыша не оказалось. Где они находились, оставалось неизвестным, однако, очень скоро обнаружилось, что из тюрьмы их взяли не просто какие-то, никому неизвестные лица, а взял их совершенно определенный человек, кап. Рубцов, и взял их—под расписку. Самосуд, в котором людей берут „под расписку“, это снова заставляло задуматься.

Кап. Рубцов был допрошен следственной комиссией, назначенной по распоряжению Колчака, и показание дал сбивчивое, явно неправдоподобное. Выходило как-то так, по его рассказу, что он вел какую-то группу солдат или повстанцев, приговоренных к расстрелу, и почему-то среди них оказались Кириенко и Девятков. Во время пути не то Девятков, не то Кириенко стали возмущать приговоренных против конвоя и даже кричали: „да здравствует советская власть“. Конвой был так возмущен, что какой-то солдат выстрелом из винтовки убил обоих „агитаторов“. Тут было все до такой степени неправдоподобно, что не заслуживало опровержения. Интересно было только то, что и Девятков и Кириенко оказались каким-то образом в группе лиц, приговоренных к смертной казни.

Что они находились действительно в этой группе, подтвердилось и другим путем. Жена Девятова (Соф. Ив. Девятова), проявив поистине нечеловеческую энергию, добилась тогда права производить розыски трупа мужа не по покойницким, как то делала Фомина, а разрывая братские могилы, в которых были наскоро погребены казненные. Начались раскопки. Это, конечно, совершенно особая страница в революционной археологии, едва ли где-нибудь, имеющая себе что-либо подобное. Девятовой указали, наконец, братскую могилу,

в которой, по некоторым признакам, она могла найти то, что искала. Там оказалось свыше 40 трупов, в том числе труп одной женщины, там же были найдены останки Девятова и Кириенко. Так естественно напрашивалась мысль, что они не случайно были погребены в одной братской могиле с казненными по суду.

Замечательно, что вся низшая администрация той тюрьмы, из которой были взяты и Кириенко, и Девятов, и Фомин, очень твердо и определенно заявляла, как об этом рассказывает и Н. Ф. Фомина в своих записках, что их брали на суд. Фоминой стоявший у ворот тюрьмы офицер прямо сказал о ее муже: — „Его увезли в три часа ночи в военно-полевой суд“. Просто и точно! Летом 1920 г. мне самому пришлось пробыть некоторое время в той самой тюрьме, где сидел и Фомин при Колчаке, караулил даже тот же надзиратель, как и его. Бывают иногда такие совпадения. На мой вопрос, куда тогда увели Никола Валера и зачем, он очень твердо отвечал: „На суд, увезли на грузовике, в крепость“. То же самое тот же низший персонал тюрьмы передавал и раньше при Колчаке.

Распутывая весь этот клубок дальше, мы тогда же узнали, что как раз именно в крепости, в большом зале гарнизонного собрания, места балов и благотворительных вечеров при Колчаке, теперь клуб имени Троцкого, в ту ночь заседал военно-полевой суд в составе трех человек (по закону времен Керенского, если не ошибаюсь). Свои действия он открыл в 10 час. вечера и „работал“ до 4-х утра.

Когда мы все это узнали, картина сразу делалась ясной. Крепость — центр города. От крепости до места казни, до этой дантовской ложины, рукой подать, надо только перейти реку. Если их судили в гарнизонном собрании (в том самом зале, в котором Гришина-Алмазова получила однажды первый приз за красоту), то нельзя найти ближе места для казни, чем левый берег Иртыша. Туда их и отвели.

Одновременно со всем этим нам стало известно, что суд в ту же ночь рассмотрел среди других еще и 14 дел тех заключенных, которых привезли из тюрьмы. По 13 делам были вынесены смертные приговоры, по одному делу приговор оправдательный. В числе судившихся выступал и Фомин, и Маевский. По крайней мере, их имена нам были названы. Нам сообщили затем, что суд задал Н. В. Фомину вопрос: правда ли, что он член Учредит. Собрания, и что смертный приговор ему был вынесен — „за то, что он член Учредит. Собрания“. Маевского же „осудили за газету“, т.-е. за „Власть Труда“, издававшуюся им в Челябинске. Маевский осуждал в своей газете переворот 18 ноября. Там же была напечатана небольшая, но очень яркая заметка Н. В. Фомина: „Я протестую“, посвященная аресту и тайному увозу из Челябинска Кириенко.

В информации, полученной нами тогда, могли быть неточности, могла быть своего рода наивность в передаче. Едва ли, напр., могли осудить Фомина только за то, что он член Учредит. Собрания. Вернее, что его спрашивали, правда ли, что он член той „семерки“, которая была образована в Екатерин-

бурге из числа членов Учредит. Собрания и которую предполагали обратить в организационный центр для борьбы с Колчаком. Если такой вопрос ему был задан, то нет никакого сомнения, что он ответил на него утвердительно и, по всей вероятности, что-нибудь прибавил вообще о своем отношении к правительству адмир. Колчака и о правах Учредит. Собрания, нарушенных переворотом 18 ноября. Для суда такого признания оказалось бы, разумеется, вполне достаточно, и „суд“ с спокойной совестью приговорил его к казни.

Маевского же безусловно и обвиняли, и осудили за его статьи во „Власти Труда“, несмотря на то, что газета издавалась под цензурой и постоянно выходила с белыми полосами. Но с этими формальностями судьи могли не считаться.

Все это происходило после 3-х часов ночи на 23-е декабря. К 4 или 5 часам утра суд закончил свои патриотические подвиги, и судьи удалились на покой, а подсудимых, то-есть уже осужденных, передали конвою. В состав конвоя входили не офицеры, совершавшие самосуд, а слушатели унтер-офицерской инструкторской школы, начальником которой являлся вышеупомянутый кан. Рубцов. Это была, разумеется, отборная команда. Впоследствии, адмир. Колчак на допросе в Иркутске вполне определенно заявлял: — „Я знаю, что Рубцов принимал участие в выполнении приговоров полевого суда“.

Ночь на 23-е уже кончалась. Скоро должен был начаться рассвет, к тому же все утомились. Спешили скорее со всем разделаться. Приговоренных оказалось 13 человек, оправданный один. Его увели в тюрьму при гауптвахте, это тут же, через переулочек. С приговоренных сняли верхнее платье, шубы, пальто, куртки,—шапки оставили. И в таком виде, спешно погоняя, всех погнажи. Не повели, а погнажи. Куда? Раздумывать было нечего, — на Иртыш! Больше гнать было некуда, а до Иртыша в самом деле рукой подать. Пять-шесть минут, даже меньше, хорошей ходьбы, и прошли Тобольские ворота, потом на лед и на ту сторону в ложбину. Затем началась расправа, последний акт трагедии. Как страшно было потом читать официальный—„Акт осмотра трупа гражданина члена правления „Завупсбыта“ Никола Валериановича Фомина“. Каким ужасом веяло от сделанного там перечня нанесенных ему ран,—всего там учтено 13 ран: 5 нанесенных при жизни и 8 после смерти. Повидимому, Нил Вал. защищался, быть может, инстинктивно, прикрыв голову руками. Поэтому руки и плечи у него оказались перерубленными. Как говорится об этом в акте: „В области левого плечевого сустава, поперек сустава резанная рана длиной 3 вершка, рана от плечевой кости, кость сломана“; „на задней поверхности правого плеча, тотчас под локтем обширная резанная рана с переломом плечевой кости“; „на левом плече точно такая же рана и также с переломом плечевой кости“, и т. д. Один из первых ударов был ему нанесен, повидимому, саблей в голову, но шапка на голове ослабила удар, который тем не менее должен был его оглушить: „В области левой теменной кости, во всю длину ее, резанная рана до кости“. Шапку, сброшенную этим ударом с головы, или, может быть, позднейшими, нашли тут же, налитую кровью. Дальше шли бесконечной чередой раны по преимуществу в левую

сторону тела:— „В области левого сосцевидного отростка револьверная пулевая рана“; „пулевая рана под шестым ребром, с левой стороны“; „под седьмым ребром той же стороны штыковая рана“; „на 1 сантиметр от нее винтовочная пулевая рана“; „три пулевые револьверные раны на левом плече“; „в области левой лопатки пулевая револьверная рана“; „на 3 сантиметра внизу от нее штыковая рана“, и так далее, и так далее! Всех ран было так много, что смерть, в неизбежности которой он был так убежден, вероятно, пришла очень скоро. Страшна не смерть, страшны минуты ожидания.

Также оказались изуродованными и группы остальных. Сорвав с них все, что только можно было сорвать еще, конвой вернулся в город. А на другой день, всю Сибирь, а потом и весь мир, облетела весть об „офицерском самосуде“¹⁾.

12. Мин. юст. Старынкевич об «офицерском самосуде».

Самосуд! Но не все ли равно? Самосуд все-таки имел место, если не простой, то квалифицированный. Какая разница?

О, нет, разница огромная, потому что квалифицированный самосуд ставит вопрос об ответственности за омские убийства тех самых правительственных верхов, представители которых официально и торжественно гарантировали полную неприкосновенность для всех добровольно возвращавшихся в тюрьму. Разница огромная, так как в этом случае убийства должны были совершаться по чьему-то приказанию, данному не сгоряча, не импульсивно, а

¹⁾ Все приведенные выше данные произведенного расследования были мной тогда же (февраль или март 1919 г.) сообщены в особом письме Гр. Н. Потанину с просьбой напечатать его, за моей личной ответственностью, в газете „Сиб. Жизнь“. Одним из поводов к письму являлось интервью П. В. Вологодского, помещенное в той же газете и касавшееся омских событий. Вологодский, как я уже указывал в тексте, категорически поддерживал заведомо ложную версию об „офицерском самосуде“, строго говоря, одлеветывая этим те самые военные круги, защитником которых он всегда себя выставлял. Письмо мое было получено Гр. Н. Потаниным, и так как он к тому времени уже совершенно лишился зрения, то оно было ему прочтано вслух одним близким мне лицом. Гр. Н. Потанин передал его в редакцию „Сиб. Жизни“, покойному А. Н. Шипицыну, с просьбой напечатать его. От Шипицына Гр. Н. Потанин имел известие, что лично он ничего не имеет против опубликования моего письма, но что этот вопрос окончательно должна решить редакционная коллегия. Письмо напечатано не было. Кроме того, уже после моего отъезда из Омска моим сотоварищем по произведенному расследованию была сделана попытка передать телеграмму (в ней было 800 слов) через французскую миссию о результатах нашего расследования в Париж, на имя Альбера Тома. Дошла ли эта телеграмма до Парижа (февраль 1919 г.), я в точности не знаю, но слышал, что будто бы дошла. Прибавлю еще, что относительно Маевского у меня было дополнительное известие такого рода; мне передавали, что он, а также еще кто-то, не были приговорены к смертной казни, а только к 20 годам каторги, по так как обратно вести его в тюрьму было очень далеко, а почта была чрезвычайно холодна и отдельного конвола не оказалось под руками, то его, а равно еще двух-трех человек, находившихся в таком же положении—расстреляли заодно со всеми. Однако, мне не удалось проверить, насколько это известие было правильно.

с жестоким холодным расчетом. Разница огромная, так как здесь должно было иметь место небывалое вероломство, одна мысль о котором заставляла колчаковских министров терять почву под ногами, толкая их, в особенности Вологодского, на попытки всячески скрывать истину, судорожно цепляясь за идею об офицерском самосуде. Пусть лучше будут ответственны безымянные стрелочники, а не те, кто стоит у руля государственного корабля.

Разница между самосудом простым и квалифицированным до такой степени проста и очевидна, что настаивать на ней нет никакой нужды. Но, может быть, все-таки это неверно. Может быть, власти, особенно гражданские, ничего и не знали о военно-полевых судах над „учредиловцами“. Не даром же, как рассказывает Н. Ф. Фомина, Гинс сетовал, что они в эти дни потеряли возможность руководить событиями: всё делали военные.

Все эти вопросы для меня представлялись уже тогда, еще в январе 1919 г., совершенно решенными. Относительно военной среды и степени ее осведомленности обо всем, что происходило, какие могли быть сомнения? Я знал, что когда конвой приехал брать Н. В. Фомина и остальных, тюремная контора не сразу согласилась выдать их, опасаясь как раз самосуда, и вела предварительно длительные переговоры с начальником гарнизона о приехавших офицерах. Затем они куда-то уехали и вернулись снова через некоторое время, но уже снабженные ордерами. Как характерно также поведение того же ген. Бржозовского (тогдашний начальник омского гарнизона) в рассказе Фоминой.

Я знал, кроме того, что приказание об отдаче возвратившихся в тюрьму „учредиловцев“ под суд исходило непосредственно от ген. Иванова-Ринова, получившего в эту ночь диктаторские права.

Первоначально предполагалось расстрелять всех „учредиловцев“ без изъятия, но в эту ночь не успели, и без того было много дела, а с утра на следующий день поднялся слишком большой шум, и те, кто случайно уцелел — спаслись. Через день или два все они были освобождены, присутствовали на похоронах Н. В. Фомина и могли, глядя на его изуродованный труп, представить себе участь, которая и их ожидала.

Правда, несмотря на полную уверенность в точности получавшихся мною сведений (в том числе и от лиц, бывавших на дому у ген. Иванова-Ринова), у меня являлась все-таки мысль проверить результаты произведенного расследования путем личного обращения к высшим гражданским властям, но я решил этого не делать. О чем в самом деле мы стали бы с ними разговаривать? Однако, обстоятельства сложились иначе, и кое-что в этом отношении мне пришлось предпринять, о чем я после не жалел. Все вышло случайно, но тем характернее оказались результаты.

Закончив свои омские мытарства, я, в самом начале февраля, решил выехать обратно в Красноярск, „в свой избирательный округ“. Ездить в то время по железной дороге было не так уж просто. Поезда ходили переполненными, свирепствовал тиф, заразу схватывали очень легко, а отделялись от нее часто с большим трудом. Затем эти постоянные контроли на жел.-до-роге с неизбежной проверкой паспортов. Я предпочитал избегать всего этого.

К счастью, собираясь выехать из Омска, я узнал, что на Восток возвращается один из вновь назначенных сенаторов Колчака. Перед этим происходило открытие Сената, и для демонстрации начал законности Колчак при открытии *стоял*, а сенаторы *сидели* в знак того, что Власть подчиняется Закону. Теперь один из этих сенаторов, воплощавших идею законности, не только ехал домой, но имел в своем распоряжении целый вагон. Я не был с ними лично знаком, но слышал, что он, — по натуре человек честный и хороший судья, — отзывался обо мне с сочувствием и, вероятно, не отказался бы взять меня с собою. Неудобство состояло только в том, что надо было идти к нему на квартиру, а жил он, как мне сообщили, у министра юстиции Старынкевича. Несмотря на это, я решил сходить к нему, полагая, что встреча с министром не обязательна. Этот милый и добрый старик (в духе сибирского Кони) встретил меня очень тепло и радушно. Когда ему доложили обо мне и он услышал мою фамилию, он быстро вышел навстречу и сразу же удивил меня словами:

— „Как я рад вас видеть, а мне говорили, что вы убиты“.

Это говорилось совершенно спокойно, представителем закона, в квартире министра юстиции.

Я ответил, что нет, я вполне здоров, что, повидимому, он смешивает меня с Н. В. Фоминым, который действительно убит. Но мой сенатор настаивал на том, что об убийстве Фомина („какая ужасная история“) он слышал ~~особо~~ и знает хорошо, но то само собой. Мы прошли в его комнату и быстро обо всем договорились, однако, когда на обратном пути я направлялся к выходу, меня встретил сам министр, и тут мне пришлось вступить с ним в долгий разговор. Необходимо здесь напомнить, какое это было время. Незадолго перед тем произошли на Урале переговоры между несколькими членами Учредит. Собрания (Вольский, Ракитников, Буревой и др.) с советской властью, и состоялось соглашение между ними для общей борьбы против Колчака. В Сибири весть об этих переговорах произвела большое впечатление, и на эс-эров обрушилась вся цензурная печать. Началась незабываемая травля. Но для цензурников было мало имен Ракитникова, Буревоего, даже Вольского, им хотелось припугнуть сюда непременно В. М. Чернова. И вот неожиданно и к великой радости их получается радио, что 19 января Чернов (потом, много позже, оказалось, что это относилось не к Чернову, а к Черненкову) приехал в Москву для переговоров о соглашении с Лениным и Троцким. Ликованию цензурной печати не было ни конца, ни краю. Наконец-то виновник себя обнаружил и оказался пойманным с поличным. Я знал, что вся эта информация ложна, так как перед тем получил точное сообщение, где именно находился Чернов, как раз около 18—19 января, и каково было его истинное отношение к событиям на Урале. Разговор мой с министром начался как раз с его вопроса о том, знаю ли я, что Чернов в Москве и ведет переговоры с советской властью. Я ответил, что это неправда, и мне лучше, чем ему известно, где Чернов находится: он здесь, в Сибири. Кто-то из случайно проходивших в эту минуту по комнате заметил мне:

— „Если вы знаете, где Чернов, вы должны сообщить властям его адрес“.

Это было до такой степени оригинально, хотя и не совсем для меня неожиданно, что вызвало с моей стороны новую реплику, в ответ на которую министр, полуобращаясь то ко мне, то к моему спутнику, которого я так и буду называть—„сибирский Кони“,—произнес целую обвинительную речь против эс-эров, длинную и вдохновенную, тем более для меня интересную, что это говорил недавний член той же партии с.-р. Закончил он ее совершенно в драматическом тоне, указав на то, что двуличная и двурушническая политика партии по отношению к большевикам справедливо раздражает военные круги и воспитывает в их среде законное негодование на „учредивцев“, и вот—в результате такие печальные инциденты, как офицерский самосуд над Н. В. Фоминым, о котором тут только что вы (обращаясь к „сибирскому Кони“) говорили.

Это было уж слишком! Это был вызов, брошенная перчатка, да еще кем!

Я сказал на это Старынкевичу:—„Вы, министр юстиции, говорите об офицерском самосуде над Фоминым. Но разве вы не знаете, что самосуд—это выдумки. Их судили“.

— „Как судили? Откуда это вы знаете?“

— „Их судили в гарнизонном собрании, в крепости, после 3-х часов ночи на 23 декабря. Откуда я это знаю? Я вел свое следствие. Это—результаты“.

Затем началась настоящая словесная дуэль, продолжавшаяся довольно долго при безмолвном секунданте, „сибирском Кони“, который, кажется, не знал, куда ему деваться от смущения. Самая существенная часть этого разговора заключалась в следующем. Узнав, что я производил какое-то сепаратное следствие, министр довольно внушительно заявил мне, что я нравственно обязан представить результаты своей работы, свои соображения и—главное—своих свидетелей, раз я им доверяю, той правительственной комиссии по расследованию событий 22 и 23 декабря, которая уже образована и работает под председательством Висковатова. Я ответил Старынкевичу, что сделать этого не могу и не сделаю, но прибавил:—„впрочем, если вы гарантируете мне чем-нибудь реальным неприкосновенность моих свидетелей, тогда, если они на это согласятся, я назову вам их“.

— „Я должен гарантировать неприкосновенность свидетелей!“—воскликнул вдруг к моему удивлению Старынкевич, обращаясь исключительно к нашему безмолвному секунданту. И затем он рассказал поразительно характерную историю, которую я помню почти во всех деталях. Тогда же, вернувшись к себе домой, я записал ее по свежей памяти, как почти весь этот разговор, но эта запись осталась в одном из моих сибирских архивов, я ее не имею при себе и воспроизвожу по памяти, ругаясь, однако, за точность передачи во всем существенном. Но возможно, что в моей памяти стерлись разные детали, делающие его еще более красочным.

Министр передал, что с некоторых пор к нему стали поступать всевозможные доносы и жалобы из Семипалатинска на действия атамана Анненкова.

Совершенно такие же жалобы поступали также и к самому Верховному Правителю. Изнывая от небывалых притеснений, местное население молило о защите и помощи. Жалобы лились такой волной и казались столь убедительными, что решено было произвести дознание, но строго секретное, через особого агента с большим стажем. Агент этот служил раньше у ген. Алексева, потом работал в Казани при большевиках. По решению местной военной организации он вошел в какое-то советское учреждение, вероятно, имевшее отношение к фронту, и, работая в нем, оказывал большие услуги своим соотечественникам. Теперь он перебрался в Омск и находится в распоряжении министра юстиции. Человек это энергичный, находчивый и во всякого рода секретных поручениях незаменимый. Вот его-то и решил министр послать в Семипалатинск для производства строго секретного, даже секретнейшего дознания об Анненкове и о действиях его отряда. Агент выехал, снабженный документами, хорошо маскирующими его личность и истинную цель его поездки. Вскоре после того как он прибыл в Семипалатинск и приступил к дознанию, от него начали поступать доклады, всецело подтверждавшие правильность того, что утверждалось в челобитных семипалатинских жалобщиков. Больше того: попутно этому агенту удалось обнаружить такие поступки Анненкова, перед которыми бледнело всё сообщавшееся раньше. Картина развертывалась потрясающая. Но вот, вдруг, от него же, от агента, приходит крайне тревожная весть:—анненковская контр-разведка, как оказывается, его самого ищет в Семипалатинске. Она знает, что он там, знает его настоящее имя, знает, зачем он туда командирован, но не знает, под каким именем он живет. Тревоге министерского посланца не предвиделось границ. Он почувствовал, что попал в осиное гнездо подлинной атаманщины. Он предупредил министра, что, если его поймут, то—убьют. Он умолил, поэтому, разрешить ему экстренно выехать обратно и на проезд снабдить его новыми документами, так как имя, под которым он живет, может всякую минуту быть раскрыто. Просьбы его были уважены и он, к счастью, благополучно, вернулся в Омск. Однако, злоключения его еще не кончились на этом. Вернувшись в Омск, он начал составлять доклад о всех своих разоблачениях. На-днях он его закончил и должен был представить по назначению. Но, когда он шел с докладом к министру, на пути, днем, на улице его арестовали агенты военного контроля и посадили в тюрьму. Ему предъявили грозное обвинение в службе у большевиков на Волге.— „И я ничего не могу сделать для его освобождения,—заявил министр,— тем более, что, ведь, он действительно служил у большевиков“.

После этого наступила глубокая пауза. „Сибирский Кони“, как ему и полагается, поник у стола в позе искренне огорченного человека. Давно ли в самом деле он сидел, а сам адмирал перед ним стоял, и вдруг такой пассаж. Я, молча, ждал, что еще скажет министр юстиции, благо, он оказался таким охотником до разговоров. Но он больше ничего не прибавил, а подвел только итог ко всему разговору, снова обращаясь к нашему секунданту и показывая на меня: — „А вот (имя рек) желает, чтобы я дал ему какие-то гарантии“.

В самом деле, как я был наивен в таком требовании.

13. Еще раз у Старынкевича.

Мы расстались с министром, условившись, что я приду к нему в субботу (разговор происходил в четверг, ехать я должен был в воскресенье) в его служебный кабинет, где он обещал еще раз выслушать мои соображения и сообщить мне, как обстоит следствие по всему этому делу. Я видел, что он что-то не договаривает при третьем лице, и, в чаянии получить от него новые дополнительные сведения, согласился притти. Здесь, с глаза на глаз, безнеудобных свидетелей, министр держался со мной совсем иначе и сразу стало ясно, что оспаривать мои утверждения он не имеет никакого намерения. Он сказал мне, когда я попытался было подробно обосновать свое мнение об „офицерском самосуде“, что он и сам знает, что дело обстояло, конечно, так, как я излагаю, но только в атмосфере этого общего страха перед военной партией нельзя доказать этого юридически. Нет свидетелей, то-есть они есть (вот, напр., такие-то), но боятся говорить или говорят явную неправду. Допрашивали, напр., кап. Рубцова. Он все знает, но отделяется несообразными показаниями. И затем министр передал мне показания Рубцова в том виде, как другие совсем лица передавали мне их и раньше. Я мог этим проверить точность данной тогда ими информации, не говоря, разумеется, об этом Старынкевичу.

Свидетелей нет,—продолжал министр,—а без них сделать ничего нельзя, хотя всем ясно, что дело тут не в самосуде. И не только нет свидетелей, а нет собственно и следователей. И затем начался новый рассказ на эту тему, тоже чрезвычайно характерный. Тогда в Омске (январь 1919 г.) произошел громкий грабеж с бриллиантами, напугавший на весь город. Я не помню уже его детали, но помню только, что грабеж происходил днем, в людном месте, и грабители бесследно скрылись. Впечатление от грабежа было очень большое. Власти энергично взялись за следствие и быстро обнаружили, что заодно с грабителями действовали пом. нач. милиции, по фамилии, если не ошибаюсь, Киенский, и кажется, еще кто-то из служебных лиц. Все они были арестованы, следствие было поручено энергичному и талантливому молодому прокурору Шредеру. И вот, в пятницу (разговор происходит в субботу) к Шредеру являются два весьма храбрых незнакомца, увешенные оружием, в форме офицеров Красильниковского отряда. Шредер не сразу понял, чего они от него хотят, но видел, что те пришли с какими-то серьезными намерениями. Говорили они не весьма членораздельно, аргументируя больше красноречивыми телодвижениями. Объясняясь по такому методу с прокурором, они начали требовать от него немедленного ответа, когда же он освободит их товарища. — „Какого товарища?“ — Оказывается, того самого помощника начальника милиции, который арестован за соучастие в деле по грабежу с бриллиантами.

Товарищ прокурора всем этим визитом оказался так напуган, что тут же, по уходе обоих красильниковских героев, составил рапорт на имя министра, тоже прося либо „гарантий“, либо освобождения от столь рискованного поручения.

— „Теперь около 12 час.,—продолжал министр.— Через полчаса мой доклад у Верховного Правителя, между прочим и по этому делу в виду рапорта Шредера.— Что же касается обстоятельств, сопровождавших убийство Фомина, то что я могу тут сделать, встречая на каждом шагу препятствия. Вы говорите—их судили. Да, их судили“...

Он больше не оспаривал этого. Но дальше начал туманно и обиняками говорить о военной партии, о ее домогательствах, о том, что в дело Фомина замешан ген. Иванов-Ринов, и пр., и пр. Затем пришло время ехать ему к „Верховному“, как называли Колчака попросту министры, и я расстался с ним.

14. Чем заплатил Колчак за 18-е ноября.

Из всего, что на этот раз передал мне Старынкевич, самой важной была ссылка на ген. Иванова-Ринова. Кто такой генерал Иванов-Ринов? Ген. Иванов-Ринов один из активных членов тайных военных организаций, подготавливавших переворот весной 1918 г. Его фамилия собственно просто — „Иванов“, а „Ринов“ это кличка, которую он носил в тайной организации. Так же как „Гришин-Алмазов“ назывался просто „Гришин“ в прежние время, но стал „Алмазовым“ по соображениям конспиративного характера. В прошлом ген. Иванов-Ринов не имел никакого военного стажа и почему он собственно сделался генералом, а потом военным министром, а позже даже командиром конной армии, долженствовавшей повторить в сибирской обстановке кавалерийский рейд ген. Мамонтова, о котором в свое время было столько шуму,—для меня все это непоятно.

Заслуги ген. Иванова-Ринова, если уж о них говорить, надо было искать вовсе не в военной, а совсем в иной области. Его карьера являлась чисто административной, даже собственно прямо полицейской, а вовсе не военной. Раньше он служил в средней Азии, в Туркестане, по военной администрации и был чем-то вроде уездного не то начальника, не то исправника. Последнее даже вернее. Затем шел вверх по административно-полицейской лестнице, выдвинувшись при подавлении одного из местных восстаний. Быть может, это и создало ему своего рода популярность в омских военных сферах. В эту памятную ночь с 22 на 23 декабря Иванов-Ринов получил в Омске неограниченную власть, фактически являясь диктатором, без всякого преувеличения. Перед тем он был на Дальнем Востоке и виделся там с атаманом Семеновым. О его позиции в это время ходили в Омске разные слухи, но я полагаю, что наиболее заслуживающей внимания должна быть признана та версия, которую полунамеками, но достаточно определенно, сообщил мне на этот раз тот же Старынкевич. Суть ее сводилась к тому, что Иванов-Ринов, усиленно соперничавший с Колчаком, сознательно бросил ему в лицо трупы „учредильщиков“, как вызов и как залог кровавого общинничества в дальнейшем. Тут имели место не личные счеты, а своего рода расплата по векселю, явившаяся результатом целого сплетения внутренних и международных общественных отношений.

Я говорил уже, что переворот 18 ноября являлся своего рода подарком цензовой и ультра-правой части Сибири адмиралу Колчаку. Наиболее активные деятели этого переворота (Пепеляев, Лебедев, Волков, Красильников, Сурий, Катанаев и др.) были монархистами и японофилами. Связь монархических кругов в Сибири с японскими официальными кругами—факт несомненный и не подлежащий оспариванию. В октябре месяце 1918 г., вернувшись из Владивостока в Омск, я слышал там от одного крупного цензовика из военно-промышленного комитета, личного друга кн. Г. Е. Львова, что военные агенты Японии в Омске (была названа даже фамилия, которую я, к сожалению, забыл, а навести справку в своих материалах я лишен возможности), ведут откровенно монархическую агитацию и состоят в тесной связи с местными реакционными деятелями из военной среды.

Я говорил также, что у этих военно-монархических кругов был свой претендент на пост Верховного Правителя, принявший уже этот титул еще в июле 1918 г., — ген. Хорват. Первоначально сторонником Хорвата являлся и позднейший колчаковец, Жардецкий, этот, как я его называл выше, коронный публицист сибирской реакции, журналист безусловно очень талантливый. Но ставка на Хорвата не прошла, воцарился Колчак при обстоятельствах, до сих пор тщательно срываемых цензовой прессой, что проявляется одинаково, как, напр., в воспоминаниях Ключникова в „Намануне“¹⁾, так и в обширнейшей книге Гинса о „Сибири, союзниках и Колчаке“.

Колчак воцарился при условиях очень для него благоприятных, и борьба против него, казалось, была немислима, особенно со стороны тех, кто помог ему низвергнуть Директорию. Тем не менее борьба началась; правда, началась пока что не на Западе Сибири, а на Востоке. Открыл ее атаман Семенов в Чите, демонстративно отказавшийся признать власть „Верховного“. Смирить Семенова вооруженной рукой Колчаку не удалось, несмотря на все желание: у атамана Семенова нашелся очень внушительный защитник и союзник в лице Японии. Впоследствии адмир. Колчак на допросе в Иркутске показывал, как ген. Жанен, вообще-то очень благоволивший к адмиралу, предостерегал его, однако, от обострения отношений с атаманом Семеновым в виду заинтересованности тут Японии. „Он сообщил мне, — рассказывал там адмир. Колчак, и этому рассказу можно верить, — что положение чрезвычайно обостряется в Забайкалье, так как командующий японской дивизией заявил ему, Жанену, что не допустит никаких столкновений по линии жел. дороги и что в случае, если я попробую ввести войска в Забайкалье, то японские войска принуждены будут выступить против них“.

Этот конфликт Колчака и Семенова внес новое смущение в цензovou прессу, не знавшую, как выйти из столь запутанного положения. Неизвестно, конечно, как бы события пошли дальше, но тут разыгралось омское восстание 22—23 декабря, о подготовке которого власти, несомненно, хорошо знали. С другой стороны, одновременно с этой подготовкой в городе шла еще одна подпольная

¹⁾ См. его фельетон в № 7 „Намануне“ от 2 апр. 1922.

работа, но иного характера, не революционная, а монархическая. Для монархистов наступал долгожданный момент, так как можно было, воспользовавшись смутой, получить для подавления мятежа всю фактическую власть в свои руки и, подавив мятеж, направить острие того же оружия в другую сторону, против „высочки“ Колчака. Атаман Семенов нашел себе в этом случае хорошего помощника в Омске, и этим помощником явился ген. Иванов-Ринов, фактический диктатор во время расправы с восставшими. Он должен был, имея в руках вооруженную власть, даже всю полноту власти, сказать адмиралу:— „ôtes-toi de là que je m'y mette“. В таком виде, по крайней мере, передавали мне смысл разыгравшихся событий весьма осведомленные люди, из тех, которые полагали, что Колчак и в самом деле почти что русский Вашингтон. ||

Однако, справиться с Колчаком оказалось не так легко, как наприм., с Директорией. За эти дни дом его усиленно охранялся, — что, конечно, не удивительно, но замечательнее и удивительнее, кем именно охранялся. Охранялся он английскими солдатами, выкатившими прямо на улицу все свои пулеметы. Адмирал, очевидно, не желал отправляться в дальнейшее плавание и загородился штыковым барьером, пусть даже не своим, а чужим, — какая разница? Мы не знаем, что там происходило между этими матодорами сибирских пензовиков, но кончилось тем, что в своем приказе от 22 декабря, расклеенном на всех заборах, ген. Иванов-Ринов заявил, что он признает власть адмир. Колчака и не позволит никому ее свергать. А о том, что он сам только что готовился ее свергнуть, ген. Иванов-Ринов в своем приказе не обмолвлялся ни словом. Но, признав власть адмир. Колчака, ген. Иванов-Ринов на этом одном не мог остановиться. Сибирские погромщики оказались готовыми вторично услужить адмиралу и вторично признать его власть, но вместе с тем в виде компенсации решили его, болтавшего там что-то о Национальном Собрании (чуть-что не Учредительном), помазать на царство кровью этих самых „учредильщиков“, забросать его их трупами, сделать это его собственным именем в расчете, что он не посмеет отказаться от солидарности с ними, и все это свяжет его круговой кровавой порукой с порочнейшими из реакционных кругов. Это была попытка жестоко надругаться над счастливым противником, как только может надругаться ни с чем непримиримый сибирский погромщик, расвирепевший лавочник. Это была дьявольская, сатанинская программа, счет к уплате по векселю, выданному еще 18 ноября убийцам. Вексель был предъявлен, счет погашен, убийства, именем самого Колчака, совершились, а затем, чтобы скрыть истинных виновников и всю суть происшедшего, была пущена по всему свету лживая легенда о простом офицерском самосуде. ||

Адмир. Колчак покрыл погромщиков, устроивших беспримерную бойню в ночь с 22 на 23 декабря. Говорят, или точнее, говорили тогда, что, узнав о расстрелах „учредилковцев“, он бился в истерике. Это возможно. Этот диктатор обладал вообще темпераментом истерической женщины. Но, с истерикой или без истерии, факт остается фактом: — покрыв погромщиков, знал несомненно

как все было, значит покрыв их сознательно, а не по неведению, он затем силой вещей сделался их соучастником и верным слугой. И царству опричников, казалось, не будет конца и краю. То, что происходило дальше, и те результаты, к которым это приводило, я наблюдал уже не в Омске, — в Омске с тех пор при Колчаке я не был ни разу, а после Колчака этот город сделался моей тюрьмой, — а в Красноярске, Иркутске, Томске, на Алтае. Там передо мною прошла еще целая жизнь, временами даже более страшная и более драматичная, чем в эти ужасные дни омских переживаний.

Очерк третий.

Адмирал Колчак в борьбе с крестьянством.

1. — „Проблема о мужике“ и адмирал Колчак.

Омские убийства в декабре 1918 г., в частности гибель Н. В. Фомина, положили грань между правительством Колчака и всеми сколько-нибудь прогрессивными общественными элементами, не говоря уже о революционной среде. Даже те представители умеренной демократии, которые считали Колчака чуть-что не „русским Вашингтоном“, чувствовали себя смущенными. Но события эти касались пока только города, деревню они непосредственным образом не задевали, и черед ее пока не пришел, хотя был уже близок, „при дверях“, как говорил когда-то Достоевский.

В тот момент, когда адмирал Колчак пришел к власти, деревня пережила уже ряд массовых судорожных, чисто стихийных, но тем более трагических потрясений. Среди них особенно выделялось огромное восстание в Мариинском уезде Томской губ., охватившее ряд волостей с общим количеством населения до 60 тыс. человек. Это так называемое Чумайское восстание. Поводом к нему послужили недоразумения с лесничествами, не позволявшими крестьянам производить порубки лесов без надлежащих разрешений, с чем сибирский крестьянин вообще с трудом мирится. Лесные объездчики своими бестактными и грубыми выходками, самоуправством и всякого рода превышением власти, вплоть до ручных расправ, довели крестьянство до открытого сопротивления, которое быстро охватило целую округу и на пространстве почти 10 волостей приняло характер настоящей сибирской „жакерии“¹⁾.

Едва затихло Чумайское восстание, как разразилось, на аналогичной же почве, еще большее движение в Минусинском уезде, крестьянство которого привыкло и раньше сознать свою силу в крае. Восстание охватило почти весь уезд и поднималось огромной волной. На один момент повстанцы подошли к самому городу Минусинску и едва не взяли его. Разбиты они были в 15—

¹⁾ Об этом восстании много писалось в тогдашних газетах томских и ново-николаевских. Кроме того, в моих руках находился в то время секретный доклад о нем управл. томской губ. Б. Михаловского, в котором, хотя и с большой неохотой, значительная доля ответственности за восстание возлагалась на лесную администрацию.

20 вв. от города ген. Шильниковым в самый момент колчаковского переворота. После поражения началась жестокая экзекуция над крестьянами.

Аналогичные же вспышки, то небольшие и местные, то крупные и захватывавшие целые округа, происходили в других частях Сибири, в районе Алтайской губ. и Семипалатинской области (октябрь-ноябрь 1918 г.), а еще раньше, в конце лета — в Славгородском уезде, в самом хлебном месте этого района, отличавшемся и позже повышенным настроением. Характерной чертой всех этих восстаний за первый период „колчаковщины“, еще до Колчака, являлась стихийность взрыва, обилие местных поводов для восстаний, отсутствие определенной политической идеи, объединявшей повстанцев, недостаточная организованность, хотя вместе с тем среди них чувствовалась местами, напр., в Минусинском уезде или в Славгородском районе, привычка к совместному согласованному действию.

Крестьянство в этом случае как бы производило огромную репетицию, своего рода маневры перед будущими решительными действиями. Подавлялись все эти восстания не без труда, с обычными жестокостями, хотя они не представляли сами по себе серьезной угрозы для устанавливавшегося порядка, так как очень часто вызывались случайными причинами или бывали результатом какого-нибудь трагического недоразумения, на которые столь щедро оказывалась всегда русская история. Но вместе с тем они являлись достаточно внушительным предупреждением для власти, так как показывали, что в деревне не все обстоит благополучно.

Деревня первичала, теряла самообладание. Деревня начинала уже разрешать „своими средствами“, как у Гл. Успенского, наиболее важные вопросы современности. Очевидно, что нужно было спешно идти к ней на встречу. Пожар начинался, легко было, упустив огонь, сделаться впоследствии его жертвой. Как наследие от Сибирского правительства (я не говорю о Директории, так как она не играла никакой роли в Сибири), адмирал Колчак получил эту неразрешенную, но требовавшую уже разрешения — „проблему о мужике“, и должен был сразу же посвятить ей свои силы и внимание. Но мог ли он разрешить ее? было ли его правительство для этого сколько-нибудь подготовленным?

Кажется, совершенно излишне доказывать, что правительство Колчака для такой работы было, по меньшей мере, неспособно. Вообще, оно представляло из себя какое-то удивительное собрание людей безнадежно бездарных в государственном и политическом отношении. Менее же всего к роли государственного деятеля, да еще призванного править страной в эпоху гражданской войны, когда такую роль получают в общественной жизни народные массы, был подготовлен сам Колчак. К сожалению, — хотя не знаю жалеть ли об этом, — я никогда не имел возможности составить себе мнение о нем по непосредственному личному впечатлению. Если не считать одной, чисто мимоходной встречи, не оставившей во мне никакого следа, я никогда не видел его. Но фактов, характеризующих личность адмирала Колчака и приемы управления, им принятые, прошло через мои руки очень много, и все они,

от того бы я их ни получал, от иностранных ли дипломатов, от русских ли администраторов, нередко очень высокого положения, сводились к одному итогу, к признанию, что цензовая Сибирь совершила большую ошибку, вручив свои судьбы такому правителю.

Тогда в Сибири являлось большой модой всячески поносить имя Керенского. Но Колчак являлся совершенно таким же истеричным и безвольным существом; он был положительно тем же Керенским, только с той разницей, что, обладая всеми его недостатками, он не имел ни одного из его достоинств. Сибирь была переполнена в то время рассказами, особенно частыми в среде иностранных дипломатов, о постоянных истериках и нервных припадках, которыми адмирал Колчак то и дело награждал своих министров, а под конец, после падения Омска, и таких людей, как ген. Нокс и ген. Жанен. Ни с теми, ни с другими адмирал во время своих истерик не стеснялся. На приемах он стучал кулаками, кричал: „разогнать“, „повесить“, если ему кто перечил; временами бывал в состоянии положительно невменяемом; не слушал, что ему говорили даже такие его пестуны, как Нокс и Жанен. После падения Омска, на ст. Тайга, Жанен и Нокс советовали Колчаку сложить с себя звание верховного правителя и пойти на уступки. Адмирал на это ответил дикой истерикой, доходило до того, что дикий и истеричный крик не удовлетворял уже адмирала, и он начинал бросать во все стороны попадавшиеся ему под руку предметы и производить иного рода неистовства.

На Колчака в Сибири пробовали сначала смотреть, как на спасителя, потому что он военный:—цензовые круги пресытились слабостью гражданской власти („керенщина“) и хотели, чтобы страной правила твердая бронированная рука. Но и это была ошибка. Адмирал Колчак, правда, был человек военной касты, быть может, хороший командир на судне; быть может, начальник, знающий психологию казармы, но он вовсе не был правителем, понимающим хотя сколько-нибудь психологию народа и умеющим ориентироваться в его интересах. Его политические взгляды поражали своей анекдотичной наивностью. Приблизительно летом 1919 г., в Ново-Николаевске вышла брошюра прив.-доц. Ильинского, беженца из какого-то поволжского университета, популяризовавшая известную книгу — „Протоколы сионских мудрецов“. Там развивалась социальная философия о тайном ордене „жидо-масонов“, захвативших или стремившихся посредством русской революции захватить власть во всем мире. И этот безграмотный бред выдавался за высшую мудрость европейской науки.

Я не имел ни малейшего представления о том, кто такой был по своему научному стажу и политическому мировоззрению автор этой удивительной брошюры, но я заинтриговался ею потому, что слышал, что сам верховный правитель одобряет такие взгляды и кругом себя видит какие-то масонские интриги. Это невероятно, но это факт. Революция для Колчака была сплошным дурманом, наводнением, напущенным „сионскими мудрецами“. Ни о каких реформах, ни о каких переменах он не желал и слушать. Он признавал систему только чисто военного управления страной, как она намечена была

еще старыми полевыми уставами времен царской власти, и ни о каком ином строе он органически не мог себе составить представления. Для него могло еще быть понятным его звание верховного главнокомандующего, которым он очень гордился, но он совершенно терялся в своих функциях верховного правителя, которые ему казались излишними, ненужной обузой, так как, по его мнению, править страной можно было так же, как командовать армией. И когда ему время от времени пробовали втолковать, что править страной, да еще в революционное время это не то же, что командовать армией, при том армией старого типа, какую он только и знал; когда его убеждали, что нельзя оставлять без внимания жизни в тылу и что без некоторых хотя бы уступок обойтись нельзя, то он терялся перед лицом таких страшных требований и, теряясь, впадал в истерику, начинал неистовствовать, топтать ногами, кричал, что ему нужны военные припасы, танки, белье для армии, а не совдены и не парламенты, что опираться он может только на штыки, а все остальное — праздный разговор.

И вот такому человеку пришлось стать лицом к лицу с взбаламученным крестьянским морем, бушевавшим по всему пространству Сибири. В добавок ко всему, крестьян сибирских он не только не знал, а просто никогда их не видал; сам же он для крестьян представлялся, даже по фамилии, иностранцем, не то чехом, не то мадьяром, так и фамилию его они произносили не „Колчак“, а — „Голчак“, что уже отмечено в „Партизанах“ Всева Иванова. Можно следовательно представить себе, какая драма должна была разыграться в сибирских деревнях, когда этот неизвестный чужеземец с столь странной фамилией приступил к разрешению „проблемы о мужике“.

2.— Легенды о Колчаке.

Русская революция научила нас на практике оценивать роль личности в истории. Сомневаться в том, что личность способна играть крупнейшую роль в общем ходе исторических событий, едва ли теперь кто станет. Все споры, которые мы вели на эту тему в течение последних 20—25 лет, начиная с „Критических заметок“ Струве, облявившего в дни своего увлечения марксизмом, что личность это — *quantité négligeable*, теперь нам кажутся чисто академическими. Жизнь их решила по своему, и спорить с нею бесполезно. Даже люди, мало одаренные теми качествами, которые делают из них „героев“, оказывались способными, в силу своего положения, влиять на ход событий и окрашивать своим именем целые эпохи. К числу такого рода исторических деятелей, несомненно, принадлежит адмирал Колчак, ни по своим дарованиям, ни по заслугам не принадлежащий к сколько-нибудь крупным деятелям и, тем не менее, в силу каприза истории попавший в герои истории.

С Колчаком, как с своего рода „героем“, мы еще долго будем иметь дело. Не важно, что на самом деле в нем не было ничего героического, так как когда в натуре и в характере таких героев не оказывается ничего героиче-

ского, то все, им недостающее, восполняется легендой или по-просту выдумкой, этой страшной силой во время общественной борьбы. И цензовая печать в Сибири усиленно восполняла всевозможными выдумками то, недостающее у Колчака, что мешало ему стать на уровне событий. Того, подлинного Колчака, каким мы его знали и каким он был на деле, она оставляла совершенно в стороне, с ним она не считалась и на место его рисовала свой образ верховного правителя, далекий от действительности, легендарный, но такой, каким бы она желала его видеть. В результате в ее описаниях Колчак рисовался перед нами рыцарем без страха и упрека; о нем говорили, как о человеке, обладавшем глубоким государственным умом, бескорыстным патриоте, неподкупном страже закона, прогрессивно настроенном друге народа. А главное— и об этом писали особенно много—его считали врагом атаманщины и убежденным противником всех тех жестокостей, насилий и тех зверских репрессий, от которых тогда стонала вся Сибирь.

Адмирал Колчак был врагом такой безрассудной политики, и если она допускалась, то только потому, что, занятый чисто военными делами, он не знал, что творится там в глубине страны его же подчиненными, а когда он об этом узнавал, то немедленно принимал самые строгие меры, чтобы прекратить творящиеся безобразия. Таковы были легенды, создавшиеся около имени Колчака. Что это были легенды, даже отдаленным образом не соответствовавшие истинному, реальному характеру и истинной реальной роли Колчака в истории Сибири, это отчасти мы уже знаем. Но нам необходимо еще раз остановиться на их проверке, так как такая проверка вскрыет перед нами некоторые новые стороны в деятельности адмирала Колчака и документально разрешит вопрос не только о его личной ответственности за все, что тогда творилось в Сибири, но и покажет в настоящем свете социальные стимулы его поведения.

3. — Мое свидание с мистером Гаррисом и его результаты.

Когда я перебираю мысленно свои воспоминания о роли адмирала Колчака в декабрьские дни в Омске, я всегда невольно останавливаюсь на своем разговоре об этом деле, который я имел тогда же в том же Омске с американским консулом мистером Гаррисом. Я попал к нему при следующих обстоятельствах. Читатель видел уже из рассказа Н. Ф. Фоминой, до какой степени беспомощными оказывались тогда русские граждане перед бесчинствовавшими русскими же властями. Когда кто-либо из нас чувствовал, что совершается какое-либо злое дело и что нужно предпринять какие-либо срочные меры, дабы предотвратить его, то прежде всего каждому из нас являлась мысль броситься за помощью непременно к иностранцам, к чехам, французам, англичанам, американцам, но только не к русским, а из иностранцев не к японцам. Обычно из такого рода просьб о помощи ничего не получалось, кроме унижения, и тем не менее беспомощность представлялась столь вопиющей, что

за содействием к иностранцам, особенно к чехам, постоянно обращались. В крайнем случае, если помощь уже запаздывала, к иностранцам ходили для заявления протеста против творимых на их же глазах и при их попустительстве безобразий. Приблизительно с этой целью попал и я к Гаррису.

Я пошел к нему не по своей инициативе и даже вопреки своему желанию. Меня просила пойти с ней к Гаррису жена Девятова, С. Ив., о которой так часто упоминается в рассказе Н. Ф. Фоминой. Она хотела во что бы то ни стало подать своего рода апелляцию к американскому общественному мнению, воспользовавшись для этого пребыванием в Омске Гарриса. Не решаясь, однако, идти к нему одна, она просила через некоторых товарищей, чтобы я сопровождал ее в этом визите. Мне было известно, что мистер Гаррис является крупным финансовым дельцом Сев. Америки, что у него в Омске есть какая-то не то русско-американская, не то чисто американская торговая контора, через которую он связан с местными торгово-промышленными кругами, что он здесь ведет довольно большие операции, что по убеждениям он достаточно правый, сторонник Колчака, если не „колчаковец“ вообще. Не скажу, чтобы я шел к нему с большой охотой или чтобы я даже считал нужным этот визит,—мне он казался просто лишним и задевающим чувство национального достоинства,—тем не менее я не счел для себя возможным отказать С. И. Девятовой в ее просьбе. Я видел, как она была подавлена своим горем и как она стремилась огласить всюду, возможно шире весть о трагических событиях этой ночи.

Мистер Гаррис нас принял вполне корректно и даже радушно, что несколько скрапивало наше положение. Говорить с Гаррисом пришлось исключительно мне, притом через переводчика, что являлось уже большим неудобством. Я чувствовал к тому же, что переводчик при всем старании плохо передает Гаррису то, что слышит от меня. Кроме того, в Омске никто не принимал тогда моей версии об „офицерском самосуде“ (не принимала этой версии и С. И. Девятова) и излагать ее при таких условиях было затруднительно. Тем не менее, я постарался развернуть перед Гаррисом всю картину происшедшего массового избиения по большей части совершенно невинных людей и не жалел слов и красок, чтобы охарактеризовать поведение разных генералов, в особенности же Иванова-Ринова.

Гаррис слушал меня сочувственно и с сокрушением покачивал головой. Я уже думал, что я вполне выполнил свой гражданский долг, как вдруг он с оживлением обратился к своему секретарю, служившему нам переводчиком, и начал что-то говорить с ним об адмирале Колчаке, но что, я не мог понять. Оказалось, что мистер Гаррис хотел сказать мне, что все это, конечно, ужасно, что перед этими убийствами безусловно содрогнется вся Америка, тем более, что он с своей стороны сочтет своим долгом довести до сведения своего правительства и американского общественного мнения обо всем, что он сейчас слышал, и в частности о роли командного состава в этой истории, но что он, мистер Гаррис, желал бы вместе с тем знать, как по моему мнению все это произошло, по непосредственному ли приказанию адмирала Колчака или же нет,

т.-е. помимо его. Все это было мне передано с джентльменской вежливостью, и мистер Гаррис, следя за речью своего секретаря, полунаклонился ко мне в ожидании ответа. Я понял, что ему нужно, и в этот момент почувствовал, что все мое красноречие пропало даром, и карта моя бита.

Она была бита, потому что я не мог сказать Гаррису того, что я не думал и не был в праве утверждать, то же, что я мог сказать, в глазах Гарриса как бы оправдывало Колчака. Я должен был указать ему, что все это не делалось с личного, непосредственного распоряжения Колчака, хотя... Но для мистера Гарриса все мои соображения о том, что стоит за этим „хотя“, я видел сразу; были не интересны; для него представлялось важным только то, что даже с моей стороны не выдвигалось утверждения, что адмирал Колчак играл тут такую же роль, как какой-нибудь Иванов-Ринов или ген. Матковский. Следовательно, адмирал, по заключению Гарриса, держал себя, как джентльмен, и не запятнал своей чести бессудными убийствами, ответственность за которые ложится не на него, а на других. И даже больше того, как истинный джентльмен, он не позволит в будущем повториться таким печальным происшествиям и введет русскую жизнь в рамки законности. Словом, пойдет по пути „русского Вашингтона“.

Правда, ничего такого мистер Гаррис не сказал мне прямо, но ясно, ощущалось, что мысль его именно такова. Компрометируя колчаковцев, и таким образом как бы спасая в его глазах репутацию самого Колчака, тогда как в моем представлении, как я его хотел передать Гаррису, центральным ответственным лицом являлись все-таки не „колчаковцы“, а сам он, верховный правитель. Я попытался все-таки изложить Гаррису, как я понимал тут роль Колчака, но он плохо меня слушал, так как мы рассуждали с ним в совершенно разных политических плоскостях. А между тем к этому времени обнаруживались уже факты чрезвычайно интересные и очень важные для оценки в этом деле роли адмирала Колчака.

4.—Диктатура Омского Военпрома¹⁾.

Власть, которая после 18 ноября окончательно установилась в Омске, была военно-кастовой диктатурой. Хозяевами положения являлись верхние слои военных кругов, в частности казачьих, но у них имелся свой социальный базис и вне чисто-военной среды. Имелся также общественно-политический орган, представлявший за этот социальный базис. Таковым базисом являлись, конечно, торгово-промышленные круги, в Омске особенно реакционные, чтобы не сказать прямо монархические. Во всяком случае, легенда о том, что в самом Омске проживает вел. кн. Михаил Александрович и ждет, когда настанет час, в оный его призовут сбросить свое инкогнито и принять бразды правления, твердо держалась в западной Сибири вплоть до воцарения

¹⁾ Омский военпром—военно-промышленный комитет.

Колчака. Колыбелью этих надежд был, как я уже говорил, салон Гришиной-Алмазовой, это прибежище всякого рода дельцов и спекулянтов. Около самого Гришина-Алмазова группировались все наиболее активные деятели тогдашнего правительства, — Гинс, Михайлов Иван, Пепеляев Викт., и др. С ним же были непосредственно связаны торгово-промышленные круги, при чем органом, представительствовавшим от их лица, являлся Омский военно-промышленный комитет.

Военно-промышленный комитет в Омске можно было считать центральной ячейкой торгово-промышленных деятелей в Сибири, это был тоже своего рода диктатор и не только в области хозяйственной. Своим политическим идеологом торгово-промышленные круги выставили Жардецкого, редактора „Сибирской Речи“, которого я уже называл выше коронным публицистом сибирской реакции. Сама идея военно-политической диктатуры вышла именно из этих же кругов и была ими санкционирована дважды: на Омском съезде представителей торговли, промышленности и домовладения в середине июля 1918 г., где ее отстаивал и сформулировал Жардецкий и где ее реальной силой являлся ген. Гришин-Алмазов, принятый съездом с необычайным энтузиазмом; и вторично та же идея, но еще более полно разработанная, была прокламирована на съезде торгово-промышленников в Уфе перед самым Государственным Советом осенью 1918 г. Эта политическая идея вырабатывалась исподволь, но очень энергично с самого начала чехо-словацкого переворота, и к приезду адмирала Колчака в Омск (сент. — окт. 1918 г.) она могла считаться уже полностью всеми усвоенной, оставалось только сойтись на диктаторе.

Жардецкий до того времени, как вообще сибирские цензовики, высказывался за диктатуру ген. Хорвата, в августе 1918 г. провозглашенную А. В. Адриановым в „Сибирской Жизни“, и даже в самый момент переворота эта кандидатура не могла считаться окончательно ликвидированной, так как ее пытались поддержать перед тем Устругов и Востротин, приехавшие в Омск с Дальнего Востока, но сам Жардецкий к этому времени уже оставил мысль о ген. Хорвате и перешел всецело на сторону Колчака. Через Жардецкого торгово-промышленные круги связались с Колчаком, а через самого Колчака сделались фактическими участниками в установившейся диктатуре. Если в момент чехо-словацкого переворота, летом 1918 г., по Сибири ходила острота, что власть перешла к „Закупсбыту“, в виду участия кооперации в общем ходе тогдашних событий, то теперь можно было с гораздо большим правом сказать (с большим, так как роль кооперации в первом случае чрезмерно преувеличивалась), что власть перешла к Омскому военному.

До какой степени Омский военно-промышленный комитет, несколько позже выродившийся в настоящую банду казнокрадов, если не уголовных преступников, вмешивался даже в повседневный обиход правительственной работы, показывает та же история с арестом и судом над „учредилловцами“, и вообще с расправами в декабрьские дни. Нет никакого сомнения, что Жардецкий был в курсе всех тогдашних событий через того же ген. Бржозовского¹⁾, не

¹⁾ См. выше о Бржозовском и Жардецком в рассказе Н. Ф. Фоминной.

говоря об остальных его связях. Омский военпром в эти дни зорко следил, что предпринимает власть для должного возмездия своим врагам, и как только ему казалось, что карающая десница власти подает признаки слабости, он тотчас напоминал о своей диктатуре. Еще в то время, когда „учредилловцы“ находились в тюрьме, до восстания 22—23 декабря, адмирал Колчак принимал особую депутацию от военно-промышленного комитета, в состав которой входили, между прочим, такие столпы организационной деятельности комитета, как Двинаренко, и такие идеологи торгово-промышленных кругов, как тот же Жардецкий. Депутация эта обратила внимание Колчака на медлительность и на слабость, которые проявляет власть в деле суда над „учредилловцами“, на возмущение общественного мнения явным потакательством уличенным уже преступникам и на необходимость безотлагательного и строгого суда над ними. А что мог означать тогда суд над людьми, призванными властью своими врагами было совершенно ясно.

Но роль военно-промышленного комитета в данном случае на одном только этом не кончается. Этим джентльменам из среды мистера Гарриса, которые являлись интеллектуальными виновниками тогдашних событий, неудобно было оставаться простыми зрителями после трагической ночи 22—23 декабря, им нужно было гарантировать участников разыгравшейся тогда расправы не только от наказания—об этом нечего было и беспокоиться, безнаказанность подразумевалась сама собой—но и от неприятностей с оглаской их имен. Излишняя огласка в таких случаях всегда досадна—мало ли к чему она может привести—к тому же расправа над повстанцами и, в особенности, над „учредилловцами“ до такой степени всколыхнула общественные круги, что даже из-за границы пришел тревожный запрос от Маклакова: правда ли, что в Омске произошла такая варфоломеевская ночь.

К несчастью для военпрома, первое следствие по делу об организаторах этой варфоломеевской ночи было поручено, повидимому, добросовестному следователю. Он повел его на первых порах довольно энергично, допросил ряд участников расстрела, снял обширное показание с начальника тюрьмы и даже пытался вызвать к допросу трех генералов: Бржозовского, Матковского и самого Иванова-Ринова. Но на допрос к нему никто из них не явился, что было понятно само собой. Такое рвение следователя, конечно, многим не понравилось, а особенно деятелям омского военпрома, который тотчас же и дал о себе знать. По личному распоряжению Колчака это следствие было приостановлено, и образована новая следственная комиссия во главе с бывшим прокурором Висковатовым, ставленником омского военпрома и участником всех его операций. Это та самая комиссия, в которую меня и приглашал для дачи показаний мин. юст. Старынкевич и идти в которую я отказался, по причинам, и думаю, для читателя теперь вполне понятным. Образовывая эту комиссию, адмирал Колчак знал несомненно, в чьи руки он передаст расследование всего этого дела:—следователями должны были быть сами убийцы.

Недоставало только, чтобы верховный правитель во главе этой комиссии поставил какого-нибудь ген. Матковского или нач. гар-на Бржозовского. Впрочем, и Висковатов не хуже их повел все дело следствия, и этот пожар оказался потушенным в самом начале. В результате все остались довольными:—был доволен адмирал Колчак, ибо он в качестве „русского Вашингтона“ назначил специальную комиссию для беспристрастного расследования всего дела об убийстве „учредилловцев“ и мог об этом спокойно телеграфировать в Париж своему посланнику Маклакову; были довольны ген. Иванов-Ринов и Матковский, ибо их-то Висковатов не стал бы беспокоить излишними вызовами для дачи показаний; было, довольно, общественное мнение цензовых кругов, ибо все видели, как верховный правитель подавлял атаманщину и смело шел по пути насадителя законности; было, наконец, довольно и общественное мнение Старого и Нового света в лице мистера Гарриса, ибо оно, в образовании комиссии Висковатова видело авторитетное подтверждение, что в лице адмирала на пост верховного правителя вступил настоящий джентльмен. Оставалось бить в барабаны и провозглашать, что адмирал есть рыцарь без страха и упрека.

5.—Князь Кропоткин и его земельная программа.

Торгово-промышленные круги представляли собою не единственную социальную базу для правительства Колчака. Второй основой для него, и едва ли еще не более влиятельной, являлись крупно-землевладельческие и вообще помещичьи круги, главным образом поволжские и уфимские, иначе говоря, беженцы-помещики, перекочевавшие после падения Самары, Казани и Уфы с Волги на Иртыш, на Обь и дальше к Енисею, вплоть до самого Дальнего Востока. Идейным вождем их и заступником являлся князь Кропоткин, бывший крупный помещик Казанской губ., осевший в Омске во время этого великого переселения поволжских зубров. Он был очень типичен, этот князь-беженец, искавший, где преклонить главу свою. Я его видел на разных собраниях, то в ученых обществах, то на литературно-политических открытых собеседованиях, где читались рефераты на тему о „Бесах“ Достоевского. Себя князь, конечно, не причислял к тем бесам, которые, вселившись в стадо свиней, заставили их броситься в пропасть безнадежности. Глядя на него, я почему-то вспоминал вообще не „Бесов“, а князя Тугоуховского из „Горе от ума“ Грибоедова, и не потому, чтобы кн. Кропоткин был очень глух или очень стар и беспомощен. У него, напротив, еще оставался порох в пороховницах, и он представлял собой не беспомощного рамоли, а тип воинствующего дворянина, готового всегда броситься в бой, но крайней мере словесный, за дворянские интересы.

Князь Кропоткин был хороший оратор, говорил красиво и охотно, с энергией, обладал склонностью полемизировать и умел придавать культурный вид своим панегрикам крупному землевладению. И вместе с тем во всех его выступлениях и даже на самой фигуре его лежала какая-то неуловимая

печать от генеалогического древа Тугоуховских:—он был очень туг на ухо к веяниям и требованиям современности. Какое-то дворянское вырождение олицетворялось всей его фигурой,—иссохший, высокий и худой, „облезлый барин“, как в „Вишневом Саду“ Чехова, он мог бы представлять собою хорошую дворянскую мумию в каком-нибудь музее революции, особенно рядом с упитанными и краснолицыми деятелями из военно-промышленного комитета, ныне наверное ставшими „нэпманами“.

Теория, с которой обычно выступал кн. Кропоткин, тоже не блистала новизной и оригинальностью; он умел только, благодаря ораторскому таланту, обставлять ее замысловатым гарнитуром, из-под которого не сразу было видно, к чему он собственно клонит. Обыкновенно князь,—и в этом заключался самый главный его козырь,—защищал не дворянские интересы, а крестьянские, и защищал с пафосом, красноречиво и даже вдохновенно. Он легко жонглировал цифрами и аргументами и рисовал с большим умением картину крестьянского малоземелья и особенно крестьянского бесправья, которое он понимал, впрочем, весьма своеобразно. Временами он поднимался на такие головокружительные высоты и попадал в такие сферы, что становилось страшно, как он оттуда спустится на землю. Но все кончалось благополучно, с любой высоты князь мог спланировать обратно вниз с искусством опытного летчика, держа курс всегда на одну и ту же точку:—на установление мелкой, но твердой, с правами распоряжаться ею, как знаешь, земельной собственности.

Из больших помещиков сделать маленьких или, еще лучше, средних помещиков, способных оплатить большим помещикам все их протори и убытки, такова была земельная программа красноречивого князя Тугоуховского. Собственность, вот что воодушевит крестьян на борьбу с революцией. Права земельного собственника, каковых они до сих пор лишены, вот чего крестьянам не доставало и что нужно дать им, русским землепашцам. Лучшее всего этой цели можно достигнуть закреплением за ними наделных земель, ну и части помещичьих за соответственное вознаграждение, хотя в общем предпочтительнее ограничиться наделными землями, вознаграждение же помещиков приурочить к перенесенным ими убыткам и лишениям при самовольном захвате крестьянами земель. Крестьяне легко согласятся на эти платежи, так как в результате они сами станут полными собственниками, тогда как теперь они лишены прав собственности на свои земли.

Таким образом, своей земельной программой князь убивал сразу трех зайцев. Во-первых, он выступал в ней, как настоящий демократ, защищая мелкую собственность и нападая на бесправие крестьян, до сегодня не имевших „прав“ собственности; во-вторых, он оставался верен прежним традициям просвещенного консерватизма, ярко защищая земельную собственность в принципе; и в третьих, он удовлетворял интересам крупных помещиков, убеждая их быть возможно более тугими на оба уха при тяжбе с крестьянством из-за своих земель. Хватит мужикам и их наделных земель, стоит только установить на них права собственности, земли же помещичьи останутся у помещиков.

На этих трех струнах князь-беженец и разыгрывал с большим талантом всевозможные арии на огромном пространстве от Омска до Владивостока, а может быть и дальше. На этих же трех китах построило свою земельную программу и правительство адмирала Колчака, что и не представлялось удивительным, — эти „Толчаки“ сами происходили из рода князей Тугоуховских.

6.—Правительство о земельном вопросе.

Декларацию по земельному вопросу правительство Колчака издало очень поздно, лишь весной 1919 г., в апреле месяце, когда крестьянские восстания в Сибири находились уже в полном разгаре. Из всех законодательных актов этот акт являлся у Колчака едва ли не самым неудачным, если, впрочем, не отдать в этом отношении пальму первенства финансовым мероприятиям Михайлова и фон-Гойера, убившим сибирскую денежную единицу вместо того, чтобы ее поддержать, и обогатившим дальне-восточных спекулянтов, в прямом общении с которыми стоял сам фон-Гойер через Русско-Азиатский Банк.

Сибирь—страна, не знавшая никогда крупного поместного землевладения, это ультра-крестьянская окраина. Городское население ее составляет не больше 1%, а вне городов в частной поземельной собственности по некоторым губерниям находится всего 0,8—0,9% общего количества земель. Крестьянство в Сибири не знало также и мелкой земельной собственности в кропоткинском смысле и в этом отношении являлось в полном смысле „бесправным“, хотя едва ли такой формой бесправия особенно тяготилось. В Сибири есть, конечно, свои трудности в решении земельного вопроса, но это трудности не такие, как в Европ. России. Там, в Европ. России, трудности в решении земельного вопроса проистекают из наличия целого ряда социальных конфликтов в среде сельско-хозяйственного населения, из борьбы крупного земельного собственника с арендатором и мелким трудовым крестьянством. Здесь же, в Сибири, земельный вопрос осложняется не столько наличием разных социальных групп и классов, сколько наличием разных племенных и сословных делений (казаки и инородцы) с типичным для них неравномерным распределением земель. Разрешение земельного вопроса здесь, как, впрочем, и в Европ. России, должно было бы идти не по линии укрепления начал частной поземельной собственности, хотя бы и мелкой, а в расширении и укреплении государственного фонда и в регулировании земельных прав отдельных групп населения. Все это устранило бы некоторые привилегии и привело бы к более равномерному распределению земель между трудовыми слоями населения. Но этот путь есть путь обобществления, социализации земли, на который правительство Колчака никак не могло встать, так он далек был от директив, преподанных ему теми кругами, представителем которых в Омске был кн. Кропоткин.

Вступив на него, правительство столкнулось бы с социалистическими программами разрешения земельного вопроса, тогда как вся его деятельность

была направлена, начиная с осени 1918 г., на всестороннюю борьбу с социалистами и с социалистическими утопиями. Чрезвычайно знаменательно в этом отношении, что во главе ведомства земледелия стоял в Сибири все время, и при правительстве Вологодского и позже при Колчаке, самый ярый социалистоед, открытый и воинствующий паладин реакции, министр земледелия Петров, бывший переселенческий чиновник, то-есть воспитанник ведомства, всегда отличавшегося глубоким бюрократизмом. В составе совета министров Петров принадлежал к группе Ив. Михайлова и являлся там неизменным застрельщиком и инициатором всякого рода мероприятий против социалистов. Свои речи на эту тему Петров строил буквально по типу: — Доколе Катилина будет злоупотреблять нашим терпением. Большевики его не интересовали, для него это была пройденная ступень, и все свое негодование, всю свою ярость он сосредоточил на более умеренных социалистах и на их земельной программе. Конечной задачей его, как бы он ни маскировал свои взгляды,—а он в этом отношении далеко не обладал таким талантом, как кн. Кропоткин,—являлась реставрация крупной поземельной собственности и вопрос для него, как и вообще для правительства Колчака, мог состоять только в том, как это сделать с наименьшим шумом и с соблюдением некоторых демократических аппаратов, совершенно отказаться от которых представлялось ему не совсем все-таки удобным. Князь Кропоткин и те помещичьи круги, которые объединились вокруг него, помогли в этом отношении Петрову своим опытом и своим талантом, двумя вещами, которых министру особенно не доставало.

Министерство земледелия за это время (зима и весна 1918—1919 г.г.) прямо кишело помещичьими беженцами из поволжских губерний. Правда, кроме ведомства земледелия, у них имелся еще один приют, более даже важный, это — ставка Колчака, где лидером помещичьих беженцев являлся ген. Лебедев, начальник штаба верховного главнокомандующего. Ген. Лебедев свою аграрную программу строил прямолинейнее, чем кн. Кропоткин, как это впрочем полагалось военному человеку. Он прежде всего исходил из того факта, что в добровольческих армиях много офицеров из числа бывших помещиков, интересы которых и должны были прежде всего, по его мнению, приниматься во внимание при разрешении аграрного вопроса. В течение зимы 1918—1919 гг. помещичьи беженцы слетелись в Омск, как пчелы на мед, и жужжание их разносилось далеко по всей Сибири, раздражая не только народные массы, но и ближайших помощников Петрова из числа не совсем тугих на ухо по отношению к урокам жизни. Характерно в последнем отношении письмо в редакцию „Зари“ Яшнова, занимавшего видное место в министерстве земледелия,— атмосфера, которая там установилась, приводила его почти в содрогание. Боевым вопросом в ведомстве земледелия за эту зиму являлся, безусловно, вопрос о судьбе захваченных крестьянами помещичьих земель. Что с ними делать? в чьих руках оставить владение и пользование ими, и как при этом удовлетворить интересы бывших владельцев? Около этих вопросов вращались все споры, на попытки разрешить их так, чтобы волки были вполне сыты, если даже овцы немного и пострадают, шли все усилия. Примирить возникавшие

при этом конфликты оказывалось не так просто:—то боялись слишком уж задеть овец, то волки находили свои аппетиты не удовлетворенными.

За всю зиму 1918—1919 гг., когда по всей Сибири все нарастало и нарастало крестьянское движение и становилось ясным, что и овцы не так уж бессильны и готовы к самозащите, правительство в сущности ничего не сделало для выработки даже основных начал решения земельного вопроса. Ему не с чем было бы явиться перед крестьянами, если бы пришлось разговаривать с ними лицом к лицу, не прячась в канцеляриях и колчаковской ставке, игравшей роль настоящей „Звездной Палаты“, в которой недоставало только Распутина, хотя распутства было очень много. Наконец, в апреле месяце 1919 г. появилась долгожданная правительственная декларация по земельному вопросу, декларация, долженствовавшая со временем сделаться законом. Сущность ее оказалась очень простой и могла быть выраженной в нескольких словах.

Правительство заявляло в декларации что—„все, в чем пользовании земля сейчас находится, все, кто ее засеял и обработал, хотя бы не был ни собственником, ни арендатором, имеют право собрать урожай“. Это—самая важная часть правительственной декларации, всё остальное в ней представляло те или иные вариации мыслей в духе кн. Кропоткина о великой пользе для крестьян мелкой поземельной собственности с суровым напоминанием что—„впредь никакие самовольные захваты ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих земель допускаться не будут“.

Таким образом, крестьяне могли в 1919 г. спокойно засеивать свои поля, так как урожай во всяком случае должен был принадлежать им, на чьих бы полях ни был произведен засев, на землях ли бывших помещечьих и перешедших теперь к крестьянам, или на землях наделных. В обоих этих случаях урожай оставался за крестьянами, так по крайней мере следовало по смыслу правительственной декларации. Но будет ли крестьянам после этого принадлежать также и земля, на которой был сделан посев, этот вопрос в декларации оставался открытым, декларация на него ничего не отвечала; там имелось глухое обещание, что „правительство примет меры для обеспечения безземельных и малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь помещичьей и казенной землей, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян“, при чем „законодательные акты об упорядочении земельных отношений, о порядке временного использования захваченных земель, о последующем справедливом распределении их и, наконец, об условиях вознаграждения прежних владельцев“,—правительство обещало издать в ближайшее время. Однако, мин. землед. Петров счел нужным, не дожидаясь их пояснить в интервью в „Сиб. Речи“, что решение всех этих вопросов будет зависеть от соотношения общественных сил. Это было очень авторитетное пояснение, но едва ли особенно дипломатичное.

О каких силах говорил министр земледелия? Очевидно, о тех, которые в этом случае издавна противостояли друг другу, как только заходил вопрос о воле и о земле: о силе помещиков и о силе крестьян. После разь-

яснения, данного министром Петровым, крестьянам оставалось, очевидно, сделать только один вывод из всей правительственной декларации по земельному вопросу,—именно: чтобы иметь землю, надо иметь за собою силу, ибо если не будет силы, то не будет и земли. По крайней мере, в таком роде мною было сделано разъяснение для крестьян правительственной декларации в № 9-10 „Нов. Земск. Дела“ в особой статье по земельному вопросу, встреченной кадетской прессой с обычным ее озлоблением. „Рассвирепевшие лавочники“ не могли спокойно выносить таких комментариев и разразились по моему адресу филиппиками, граничившими с прямым доносом ген. Розанову, который и без того не дремал на своем посту.

Но, кроме сделанного выше вывода, сибирское крестьянство должно было специально задумываться над некоторыми положениями правительственной декларации. Из-за чего в самом деле приходилось воевать сибирскому мужику с российскими большевиками? Из-за того, чтобы поволжские и уфимские помещики могли спокойно вернуться в свои гнезда, забрать себе снова потерянные вотчины, да вдобавок еще взыскать со своих освободителей все протопи и убытки, нанесенные им во время революции, этого дурмана, напущенного на святую Русь сионскими мудрецами. А что дело тут шло о такой именно реставрации, в этом не могло быть никакого сомнения. Правда, сама правительственная декларация по всем этим пунктам уклонялась от прямого ответа, и даже что-то такое путала о необходимости воспользоваться в первую очередь помещичьей и казенной землей для обеспечения безземельных и малоземельных крестьян. Но ведь это только говорилось, при том говорилось людьми, в сущности не имевшими реальной власти поставить на своем, если уже предполагать, что они имели желание, в чем можно сомневаться, поступить так, как они говорили. Реальной силой в правительстве Колчака, как вообще, так в частности и при решении земельного вопроса, обладала вовсе не гражданская власть, в данном случае не министерство земледелия, сколько бы оно ни отличалось в социалистическом, а силой такой обладала ставка Колчака. Со стороны же ставки даже правительственная декларация по земельному вопросу встретила совершенно определенную оппозицию, и от ее лица ген. Лебедев официально опротестовал принятые положения, как слишком революционные, и отказался впредь даже посещать заседания совета министров, где он представлял военное министерство. К протесту ген. Лебедева тотчас же присоединились мив. финансов Михайлов и мин. иностр. дел Сукин. Не пожелавши принять даже такой умереннейшей декларации, ставка не стала вообще дожидаться, когда правительство выработает свои крамольные законы о формах землевладения, и там, где армия Колчака занимала новые территории, ставка в этих местах прямо восстанавливала старых владельцев во всех их правах. Так было, напр., в Вугурусланском уезде Уфимской губ., и результаты такой политики быстро начали сказываться,—в ближайшем же тылу армии Колчака начали вспыхивать крестьянские восстания.

Да и вообще, каким надо было быть глупцом, чтобы думать, что на эту удочку восстановления помещичьей собственности пойдет сибирский крестьянин,

как старожил, не знавший крепостного права, так и переселенец, бежавший от помещичьего угнетения на вольное житье в Сибирь. Никакого успокоения в этом отношении декларация не внесла в среду крестьян, напротив, она показала, что у крестьянства нет никаких средств разрешить земельный вопрос вне постановки его на почву революционной борьбы. Сама жизнь давала на каждом шагу предметные иллюстрации к словам министра, что вопрос о формах землевладения разрешится в зависимости от соотношения сил, в зависимости от борьбы разных общественных групп. Борьба эта и началась с новой энергией и еще невиданным подъемом и организованностью. Крестьяне напригали все усилия для поединка с правительством, правительство мобилизовало все, что могло, для подавления крестьянского движения. Адмирал Колчак вступил в открытую гражданскую войну с крестьянами, и в деревнях разыгрались сцены еще более потрясающей жестокости, чем в городах. Сибирь оказалась залитой кровью, как Украина во времена Скоропадского,—шла тризна по дворянском землевладении, похороненном русской революцией.

7.— В Красноярске при ген. Розанове.

Наивысшего развития борьба адмир. Колчака с крестьянским движением достигла в Енисейской губ., которая была тогда наиболее беспокойной частью Сибири. То, что делалось здесь властью, представляет собою как бы квинт-эссенцию общего положения в Сибири, даже включая сюда Дальний Восток, где необычайно методической жестокостью при усмирении крестьянских восстаний отличались японцы.

В начале марта или самом конце февраля в Красноярске, главном городе Енисейской губернии, появляется особый уполномоченный адмир. Колчака для борьбы с крестьянством, ген. Розанов. Его карьера была по тому времени характерной. В 1918 г. он служил у большевиков в Самаре, но изменил им и перешел на сторону Самарского правительства. Как говорили, он способствовал тому, что большевикам пришлось оставить в Самаре свою артиллерию. Потом, во времена директории, ген. Розанов появляется в Омске, где я услышал о нем впервые в октябре 1918 г., вернувшись с Дальнего Востока. Позже я ясно вспомнил, как один из моих знакомых приглашал меня к ген. Розанову и между прочим сказал: „Это совсем свой человек“.

Этот свой человек занимал в то время ответственный пост: он был начальником штаба у ген. Болдырева, члена директории и главнокомандующего всеми вооруженными силами. На этой же должности застал ген. Розанова переворот 18 ноября, в тайны которого он, повидимому, не был посвящен. Но крайней мере во время ночного заседания совета министров после ареста членов директории, когда был поставлен вопрос о диктатуре и диктаторе, ген. Розанов, заменявший в этом заседании своего начальника, ген. Болдырева, голосовал один против кандидатуры Колчака и подал голос, правда, ссылаясь исключительно на традиции военной дисциплины, запрещающей выступать

подчиненному против своего начальника, за диктатуру ген. Болдырева. После этого ген. Розанов на время сходит со сцены. Я не знаю, что он делал в первые два-три месяца правления Болчака, но затем в конце февраля или начале марта он появляется в Красноярске с полномочиями местного диктатора.

Одновременно с ним в Красноярск прибыл ротмистр Крашенинников, определенный и открытый монархист, бывший секретарь газеты „Русская Армия“, устраненный оттуда за какую-то историю, чуть ли не связанную с денежной растратой. В „Русской Армии“ Крашенинников между прочим прославил себя резкой статьей против чехов, заглавие которой я не помню, но знаю, что оно было каким-то очень красочным¹⁾. Как и полагалось для монархиста, Крашенинников был сторонником японской ориентации, как в международных, так и во внутренних вопросах. Рассказывали, что Крашенинников отказывался от повышения в чинах, ссылаясь на то, что это прерогатива монарха, из рук которого он только и может получить следующий чин. У ген. Розанова этот принципиальный монархист занимал боевой пост начальника контр-разведки, вполне подходивший и к его убеждениям, и к его склонностям, и к уровню его нравственного развития.

Кроме Крашенинникова, большую роль при ген. Розанове играл начальник его штаба, профессор военной академии в Томске по тактике, позже сыгравший роль „сибирского Сладцева“.

Ген. Розанов был ленив и много пил; по внешности производил впечатление человека неряшливого, по характеру—необузданного и жестокого; у него было типичное армейское лицо и тяжелая походка настоящего палача. Напротив, начальник его штаба отличался энергией, умом и умением держать себя, как джентльмен. Если он и вешал людей, то в перчатках, как и подобает культурному человеку. Из местных офицеров в эту же компанию входил пор. Коротков, бывший „революционный полицеймейстер“ Красноярска, а в розановское время начальник отряда особого назначения. Обычно он совершал смертные приговоры над заложниками, выносимые штабом ген. Розанова, и при этом действовал без перчаток. Это был человек жестокий, физически очень сильный, по готовности на всякое преступление очень опасный, по натуре—просто разбойник.

В таком приблизительно составе (Розанов, нач. его штаба, Крашенинников, Коротков) эта компания приступила к борьбе с мятежниками, как они выражались, в Енисейской губ. и в частности в самом городе Красноярске. Эта четверка очень скоро показала свои когти, залила город и губернию кровью и напитала ужасом сердца обывателей. С появлением их на сцене начались в Красноярске черные дни и страшные ночи. О том, что тогда происходило, я могу говорить, как близкий свидетель, день за днем переживавший эти крестные муки на Красноярской Голгофе.

¹⁾ Что-то вроде „Гастролеры революции“.

Из Омска я прибыл в Красноярск в самом начале февраля 1919 г. и на этот раз и пробыл в нем довольно долго, весь февраль, март, апрель и почти весь май. Как общее правило, я не проводил в то время в одном месте больше одного — двух месяцев, но здесь мне удалось прожить подряд чуть не треть года. Уже одно это представляло для меня целое событие, — благодаря тому, что я так долго пробыл на этот раз в Красноярске, вся почти деятельность ген. Розанова прошла перед моими глазами. Я имел о нем богатую информацию из таких источников, о которых он и не мог подозревать, что также облегчало мое положение и заставляло меня держаться за Красноярск до последней минуты. Для того, чтобы читателю стали понятны бытовые условия тогдашней красноярской жизни, а также и то, каким образом мне удалось пробыть так долго в Красноярске, несмотря на воцарившийся террор, я должен здесь сделать несколько добавлений к сказанному выше.

Характернейшей чертой тогдашней красноярской жизни, как и вообще жизни сибирской, было — многовластие. Так в Красноярске, кроме русской администрации, существовала еще полувоенная администрация чехо-войск. Это была тоже власть и власть в некоторых отношениях более серьезная, чем власть русская. Когда я прибыл в Красноярск, в городе, а также и губернии, в особенности вдоль железной дороги, была расположена 3-ья стрелковая чехо-словацкая дивизия во главе с полк. Ирхала при начальнике штаба майоре Квациле. Эта дивизия являлась наиболее дисциплинированной из всего состава чехо-войск и наименее разложившейся. Начальник ее полк. Ирхала представлял собою типичного австро-немецкого офицера, человека еще молодого, не свыше 27 — 28 лет, но с кастовой военной психологией, по внешности культурного. Среди солдат он не пользовался популярностью.

Кроме военного начальства, в Красноярске находилось политическое чешское представительство, пользовавшееся в городе серьезным весом. Наконец, имелась еще чешская контр-разведка, хорошо поставленная и энергично действовавшая: — в тюрьме тогда одних чехов содержалось около 40 чел., в большинстве случаев по политическим обвинениям. Комендантом в тюрьме был тоже чех, — Кнапп, являвшийся фактическим хозяином тюрьмы. Наличие чехов в Красноярске, обладавших в городе несомненной властью, осложнила положение ген. Розанова и заставляла его в некоторых случаях сдерживать свой пыл и рвение своих помощников.

Одновременно с чешской контр-разведкой и контр-разведкой Крамепяникова в городе было еще две контр-разведки, одна штатская, другая военная, но обе чисто политические. Управляющим губернией был тогда П. С. Троицкий, бывший член суда, не то октябрист, не то правый кадет, жаждавший принять участие в административной работе и наконец добившийся этого. У него имелась своя контр-разведка, называвшаяся управлением по государственной охране. Во главе ее стоял полк. Рудов, бывший жандармский офицер, который на допросах применял пытки и побои.

У полк. Рудова была по счету третья контр-разведка. Четвертой являлась контр-разведка при местном штабе, она собственно и обладала

более или менее налаженным аппаратом, которого была совершенно лишена контр-разведка Грашенинникова. Наконец, ко всему этому можно бы прибавить еще местную милицию и отряд особого назначения, которые играли роль как бы пятой контр-разведки. При таком обилии розыскных органов между ними неизбежно возникло соревнование и соперничество с обычным в таких случаях стремлением портить работу конкурентов, что представляло для человека, находящегося в моем положении, факт чрезвычайно благоприятный. С другой стороны, так как я был местный человек, имел в городе и губернии сравнительно большие личные связи, и за мной стояла довольно крупная по местным условиям популярность,—то всем этим я тоже мог пользоваться. Все это дало мне возможность завести связи почти во всех этих учреждениях, благодаря чему и мог быть хорошо осведомленным, что там делается, и в частности, не предпринимается ли что-либо непосредственно против меня. Были, впрочем, у меня еще информаторы, от случая к случаю, весьма близко стоявшие к ген. Розанову, об одном из числа их и ниже сообщаю более подробные сведения¹⁾.

Но вообще это было тяжелое и глухое время. Партийные организации, как в городе, так и в губернии замерли, были разбиты и почти бездействовали. Легальной прессы не существовало, за нелегальную почти никто не брался. Вся революционная жизнь ушла куда-то вглубь, в подполье, на открытой арене никого не осталось. Атмосфера была пропитана террором, на всем лежала печать безнадежности и безверия. Так было в городах, несмотря на то, что деревни бурлила и волновалась. Чуть-чуть теплилась жизнь и в органах самоуправления, хотя абсентеизм здесь дошел до максимальных размеров. Браться при таких условиях за нелегальную и чисто конспиративную работу я не считал для себя рациональным, она грозила быстрым провалом и безрезультатной тратой сил.

С другой стороны, нестерпимо было сидеть молча при этом диком разгуле реакции и торжестве „расширивших лавочников“. Я предпочел поэтому, не связывая себя нелегальной работой, вести открытую агитацию против порядков, установленных ген. Розановым и его помощниками. Я полагал, что до поры до времени, в силу некоторых особенностей моего положения в этом районе, администрация не рискнет предпринять против меня особо репрессивных мер и не сразу пойдет даже на простой арест. Арест вызвал бы шум, разговоры, заставил бы считаться с разными протестами и, вообще, повел бы к некоторым осложнениям в положении, и без того достаточно сложном. Тут имелся, правда, элемент риска, но я рассчитывал, что гласный и открытый протест, сопровождаемый разоблачениями определенных лиц и прежде всего самого ген. Розанова, окупит по своим последствиям всякий риск, так как будет иметь больший морально-политический вес, чем возможная при данных условиях конспиративная работа. Мне казалось также, что как ни рискованна

¹⁾ См. дальше, очерк IV, гл. 10-ая „Кап. Шемякин о судьбе Бориса Моисеевко“. Кап. Шемякин был нач. штаба у атамана Красильникова.

подобная тактика открытых нападений, она наиболее целесообразна и в том смысле, что этим путем легче всего встряхнуть окружающее терроризированное общество, заставить его зашевелиться и начинать собирать силы для дальнейшей политической борьбы.

Организационной ячейкой в этом случае я полагал сделать органы местного самоуправления, так как они оставались пока нетронутыми правительственной ломкой (особенно земства); они стояли в близких отношениях с крестьянством и в них ютилось много лиц, так или иначе связанных с социалистическим движением в стране.

Я не искал непременно партийных единомышленников, мне не представлялось даже важным, чтобы все такие люди являлись обязательно социалистами, пусть они будут только демократы, но лишь искренне настроенными и не желающими мириться с политикой, исходящей из Омска. Этого для меня было достаточно, чтобы попытаться собрать такие силы на открытой арене и организовать их для революционной по существу работы. Параллельно этому нелегальные партийные организации могли вести свое дело по сплочению чисто революционных и социалистически настроенных сил, а в нужный момент было бы нетрудно слить обе эти ветви одной и той же по существу деятельности и направить их одним потоком на разрушение установившегося порядка и создания нового строя. Такой план работы я наметил себе в Красноярске частью сознательно, частью он сам собой, стихийно, создавался у меня и раньше; но в Красноярске, благодаря ген. Розанову, обстоятельства сложились так, что принятую тактику мне пришлось довести до максимального напряжения, чтобы только в самый последний момент уйти из-под настигавшего уже меня удара.

8.— По чьим директивам действовал ген. Розанов.

Едва ген. Розанов основался в Красноярске, как он начал проявлять себя в роли диктатора и усмирителя. Как помнит читатель, в это время положение в губернии представлялось достаточно напряженным. — „Здесь работали,—по заявлению одного официального лица,—скрывшиеся в тайге коммунисты и пользовавшиеся личной безопасностью мятежные эсеры“. Работа их не была безрезультатна. Когда ген. Розанов прибыл в Красноярск, он застал такую картину общего положения по губернии: на самом важном „камарчатском“ фронте у правительственных войск дела обстоят далеко не блестяще: весь юг Канского и Красноярского уу. для них являлся непроходимым: кроме того, в этот же момент был взят повстанцами гор. Енисейск; затем отложились от губернии Тасеевская республика, а в Ачинском районе давно уже действовали отряды, или „банды“, как их называла пресса, Щетинкина. Для ген. Розанова открывалось обширное поле деятельности, он мог в большом масштабе развернуть свои административные и военные таланты и оправдать доверие, оказанное ему адмиралом. Чтобы проявить свое

рвение, у ген. Розанова могли быть и личные мотивы:—все-таки он голосовал когда-то против Колчака, необходимо было сгладить это досадное воспоминание и доказать, что адмирал не ошибся в своем выборе, назначал его на такой ответственный пост. К такого рода доказательствам ген. Розанов приступил без замедления.

Недели через две после своего вступления в должность, ген. Розанов издал чрезвычайно красноречивый „Приказ“ начальникам военных отрядов, действовавших в районе восстаний по Енисейской губернии. Приказ помечен 27 марта 1919 г. и предназначался на местах „к неуклонному исполнению“. Всего в этом приказе 7-8 параграфов, кратких и лапидарных, не всегда грамотных, но чрезвычайно содержательных. В первом же параграфе говорится буквально следующее ¹⁾:

— „При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются,—расстреливать десятого“.

То же самое в последнем параграфе: — „как общее руководство помнить: на население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть, как на врагов, и расправляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки, причиненные военными действиями той части населения, которая стоит на стороне правительства“.

Кроме этого, в параграфе 2-ом говорилось: — „селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, — сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и т. д. отбирать в пользу казны“.

Итак, вот меры борьбы с повстанцами,—расстреливать десятого; расправляться беспощадно; расстреливать всех мужчин поголовно; деревни сжигать. Поголовное истребление взрослого мужского населения! До ген. Розанова так действовали японцы на Дальнем Востоке и в Забайкалье. А до японцев так действовали варвары во главе с каким-нибудь Атиллой. Когда было нужно, то таким же образом поступали и европейцы где-нибудь в колониях, но все они применяли такие меры умирения над иноземцами. Ген. Розанов пошел дальше их и решил поголовно истреблять своих соплеменников, если только они тайно или явно выражали хотя бы сочувствие „разбойникам“. Но вместе с тем он был настолько гуманен, что поголовное истребление мужского населения предписывал только при открытом сопротивлении, в остальных же случаях находил возможным ограничиться не столь крайними мерами. Не истребляя население, можно ведь было брать с него заложников. Поэтому в параграфе 6-ом „Приказа“ мы читаем:

— „Среди населения брать заложников; в случае действий односельчан, направленных против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно“.

¹⁾ В другом своем приказе, требуя энергичного и беспощадного преследования мятежников, ген. Розанов писал:—„за вялость и бездействие буду предавать военно-полевому суду, как потворствующих разбойникам“. Приказ от 26 марта.

Вместе с тем предлагалось—„объявить населению, что за добровольное снабжение разбойников не только оружием и боевыми припасами, но и продовольствием, одеждой и пр. виновные селения будут сжигаться, а имущество их отбираться в пользу казны. Население обязано увозить все свое имущество или уничтожать его во всех тех случаях, когда им могут воспользоваться разбойники. За уничтоженное таким образом имущество населению будет уплачиваться полная стоимость деньгами или возмещаться из реквизированного имущества разбойников“.

Помимо этих мер, предписывалось брать контрибуции с лиц, хотя бы косвенно помогающих „разбойникам“; затем такие же денежные контрибуции, но за круговой порукой, взыскивались с крестьян, если они по собственному почину не доносили правительственным отрядам об известном им местонахождении противника ¹⁾).

Таковы были приказы ген. Розанова о борьбе с повстанцами и об отношении правительственных отрядов к населению. Как эти приказы проводились в жизнь, ниже мы увидим, но предварительно необходимо поставить еще один вопрос, без которого все приведенные факты потеряют большую часть своего политического значения. Это вопрос такого рода: — по чьим собственно директивам действовал ген. Розанов в данном случае? За время своего властвования в Красноярске, ген. Розанов неоднократно подчеркивал, что он действует так, как сам считает наиболее целесообразным для успокоения губернии. Из этого выводили заключение, что ген. Розанов просто самодурствует, превышая данные ему полномочия; что он компрометирует власть, не понимая сущности политической системы, намеченной себе для руководства верховным правителем. Так вопрос ставили и некоторые представители администрации, напр., упоминавшийся выше управляющий губернией Троицкий. Все эти лица старались противопоставить авторитет адм. Колчака ген. Розанову, чтобы снять с адми-

¹⁾ После этого приказа ген. Розанов издал „Обязательное постановление“ об охране железной дороги. В нем говорится: „Мятежники нападают на поезда и разрушают железнодорожный путь. Их задача задержать подвоз товаров с востока, которые так нужны и деревне и городу. Сельское население деревень безразлично относится к такой деятельности мятежников, которые нередко живут в деревнях близ железной дороги и отсюда нападают на железно-дорожные станции, портят путь и устраивают крушения поездов. Крестьяне должны мятежников из селений выдавать властям, а дорогу всемерно охранять. Чем скорее сельские общества помогут это сделать, тем скорее в уезде установится порядок и мирный труд. Так как добровольно этого сельские общества не хотят делать, то я должен принять решительные меры и издать следующее обязательное постановление“. Далее следует самое постановление из 14 пп., которым устанавливается настоящая крепостная повинность всех крестьян придорожной полосы по охране магистралей. Надзор за дорогой устанавливался „непрерывно днем и ночью“ с суровыми карами за нерадивость. За каждое крушение поездов крестьяне несли ответственность, либо денежную, либо „с преданием военно-полевому суду“, с усилением наказания по 90 ст. закона 18 февр. 1919 года (до смертной казни). — В этом приказе лучше всего официальное признание, что правительству крестьяне „добровольно“ помогать не желали, а мятежникам помогали.

рала ответственность за действия его уполномоченного, слишком дикие, чтобы их можно было защищать.

Это обычная в то время вариация легенд об адмирале Колчаке, приблизительно такая же, как созданная в Омске в декабре 1918 г. о непричастности его к тогдашним массовым убийствам и гибели Н. В. Фомина. Не адмирал там давал приказания об убийствах, не адмирал ответствен за них. Как обстояло дело с ответственностью адмирала Колчака за омские убийства, мы уже знаем, и возвращаться к этому нет никакой нужды. Что же касается до борьбы с крестьянами, возложенной им на плечи таких людей, как ген. Розанов, то здесь у Колчака нет даже того относительного оправдания, тени которого все-таки проскальзывает в омской драме: — здесь именно он сам, непосредственно, давал все те директивы, которые его помощниками на местах, в том числе и ген. Розановым, в точности проводились в жизнь. Адмирал Колчак играл тут не пассивную, а чисто активную роль, лишь скрытую от нас легендами, так усиленно о нем распространявшимися. Есть и документы, говорящие об этом активизме адмирала, которые в свое время мне пришлось огласить на достаточно многолюдном собрании ¹⁾.

Весной 1919 г. мне был доставлен „Приказ“ начальника гарнизона гор. Енисейска пор. Толкачева от 3 апреля за № 54, в котором пор. Толкачев опубликовал полученную им от командующего войсками иркутского военного округа ген. Артемьева телеграмму, датированную 23 марта за № 0175—632. Так как эта телеграмма представляет собою чрезвычайно интересный исторический документ, то я привожу ее здесь полностью. В ней передавались непосредственные распоряжения и инструкции адмир. Колчака, как подавлять крестьянские восстания. Ген. Артемьев телеграфировал об этом пор. Толкачеву, подавлявшему восстание в Енисейске. Телеграмма с прямой ссылкой на Колчака была такова:

— „Передаю следующие повеления Верховного Правительства: „Возможно скорее решительнее окончить с Енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже и жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживавшего их: в этом отношении пример японцев, в Амурской области, объявивших об уничтожении селений, скрывающих большевиков, вызван, повидимому, необходимостью добиться успехов в трудной партизанской борьбе. Во всяком случае в отношении селений Кияйское, Нарь-

¹⁾ Об этих документах см. дальше в тексте. — Опубликовать напечатанную там телеграмму мне пришлось в экстренном заседании иркутской городской думы 25 ноября 1919 г. (когда власть адмир. Колчака еще не была ликвидирована). Заседание было созвано по предложению Зем. Полит. Бюро и посвящено вопросу об организации власти. На заседании присутствовали несколько лиц, делегированных от правительства, и представители всех дипломатических миссий, прибывших перед тем в Иркутск. Из числа последних не присутствовали только японцы, что было очень характерно. Помимо иностранцев, на этом заседании были представлены все общественные организации гор. Иркутска.

ское должна быть применена строгая кара. Я считаю, что способ действия должен быть приблизительно таков:

1. — В населенных пунктах надлежит организовать самоохрану из надежных жителей.

2. — Требовать, чтобы в населенных пунктах местные власти сами арестовывали, уничтожали агитаторов и смутьянов.

3. — За укрывательство большевиков, пропагандистов и шаяк должна быть беспощадная расправа, которую не производить только в случае, если о появлении этих лиц (шайк) в населенных пунктах было своевременно сообщено ближайшей воинской части, а также о времени ухода этой шайки и направлении ее движения было своевременно донесено войскам. В противном случае на всю деревню налагать денежный штраф, руководителей деревни предавать военно-полевому суду за укрывательство.

4. — Производить неожиданные налеты на беспокойные пункты и районы: появление внушительного отряда вызовет перемену настроения в населении.

5. — В подчиненных вам частях установить суровую дисциплину и порядок. Никаких незакономерных действий, грабежей, насилий не допускать. С уличенным расправляться на месте, пьянство искоренять, пьянствующих наказывать, отрешать, карать.

6. — Начальников, не умеющих держать вверенные им части на должной высоте, отрешать, предавая военно-полевому суду за бездействие власти.

7. — Для разведки и связи пользоваться местными жителями, бери заложников. В случае неверных и несвоевременных сведений или измены—заложников казнить, а дома, им принадлежащие, сжигать. При остановках, на ночлегах, при расположении в деревнях части держать сосредоточенными, приспособлять занимаемые помещения к обороне, сторожевое охранение выставлять, держаться принципа качественности, а не численности охранения, при чем должна быть постоянная проверка несения службы; брать заложников из соседних незанятых красными частей селений. Всех способных к бою мужчин собирать в какое-нибудь большое здание, содержать под охраной и надзором на время ночевки, в случае измены, предательства—беспощадная расправа“.

Нет никакого сомнения, что эта телеграмма представляла собою циркулярное распоряжение, послылавшееся Колчаком не только ген. Артемьеву, но и другим уполномоченным по охране государственного спокойствия, в том числе разумеется ген. Розанову. С этой точки зрения заслуживают сопоставления прежде всего даты, которыми помечены как „Приказ“ ген. Розанова, так и телеграмма Артемьева, передающая „повеления Верховного Правителя“:—телеграмма имеет пометку 23 марта (несомненно опять-таки, что около этого числа Артемьев и получил распоряжения Колчака), а „Приказ“ датирован 27 числом того же месяца. Очевидно, как только ген. Розанов получил инструкцию от адмирала Колчака,—по всей вероятности одновременно с тем, как ее получил ген. Артемьев,—так он тотчас же и применил ее к делу, не откладывая ни одного дня, но и не опережая адмирала самовольными действиями. Он поступал

по точному смыслу Полевого Устава, который адмирал Колчак считал лучшим Сводом Законов для управляемой под его диктатурой страны.

Сопоставляя оба эти документа, не трудно убедиться, что ген. Розанов только конкретизировал указания своего омского падишаха, а иногда даже чуть-что не дословно повторял их. Буквально всё, что так ярко бросается в глаза при чтении „Приказа“ ген. Розанова: — и беспощадная расправа за укрывательство пропагандистов, и введение системы заложничества, и уничтожение „всех способных к бою мужчин“, и взгляд на население, как на врагов, и контрибуции, и сожжение деревень, — всё это, как мы видим, предписывалось в самых решительных выражениях самим адмиралом в его „повелениях“.

Никакой речи о том, что адмир. Колчак не является ответственным за действия своих подчиненных, не может быть. Всецело ответственным за эту политику репрессий должен быть признан прежде всего он сам, и никто другой. Но в этой ответственности адмир. Колчака есть еще такие особенности, на которые необходимо обратить специальное внимание, настолько они существенны.

9. — Адмирал Колчак и японцы.

Именно, телеграмма Колчака ген. Артемьеву заставляет нас снова поставить вопрос об отношении верховного правителя к японцам. Я говорил уже несколько раз, что в вопросах международной политики Колчак держался анти-японской ориентации. Об этом он заявил и на допросе в Иркутске, и этому можно было верить, особенно, если иметь в виду первую эпоху его деятельности и только вопросы международной политики. Но международные отношения так переплелись и так скрестились с внутри-сибирскими отношениями, что Колчаку пришлось довольно быстро задумываться над переменой своей политической ориентации.

Единственной живой и реальной силой внутри Сибири, стоявшей на союзнической платформе, были — чехи. Ориентироваться на союзников значило для Колчака искать поддержки прежде всего у чехов, а это представлялось для него по многим причинам и политическим и психологическим затруднительным. Чехи не признали переворота 18 ноября, и чешские солдаты отказывались драться на фронте из-за Колчака. С другой стороны, в русской военной среде нарастало и постоянно давало знать о себе чувство соревнования с чехами, желание показать, что русские могут обойтись и без них, „быших военнопленных“ России. Отказаться от союза с чехами было для многих колчаковских кругов тем легче, что место их не осталось бы незавятым, — в услугах правительства всегда могли явиться японцы. История международной политики Колчака — это и есть история постепенно углублявшегося разрыва с чехами и нарастающей связи у него с японцами. Но он шел по этому пути неуверенными шагами типичного истерика, и когда, наконец, будучи уже на краю гибели, принял решительный (и опять-таки истерически

подчеркнутой) курс на Японию¹⁾), оказалось, что уже поздно. Этот шаг погубил его и привел к аресту фактически теми же чехами.

Между тем Колчак, по самой природе своей власти, был вовсе не так далек от японцев, как это могло показаться на первый взгляд, и не даром его министры так упорно склонялись к японской ориентации. Чтобы убедиться в этом, достаточно еще раз просмотреть телеграмму того же Колчака на имя ген. Артемьева. Как характерно и симптоматично указание в самом начале ее на „пример японцев“ в Амурской области, — „объявивших об уничтожении селений, скрывающих большевиков“. И какой капитуляцией колчаковского „японофобства“ веет от смущенного признания, что это диктуется „необходимостью добиться успехов в трудной партизанской борьбе“. Не стоило быть японофобом в международной политике для того, чтобы так капитулировать перед ними в политике внутренней. Колчак понимал, конечно, кого он рекомендовал своим уполномоченным в качестве учителей. Это именно японцы ввели в Сибири систему массовой круговой ответственности, при которой все мужское взрослое население (или, по терминологии Колчака, все способные к боям мужчины) зараженных большевизмом деревень ими вырезалось, а деревни сжигались. Делалось это очень просто: сначала мужчин всех поголовно известного возраста выгонят за околицу и там перебьют, а деревню потом сожгут, — таковы были те методы усмирения, которые Колчак рекомендовал, как примеры, оправданные целесообразностью.

Еще характернее указания в той же телеграмме на необходимость возможно скорее и решительнее окончить с Енисейским восстанием. И потом эта зловецкая директива относительно селений Кийское и Нарвское, к которым должна быть применена строгая мера.

Дер. Нарва и село Кийское составляли центр тогдашнего „камарчагского“ фронта. Не имея возможности сломить упорство повстанцев, сильных прежде всего сочувствием к ним населения, адмир. Колчак прямо указывает, в каких именно местах надо следовать примеру японцев. И указания Колчака не пропали даром — я говорил уже, что когда манский фронт пал, после упорных боев в течение месяца, то вся Степно-Баджеевская волость была выжжена. Трагичны подробности этого страшного ауто-да-фе. В селе Ст. Баджеев крестьяне просили не сжигать их больницы, — но больницу сожгли; тогда они стали просить пощадить школу, — но школу сожгли. Наконец, они умоляли разрешить им вынести из горевшей школы учебные принадлежности, в которых уже в то время чувствовался такой недостаток, — но и этого не позволили, все было сожжено и все сгорело вместе с остальным селом.

Делать какие-либо послабления не позволяла, конечно, военная дисциплина, — здесь исполнялся точный приказ самого верховного правителя применить к этому району японские методы усмирения: взрослое мужское население

¹⁾ См. слова о „братской помощи с Востока“ в приказе Колчака от 26 дек. 1919 г. за № 243/а, данном на ст. Камышет.

истребить поголовно, а деревни, хутора и села предать пламени ¹⁾. Что же удивляться, если, получив такое авторитетное распоряжение, ген. Розанов спокойно написал параграф второй своего приказа:— „Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, — сжигать, взрослое мужское население расстреливать поголовно“.

Тут не только не было превышения власти, но, если бы ген. Розанов этого не сделал, то, —будем и к нему справедливы,—он совершил бы новый проступок против „Верховного“, допустил бы прямое ослушание, а как он мог пойти на это,—он, привыкший к дисциплине по силе Полевого уложения! Раз ему приказывали, он должен был исполнять—и он исполнил. Впоследствии ген. Розанов попал на Дальний Восток, дружил там с японцами, набил карманы русским золотом, а ныне благодушествует под лазурью империи микадо. Все это могло бы выпасть и на долю Колчака, стоило бы ему лишь сразу оценить, кто его друзья и кто враги, и по чьей дороге ему идти и, руководствуясь чьими методами, водворять мир и в человецех благоволение.

10.—На собеседовании с проф. Персом.

Приказ ген. Розанова о способах подавления восстаний едва ли не прежде всего был применен в районе Ачинского уезда в самом конце марта и начале апреля 1919 г. О том, что там происходило и как себя там держали правительственные войска, я узнавал от местных крестьян, приезжавших в город по разным делам и там сообщавших все свои новости. Я делал записи с их слов, проверял одни показания другими и, когда картина для меня становилась ясной и не требовавшей дальнейшей проверки, я оперировал этими данными там, где находил это нужным, и преследуя те цели, какие я себе ставил.

Считаю нужным пояснить здесь, что все нижеследующие данные, или почти все из них, мне пришлось между прочим изложить в систематизированной и обобщенной форме в беседе с посетившим тогда Сибирь английским либералом проф. Персом, делегированным к нам английским парламентом и английским правительством, как он об этом публично заявил. Эта беседа имела место 29 апреля 1919 г. в кабинете красноярского городского головы. В числе других лиц я получил приглашение на нее от управляющего губернией Троицкого, так что беседа наша с проф. Персом состоялась по инициативе администрации и носила чисто официальный характер. В ней принимали участие представители решительно всех общественных учреждений Красноярска,—

¹⁾ Взрослого мужского населения истребить почти не пришлось, так как все оно ушло либо в тайгу, либо разбредлось по другим деревням. Осенью Ст. Ваджейская вол. переживала своеобразный кризис: решительно некому было убирать поля, а урожай в этот год, как нарочно, оказался очень обильным.

города, земства, проф-союзов, кооперативов губернского и городского, национальных организаций, союза домовладельцев и политических партий, в числе представителей последних находился пишущий эти строки от партии с.-р.

Кроме того, на том же совещании присутствовали, помимо самого управляющего губернией, один из его помощников, затем прокурор суда и еще несколько официальных лиц. Приглашая всех нас на это совещание, Троицкий полагал, повидимому, что присутствие представителей власти будет иметь сдерживающее влияние на собеседников и ему удастся все собеседование ввести в надлежащие рамки, сделать его вполне „парламентарным“, т.-е. безобидным для правительства, а может быть и полезным для него. Расчет этот по меньшей мере не оправдался.

В отличие от Троицкого я полагал, что, наоборот, как раз нужно воспользоваться присутствием административных лиц и заграничного гостя, посланника от демократической Англии, как нам его рекомендовали, для того, чтобы развернуть перед ним безо всяких умолчаний картину творящихся по губернии ужасов и в его присутствии указать прямо на их виновников, а также показать на ряду с этим, какую роль играли в тогдашней Сибири союзники, в частности сами англичане. Проф. Перс хорошо говорил и хорошо понимал по-русски; он схватывал даже оттенки русской речи, так что это облегчало возможность выполнения всей намеченной мною программы. Помог мне также и сам управляющий губернией, так как, лишь я начал говорить, он написал профессору несколько слов для моей характеристики, заставившие профессора быть ко мне очень внимательным. Я был тогда очень тронут этой любезностью г-на управляющего губернией.

Когда наступила моя очередь взять слово, я сказал профессору, что мы, русские, — и в частности мы, сибиряки, — как общее правило, больше знаем о заграничной жизни, в том числе о жизни Англии, чем англичане знают о нас. Кроме того, мы лучше разбираемся в общественных отношениях других стран, хотя бы и очень от нас удаленных, чем иностранцы разбираются в наших, даже столь хорошо подготовленные, как сам профессор. Поэтому, вероятно, многое из того, что я имею сказать, для него покажется странным и даже невероятным, тогда как все это на деле существует у нас, и даже существует давно и очень прочно. Чтобы сразу пояснить это, я решил тут же привести конкретный пример таких „бытовых явлений“ нашей жизни, каким в Англии едва ли сразу поверят, хотя реальность их вне сомнений. Профессор только что узнал от управляющего губернией, что я являюсь депутатом в Учредительное Собрание от Енисейской губ., но, быть может, он не знает, какова судьба других моих товарищей, прошедших по одному списку со мной.

Один из них, стоявший по списку первым, был очень известный по губернии общественно-кооперативный работник Нил Валерианович Фомин. Это тот самый Фомин, который являлся одним из организаторов последнего переворота и был в то же время личным уполномоченным премьер-министра Вологодского. Судьба его чрезвычайно трагична: — он убит в Омске теми самыми лицами, вместе с которыми он совершал переворот.

Пусть профессор не верит, если ему скажут, что это убийство имело вид простого „офицерского самосуда“. Это не верно. Виновники его гибели и его убийцы не офицеры, а генералы, которых профессор и теперь найдет в Омске на высоких постах. Это—ген. Иванов-Ринов и ген. Матковский.

Но члены Учредительного Собрания гибли в Сибири не только этим путем. Еще до того как был убит Фомин, другой участник нашего списка, Портянников, бывший матрос, кандидат в Учредительное Собрание от горнорабочих Южно-Енисейской тайги, был убит около с. Тасеево красногвардейцами, считавшими его врагом народа. Заместитель его по тому же списку, Остриков, старик 53 лет, учитель из с. Ново-Еловского, отдававший половину своего заработка своим ученикам на учебные пособия, убит у себя в селе отрядами Щетинкина, уничтожавшими вообще интеллигенцию.

Едва ли на родине профессора поймут, почему и как это могло случиться, чтобы люди, искренно и глубоко преданные народу, гибли поражаемые ударами прямо с противоположных сторон. Но у нас это обычное, „бытовое явление“, и тот, кто не сумеет понять его, вообще с трудом будет ориентироваться в нашей жизни, а может быть и совсем в ней не ориентируется.

Но еще менее понятным для профессора окажется строй нашей жизни, когда от этой гибели отдельных лиц он перейдет к ознакомлению с тем, как у нас гибнут люди целыми массами, поражаемые по приказу лиц, власть имущих. Европейский человек едва ли поверит даже, если ему расскажут хотя бы то, что в той же Енисейской губ. проделывает например, ген. Розанов, расправляющийся с местными крестьянами, как Атилла не расправлялся с своими врагами.

Переходя затем к методам усмирения повстанцев ген. Розановым, я привел профессору целый ряд фактов, полученных вышеуказанным путем, при чем свой обзор я сделал по всей губернии, начав его с событий в Ачинском уезде. Я не могу теперь припомнить, в каком порядке и как я сообщал эти факты проф. Персу, но самые факты я хорошо помню. Я приведу поэтому их дальше вне связи с моим собеседованием с проф. Персом, а самостоятельно, отмечая лишь в отдельных случаях, где это почему-либо потребуется, в каком виде я их передавал этому посланнику английской демократии.

11. — События в Ачинском уезде Енисейской губ.

Центральную роль в Ачинском уезде среди повстанцев играл, как я уже не раз говорил, Щетинкин, бывший кадровый офицер, дослужившийся до чина штабс-капитана из простых рядовых во время германской войны. Он из крестьян этого же уезда, дер. Нагорной, Ново-Еловской вол. Приблизительно в конце декабря 1918 г., перед Рождеством, он начал организовывать отряды повстанцев, базировался прежде всего на молодых дезертирах из колчаковской армии. Приезжая в деревню, Щетинкин обычно объявлял себя начальником правительственного отряда, посланного искать дезертиров. Когда дезертиры, напуганные приезжими, являлись, Щетинкин забирал их с собою и потом

в дороге им разъяснял, кто он такой. Часть забранных от него уходила, но часть оставалась, и отряд таким образом все возрастал.

Отряды, руководимые Щетинкиным, были разделены на несколько частей на четыре или пять. Районом восстания являлись зачастую переселенческие участки, плохо устроенные и неприспособленные к хозяйственной жизни. Движение утвердилось в Покровской, Ново-Никольской, Больше-Улуйской и др. смежных волостях, на север от железной дороги. Штаб-квартира у Щетинкина была то в Лашихе, то в Козловке, близ железнодорожной линии. Опорным пунктом в тылу у себя Щетинкин имел с. Большой Улуй, в 50 в. на север прямо от Ачинска, где повстанцы превратили в больницу свой госпиталь. Первое время, два или три месяца, отряды Щетинкина держались около линии железной дороги, при чем не раз выходили на нее и портили путь. В дер. Козловке они построили укрепления, окопы, хорошо их соорудив. Здесь ими были навалены сани, телеги и пр., покрыты сверху снегом и потом залиты водой. Получилась такая ледяная стена, которую при бомбардировке не могли сразу разрушить даже 3-дюймовыми орудиями. В марте, уже при ген. Розанове, началось наступление правительственных войск на дд. Мал. Козловку и на Ольховку, на район, занятый повстанцами, или, говоря словами приказа ген. Розанова, „разбойниками“.

Однако, первые два наступления оказались неудачными: повстанцы разбили правительственные войска и заставили их отступить. Это являлось общим правилом в борьбе колчаковских войск с повстанцами, правилом, превращавшимся в своего рода закон. Так как генералы наши совершенно не знали, чем и как живет деревня; так как они даже не представляли себе, какие там есть силы, как относятся к ним мирное население, чем и как вооружены повстанцы, а знали только, что это „разбойники“, которых легко может перестрелять любой отряд милиции, то они и действовали соответственно такой информации. Получал сообщения о бандах, они посылали туда без предварительной проверки первоначальных известий небольшие отряды, которые не только не наносили вреда повстанцам, но ими обычно уничтожались, а вооружение их переходило к победителям. Затем повторялась та же сказка сначала: опять посылался отряд и снова уничтожался, и опять все вооружение переходило к победителям. И если в первый раз они захватывали винтовки, то при вторичных поражениях к ним попадали пулеметы. Буквально такая картина рисовалась, напр., на камарчатском фронте в ноябре и декабре 1918 г., то же самое происходило и в Ачинском уезде.

Когда дважды правительственные войска были разбиты и отброшены, тогда красноярские генералы взялись за дело серьезно и выслали против „банд“ артиллерию. На разъезд Тарутино, недалеко от Ачинска, привезли 6-дюймовые пушки и прямо с полотна открыли стрельбу по деревням. Произошел артиллерийский бой с невидимым противником, как это, впрочем, и полагается. Но противник не только не был видим, а его просто и не было, ибо, когда дело дошло до 6-дюймовых пушек, то все „разбойники“ загодя ушли в глубь уезда на север, к с. Большой Улуй. Пушки туда не доставали. Крестьяне тоже разбежались частью по лесам, частью по хуторам, бросив на

произвол судьбы свое имущество и хаты. В деревнях остались только старый да малый, да больные, не имевшие возможности двигаться.

3-го апреля правительственные войска заняли Козловку и стояли в ней 5 дней. Обе деревни были сожжены, как и полагалось по приказу адмир. Колчака, повторенному ген. Розановым.

В этих деревнях было: в одной 135 дворов, в другой 200, в две улицы, и свыше 1000 чел. жителей. Это район переселенческий, но уже обжившийся; здесь приходится на 1 хоз. по две-три лошади, столько же крупного скота и по 8 — 9 голов мелкого; посева по 2 — 3 дес. на хозяйство. Бросить на произвол судьбы такое имущество не всякий решится, и потому через некоторое время крестьяне стали собираться на пепелище, особенно те, кто не знал за собой никакой вины, чтобы спасти остатки от разгрома. Когда в Ольховке таким путем собралось достаточно народа, казаки созвали сход, согнали на него всех мужчин и расстреляли каждого десятого, а остальных выпороли. То же было сделано и в других деревнях этого района.

Расстрелами и порками усмирение, однако, не ограничивалось, после них начинались еще грабежи. Крестьяне и без того сильно пострадали, так как при сожжении их деревень погибло много имущества, погибли также люди, старики и старухи, не успевшие уйти, сгорело много хлеба, особенно в дд. Лалшихе и Козловке, сгорел, наконец, рабочий скот. Все эти события происходили, как сказано, под самым Ачинском, в Покровской вол., отстоящей от города всего в нескольких часах езды на хорошей лошади (само с. Покровское отстоит от Ачинска в 16 в.). Остальные села — дальше.

При этом замечательна была такая деталь: казаки, усмирявшие крестьян, были той же, как и они, Покровской вол., но только из других деревень. Казачьи станицы от мест, где происходило усмирение, расположены в 18 — 20 вв., не более. Благодаря этому установился такой порядок, — когда казаки приходили в какую-нибудь деревню для экзекуции по правилам, предписанным ген. Розановым, то сзади их отрядов ехали обозы из их же станиц, и на эти обозы жены и отцы прибывших казаков нагружали крестьянское добро и увозили к себе домой, благо это не так далеко. Забиралось при этом все, что попадало под руку, не даром приказ ген. Розанова предусматривал вознаграждение лояльных подданных имуществом непокорных. Брали сельскохозяйственные машины, брали и мелкую домашнюю рухлядь, а скот угоняли гуртами. Тех, кто протестовал, обвиняли в сочувствии повстанцам и либо порол, либо просто убивали, расстреливали.

Разумеется, крестьяне всячески старались избавиться от этих репрессий, от грабежей и реквизиций, пускались на всякие хитрости, а главным образом откупались взятками. Так в с. Ново-Еловском они заплатили 30.000 руб. (это было в начале 1919 г.) за то, чтобы их не жгли. Их помиловали: — сожгли всего только 26 домов и 30 человек расстреляли. Жителей в Н.-Еловском около 800, число хозяйств 135 — 140.

В дер. Тимониной той же Покровской вол., в 170 домов, крестьяне выслали депутацию, в которой находился, между прочим, местный священник

(в Тимониной есть церковь); этого священника крестьяне срывали в подполье от большевиков. Благодаря его заступничеству, Тимонину пощадили, не стали жечь, но взыскали с нее все-таки 30.000 руб., как это было установлено по описи, и каждого десятого выпороли.

Таким образом умирляли крестьян во всех деревнях Ачинского уезда в его северной части. Средствами умирения являлись: контрибуции, расстрелы, убийства, массовые и одиночные, сожжение деревень общее или частичное, и порка, — порка применялась повсеместно. От таких расправ пострадали Больше-Улуйская, Покровская, Ново-Еловская и Ново-Никольская волости.

Умирители были обычно пьяны, водку привозили из Ачинска. Пьяные насильовали женщин. Награбленное добро, если не оставляли у себя, то продавали ачинским спекулянтам, налетевшим сюда, как воронье на падаль. Торговля шла с большим ажиотажем. Двое ачинских спекулянтов за незаконную скупку отнятого у крестьян скота были оштрафованы ген. Розановым приказом от 12 апр. 1919 г. на 10.000 руб. каждый. Повидимому, они чего-то не поделили с ним. Приказ был напечатан в официальном „Енисейском Вестнике“ в пятницу на Пасхе. Сколько спекулянтов оставалось без наказания, об этом там не сообщалось.

Офицеры, по крайней мере, некоторые, тоже пробовали останавливать разгул умирителей, но безуспешно, так как потеряли над ними власть.

Излишне добавлять, что своей непосредственной цели эти меры не достигли — у крестьян они вытравивли всякое сочувствие к правительству, а повстанцев уничтожить все-таки не могли. О кавалерийском рейде, который после этого проделал Щетинкин по губернии, уйдя на соединение с Кравченко на Манском фронте, я в своем месте уже говорил.

Перебирая теперь все эти факты, невольно спрашиваешь, — ради чего же по этой части губернии, так же, как потом и по другим ее частям, пронесся этот японский тайфун расстрелов, порки и конфискации? Что от него выиграл адмир. Колчак?

12.—Что мы пережили.

Вторым по очереди применением приказов ген. Розанова было введение системы заложничества в красноярской тюрьме и в уездных тюрьмах по губернии. С 17-го апреля приказом ген. Розанова, в виду участившихся случаев нападений, убийств, порчи полотна железной дороги, казенного имущества, грабежа мирного населения, находящиеся в тюрьме большевики и разбойники, — как говорилось в приказе, — объявлены были заложниками. Ген. Розанов постановил, что за каждое преступление, совершенное в данном районе, из местных заложников должны расстреливаться от 3 до 20 человек. Кроме того, лиц, призывающих к ниспровержению существующей власти и так или иначе способствующих преступлениям и бесчинствам мятежников, приказано было предавать военно-полевому суду или расстреливать без суда, в зависимости от важности преступления.

Вскоре начались и самые расстрелы. Так, 29 апреля, — „по приказанию Уполномоченного Верховного Правителя по охранению Государственного порядка и общественной безопасности в Енисейской губ. были расстреляны за зверски растерзанного бандами красных прапорщика Вавилова следующие лица: Семененко Александр, Маерчак Виктор, Саломатов Григорий, Бойчук Ян, Левальд Карл, Мариловцев Василий, Нитавский Алексей, Блинов Иван, Коростелев Геннадий, Цепсин Иоганн“.

1-го мая снова расстреляны из числа заложников, содержащихся в губернской тюрьме: Петерсон Ольгерд, Менчук, Коншин Иван, Вейман Федор, Иоффе Семен, Боград Яков, Шульд Эрнест, Перенсон Адольф, Станислаус Ян.

Из числа этих лиц Семененко, Маерчак, Коростелев, Петерсон, Боград, Перенсон — являлись крупными деятелями местного большевистского движения, но к крестьянскому движению отношения не имели. Да и арестованы они были задолго до того, как это движение началось.

Списки расстреливаемых составлялись в штабе ген. Розанова. На расстрел брали ночью. Обреченных к расстрелу везли связанными в телеге по окрайным улицам города на гору, к кладбищу. В телеге их заставляли ложиться и покрывали сверху брезентом. При расстрелах разыгрывались потрясающие сцены. Большинство умирало спокойно с героизмом. На утро на место казни, которое было всем известно, так просто все это делалось, приходили родственники казненных, разрывали наскоро закопанные могилы и искали трупы близких людей. Мне известны случаи, когда находили.

Почти одновременно с расстрелами заложников в Красноярске приказы ген. Розанова применялись в гор. Енисейске. Енисейск когда-то был столицей золотопромышленного района; теперь это захудалый провинциальный город в котором насчитывается всего 7—8 тысяч жителей. В феврале 1919 г. Енисейск оказался захваченным повстанцами и оставался в их власти что-то около месяца, кажется, 26 дней, или больше, в точности не помню. Попытки правительственных войск взять город обратно терпели неудачи одна за другой: войска попадали в засады и гибли, жестоко истребляемые повстанцами. У крестьян, живших по тракту на Енисейск, в эту зиму народился особый промысел. — „Туда мы возим войска, а оттуда — гробы“, — объяснил мне этот вид заработка один из крестьян.

После месяца или двух господства повстанцы были выбиты из Енисейска ушли в тайгу, откуда и пришли, и в городе снова стала функционировать культурная, а не „разбойничья“ власть.

Начали подводить итоги. Оказалось, что за это время в Енисейске погибло около 20 чел. местных обывателей, „буржуев“, и оставшихся там офицеров и казаков. Трупы их нашли в одном из подвалов в тюрьме. Трупы были обезображены. Эти итоги несколько всех разочаровали: по Красноярску ходили слухи о гораздо больших жестокостях, проявленных „разбойниками“, как это и полагалось разбойникам, да еще не видевшим ничего в жизни, кроме тайги с ее зоологической правдой. Стали подыскивать объяснения, и сошлись на

известии из Енисейска, что там найден список в несколько сот человек, предназначавшихся к уничтожению, но повстанцы своего намерения расстрелять не успели привести в исполнение, хотя времени на это у них, казалось бы, имелось достаточно.

Вскоре после этого в Красноярск стали приходиться известия, как ведет себя в Енисейске культурная власть. Ген. Артемьевым был послан из Иркутска приказ с „повелениями“ верховного правителя в виде вышестипированной телеграммы от 23 марта. Не важно, знал или не знал Колчак, как эта телеграмма применялась в Енисейске, а важно, что всё делалось там его именем и согласно его указаниям, присланным через ген. Артемьева. Делалось же следующее: за первое же время число казненных в Енисейске дошло до 700, по официальным данным, имевшимся в моем распоряжении. Так как населения в Енисейске всего 7—8 тыс. (по данным статистики 7033 чел.), то, следовательно, число казненных составляло ровно 10%. Расстреливали, как требовалось „приказом“ ген. Розанова, каждого десятого.

Правительственные войска не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни тем более мужчин. При расправах сводились личные счеты, людей губили по личной ненависти или из корысти. Для того, чтобы не тратить пуль на расстрелы, придумали новый способ казни, без пролития крови, как во времена средневековой инквизиции, но по иному способу. Завит был Енисейск еще зимой (март в тех краях настоящий зимний месяц), расположен город прямо на реке; на льду—проруби. В эти проруби и сбрасывали людей либо живыми, либо недобитыми. Это называлось отправлять в Туруханск. Штыками и пагайками осужденных на казнь гнали к прорубям и там топили. Над всем городом повисла угроза страшного террора, и никто из самых мятных граждан не мог быть уверен, что не сделается жертвой каких-либо насилий.

Совершенно то же самое происходило в других местах по дороге в Енисейск. Напр., в селе Казачинском было убито свыше 60 чел. (жителей там 1200—1300 чел.), многих точно также сбрасывали под лед. Был случай, когда сбросили туда крестьянку, заподозренную в большевизме, с ребенком на руках. Так с ребенком и сбросили под лед. Это называлось выводить измену „с корнем“.

Пускать под лед, это — старая сибирская традиция. В былое время так чаще всего расправлялись со своими жертвами сибирские разбойники на больших дорогах. Теперь эта традиция возродилась снова в Сибири. Она практиковалась в ту зиму не в одном Енисейске, далеком и захудалом городишке, расположенном у входа в тайгу и тундры, не имевшим за собой культурных традиций. Какле культурные традиции могли быть в этом царстве прискового разгула, среди пляски „приваловских миллионов?“ Не удивительно, что в нем царили такие поистине жестокие нравы. Но замечательнее всего то, что и в больших сибирских городах, с университетами, музеями, библиотеками, с культурными традициями еще со времен декабристов, напр., в Иркутске,—городе, который не даром называют „Сибирскими Афинами“, творилось совершенно то же самое, что и в Енисейске. В Иркутске это практиковалось зимой 1918—

1919 г. при ген. Волкове, посланном туда адмир. Колчаком на правах ген.-губернатора. Ген. Волков известен, как организатор убийства Новоселова в Омске и как один из активных деятелей колчаковского переворота 18 ноября. Он был окружен всегда настоящей бандой офицеров, не гнушавшейся прямыми уголовными разбоями. В Иркутске волковские офицеры просто грабили людей, у которых имелись деньги, и потом топили их на Ангаре подо льдом. Мне известно 11 случаев такого разбоя, установленных официальным расследованием.

Адмир. Колчак на допросе в Иркутске, характеризуя дальневосточную атаманщину, с которой у него отношения были обостренные, указывал между прочим на чисто уголовную деятельность атамана Калмыкова. — „Что касается того, что делал Калмыков, то это были совершенно фантастические истории“, — говорил Колчак.

Действительно, там шла напр., правильная охота на торговцев опиумом. Под видом политического ареста выслеживали этих торговцев, захватывали, отбирали опиум, а затем убивали. В случае обнаружения ссылались на то, что это были большевистские агенты и шпионы.

По словам адмир. Колчака имел место, между прочим, такой случай: — „Это случилось за несколько времени до моего отъезда, — сообщал Колчак, — Калмыков поймал тогда вблизи пограничной линии шведского или датского подданного, представителя Красного Креста. Он признал его большевистским агентом. Представитель Красного Креста был повешен. У него была отобрана большая сумма денег в несколько тысяч рублей. Требование Хорвата прислать арестованное лицо в Харбин и меры, принятые консулами, ни к чему не привели. Скандал был дикого свойства. Это был форменный случай разбоя“.

Адмир. Колчак мог бы быть снисходительнее к Калмыкову. Таких случаев форменного разбоя и при нем самом было сколько угодно в Сибири. Этим занимались не только офицеры ген. Волкова в Иркутске, но и отряд Анненкова в Семипалатинске.

На Ангаре и на Енисее зимою спускали под лед, очень часто просто с целью грабежа. На третьей великой сибирской реке, на Оби, наблюдалась несколько иная картина. Здесь рубили головы. Считалось большим искусством одним ударом отрубить голову. Рубили — саблями. Летом 1919 г., в районе Усть-Чарышской пристани, на Оби, на пароходе, служившем карательному отряду, приговоренных ставили на самый край борта, заставляли нагибать голову над водой и срубали ее ударом сабли. Труп и голова падали в реку.

Иногда забавлялись, говорили, напр., приговоренному:

— „Сними носки-то“.

И когда он наклонился, все было кончено.

Рубили головы, впрочем, и на Енисее. Так был казнен в том же Енисейске тем же летом 1919 г. некто Асинский, бывший политический ссыльный, много перенесший за время революции. Его судьба была исключительно печальна.

По дороге в тот же Енисейск, на тракту есть село Большая Мурта. Крестьяне из Большой Мурты рассказывали мне, как у них было расстреляно

около 40 чел., как их сбросили в общую могилу и стали закапывать. Совсем уж закопали, но земли начала шевелиться:—закопали еще живых.

Я не знаю, какая это казнь, с пролитием крови или без пролития.

Все эти репрессии уже к весне 1919 г. стали такими многочисленными, число пострадавших от них стало столь заметным, что даже среди власти имущих появилось желание каким-либо способом смягчить этот варварский режим. В этом отношении следует отметить „Приказ“ по войскам сибирской армии от 6 мая 1919 г. за № 275, изданный ген. Гайдой в Екатеринбурге. В приказе между прочим читаем:

— „Официальные донесения и жалобы обиженных и пострадавших указывают, что самочинные расправы, порки, расстрелы и даже карательные экспедиции, чинимые представителями власти, к сожалению, не прекращаются“.

Далее ген. Гайда говорит: — „Всех, кто будет самочинно производить экзекуции, расправы и расстрелы, я буду предавать военно-полевому суду как за истязание и обыкновенное убийство“.

Приказ этот был издан в прифронтовой полосе. Лучше всего, что в тылу он был запрещен к опубликованию, хотя осуждал он только „самочинные“ расправы — не больше. В Красноярске, напр., его не пропустила военная цензура.

Через полгода после ген. Гайды, когда самого ген. Гайды уже не было давно на фронте, с таким же совершенно официальным осуждением самочинных расправ и порок выступил ген. Дидерихс, назначенный тогда нач. штаба верховного главнокомандующего. — „Имеющиеся в моем распоряжении данные свидетельствуют о том, — говорит он, — что начальники отрядов, действующих на территории тыла по водворению государственного порядка, не всегда оказываются на высоте своего служебного долга по отношению к мирному населению; проявляемые чинами отрядов насилия, жестокости над мирными жителями, незаконное и несправедливое отношение к ним, постоянные нарушения их имущественных прав, некоторыми начальниками не только не пресекаются, но даже поощряются, при чем зачастую и сами начальники допускают такое же отношение к мирному населению, санкционируя этим преступления подчиненных“.

Далее Дидерихс, между прочим, требует — „не допускать намеренного в виде кары сжигания деревень, как меры, приносящей при условии непричастности к восстанию, хотя бы небольшой части населения деревни, лишь вред общегосударственному делу“. (Приказ за № 7437 от 12 окт. 1919 г.)

Необходимо опять-таки отметить здесь, что первал из приведенных цитат не была пропущена военной цензурой и приказ вышел с пробелами, с так называемой, цензурной плешью.¹⁾ Что касается второй цитаты о сжигании деревень и пр., то ген. Дидерихс, очевидно, в этом случае не знал, на кого он

¹⁾ В таком виде он напечатан, напр., в журнале „Нов. Земля. Дело“ №№ 24—25, 1919 г.

метил и в кого попадал своим осуждением. Если бы он это знал, то, вероятно, был бы в своих суждениях несколько осторожнее.

Но оба приведенные приказа в одном отношении одинаково характерны: они показывают, что в нарисованной нами выше картине правительственной борьбы с крестьянством нет ни одной капли преувеличения. Всё то, что мы видели выше, всё это никого не удивляло, и всё это было настоящим бытовым явлением. Это были те ежедневные, постоянно повторявшиеся истории, которые уже прискучили и мало кого волновали. Если уж генералы в приказах заговорили о них с осуждением, значит они набили оскомину. Нервы у всех притупились и плохо реагировали на эти ужасы жизни. И только иногда в эту сонную жизнь врываются такие потрясающие по своему драматизму события, что встряхивали даже привычных ко всему сибиряков. Одну из подобных историй я подробно, на ряду с вышеприведенными фактами, рассказал проф. Персу. Так же подробно я хочу воспроизвести ее здесь.

13.—Дело канского городского головы Степанова.

27-го декабря в гор. Канске, Енисейской губ., произошла попытка поднять восстание. Стояли праздники, третий день Рождества. В офицерском собрании происходил бал: гг. офицеры весело танцевали, было много публики, блистали красотой местные дамы. Когда бал находился в самом разгаре, в зал вдруг ворвалось несколько человек в солдатских шинелях и произвели ряд выстрелов, частью в толпу, частью вверх, чтобы вызвать панику. Когда потом все улеглось, ибо скоро оказалось, что ничего серьезного тут не было, что это только „путч“, в танцевальном зале пришлось подобрать не одну пару погон, сброшенных в испуге гг. офицерами.

Одновременно с этим была произведена попытка поднять такое же восстание на ст. Иланской, находящейся в 30 вв. от Канска, но тоже безуспешная. Словом, это было одно из тех городских восстаний, базировавшихся на солдатской массе и железнодорожном пролетариате, которые спорадически возникали то тут, то там в Сибири, и почти всегда кончались неудачей.

После восстания в Канске начались аресты, расправы, обыски; власти мстили за пережитый испуг. Действовали они, правда, недостаточно энергично, и, когда в марте 1919 г. через Канск проезжал ген. Иванов-Ринов и принял от нач. гарнизона полк. Мартынова рапорт о ликвидации восстания, он остался недоволен. Ген. Иванов-Ринов разъяснил Мартынову, что в таких случаях должно быть расстреляно не менее 10% населения, как то и имело место в то самое время в Енисейске.

Все это являлось прелюдией к драме Степанова, дальше начинается самая драма.

В числе арестованных за восстание был, между прочим, канский городской голова—Степанов, член партии с.-р. фракции центра. Я знал Степанова лично и могу сказать, что к организации данного восстания он не имел

никакого отношения, хотя был вообще человеком достаточно лево настроенным. Дело по обвинению Степанова в участии в канском восстании разбирала специальная военно-следственная комиссия, назначенная из Красноярска. Несмотря на все ее желание обвинить Степанова, она должна была признать, после тщательного следствия, что Степанов никакого отношения к восстанию не имеет. Кроме того, та же комиссия убедилась, что в деле некоторых лиц, привлеченных вместе со Степановым, напр., в деле Александрова, члена уездной земской (или, может быть, городской) управы, фигурировали подложные документы, едва не погубившие всех обвиняемых. В виду этого Степанова решено было освободить; тем не менее власти держали его в тюрьме.

В Канске в это время полным хозяином являлся атаман Красильников, присланный туда из Омска специально для борьбы с канскими повстанцами. Красильников—огромного роста мужчина, с внешностью тюремного Ивана, с широкой развевающейся бородой, вечно пьяный хулиган в генеральских погонах,—был воплощением сибирской атаманщины. Для Степанова не могло ничего быть хорошего от такого представителя власти в уезде, неограниченно в нем правившего. Еще в то время, когда Степанов находился за военно-следственной комиссией, некоторые офицеры из отряда Красильникова делали попытки взять его из тюрьмы, но тюрьма его не выдавала, да кроме того и военно-следственная комиссия протестовала против расправы прежде времени. Но, когда непричастность Степанова к восстанию выяснилась окончательно и был поставлен вопрос о его освобождении, Красильников, не желая выпустить намеченной жертвы из своих рук, обратился в Красноярск к ген. Розанову с просьбой разрешить ему принять свои меры против Степанова. Об этой телеграмме и был тогда осведомлен из источника, не подлежащего сомнению.

На просьбу Красильникова ген. Розанов прислал утвердительный ответ, и участь Степанова была решена. Красильников задумал повесить Степанова, и повесить публично; ген. Розанов впоследствии говорил в свое оправдание, что этого он Красильникову не разрешал. Место для казни выбрали наиболее людное, площадь около вокзала. Повели туда Степанова из тюрьмы днем, путь лежал через весь город. По случайности или, может быть, это было сделано сознательно, но идти пришлось мимо того дома, в котором жила семья Степанова, его жена и двое детей подростков, сын и дочь. И жена и дети увидели его и бросились за ним на вокзал. Там на глазах огромной толпы, в присутствии своей семьи, не знавшей что ей делать от ужаса и горя, Степанова повесили на фонарном столбе около водокачки, и труп его подтянули высоко на кронштейне. Так он висел 29 часов.

Около проходили поезда, пассажиры высовывались из окон и спрашивали, что это такое. Им отвечали, что это канский городской голова Степанов.

Перед тем как на Степанова набросили петлю, он крикнул: „Да здравствует Учредительное Собрание“. Но людям, его убивавшим, едва ли было не безразличным, кто он и каковы его политические убеждения. Со Степановым сводили личные счеты разоблаченные им в начале 1917 г. старые охранники царского режима, снова призванные на службу министром Пепеляевым еще

в бытность его директором департамента милиции (был таковой департамент при Колчаке). И они через Красильникова добились казни Степанова.

Все это кошмарное дело в том виде, как оно тут изложено, я передал проф. Персу, и в своей передаче я сделал только одно отступление от этого текста, именно следующее. Когда я сказал профессору о посылке Красильниковым телеграммы ген. Розанову и о разрешении ген. Розанова казнить Степанова, я прибавил, что, может быть, профессор не поверит точности моей информации, тем более, что я не могу, по вполне понятным причинам, назвать ему источника, из которого я заимствую эти сведения. Но ведь вот тут же, рядом со мной, сидит управляющий губернией, которому все это дело известно не хуже, чем мне. Если мои сведения не верны и я оклеветал Розанова, пусть он их опровергнет и снимет с ген. Розанова мои обвинения.

После этого наступила большая пауза, и все ждали, что скажет управляющий губернией. Но тот хранил глубокое молчание и ни в одной детали даже не пытался исправить мой рассказ.

14.—Что было делать.

Приводить ли еще примеры усмирительной практики колчаковских генералов? Не излишне ли это? Тот, кто не убедился сказанным, ничем не убедится, сколько бы перед ним ни разворачивать этот кровавый свиток. Я предполагаю поэтому оборвать его, чтобы подвести некоторые итоги.

События, рассказанные выше, почти все относятся к весне и лету 1919 г., когда положение колчаковского правительства считалось сравнительно прочным, а оптимисты говорили—блестящим. Большие надежды прежде всего внушало положение на фронте, не внутреннем—этим пока нельзя было особенно похвалиться,—а на „внешнем“, на уральском. За март и за апрель положение на фронте представлялось в таком виде:—был взят Ижевский завод, была взята Бугульма, взят Сарапул, шло продвижение на Оренбург. Ударный пункт к этому времени уже определился, и колчаковские войска направлялись всем фронтом на Волгу: на Самару, на Казань, на Вятку, на Оренбург. К концу апреля падение этих городов, казалось, было предreshено, и благодаря этому войска выходили к тем приблизительно исходным пунктам, на которых они были в июле предшествовавшего года. По сообщению прессы, красная армия повсюду спешно отступала, увозя из городов все ценное имущество и оставляя целые местности. Казалось, „еще напор—и враг бежит“. Впереди маячили уже златоверхие купола московского Кремля. К тому же начал наступление и ген. Деникин. Правительство чувствовало себя как будто прочным и ждало со дня на день вести о признании его союзниками (термин „Антанта“ в Сибири в это время не употреблялся). Пред лицом всех этих фактов невольно вставал вопрос:—что было делать?

Для меня лично, впрочем, тут не возникало никаких колебаний. На ту власть, которая царила, я смотрел, как на организацию „сибирских фашистов“, употреблял современные термины и аналогии. И если она чем-либо отличалась в моих глазах от европейского фашизма, то лишь в невыгодную для себя сторону. Это были фашисты на чисто сибирский манер, насквозь пропитанные специфически-уголовным элементом, в такой форме невозможным в европейской обстановке.

Затем, эта власть совершенно не искала для себя той по возможности широкой базы, какую все-таки стараются найти европейские фашисты, прекрасно знающие, что без народа управлять теперь не принято. Европейские фашисты стараются поэтому привлечь к себе народные массы так, как у нас привлекали их когда-то „зубатовцы“, но для сибирских фашистов, при их государственной бездарности, даже зубатовская политика оказывалась недоступной. Да они, впрочем, и помимо этого в ней не нуждались. Сибирские фашисты во главе с адмир. Колчаком представляли собою чисто кастовую власть, узко ограниченную и замкнутую, власть верхней прослойки военных кругов. Европейские фашисты сохраняют все-таки гражданскую структуру власти и не посягают на ее полную ломку, но сибирские фашисты власть гражданскую всецело подчинили власти военной, сведя первую на-нет. Высшим органом власти являлся поэтому при Колчаке не совет министров, как то следовало бы по колчаковской конституции,—совет министров был тогда в совершенном загоне и никакой роли не играл,—а высшим органом власти, если не по конституции, то фактически, было военное учреждение — ставка.

Здесь, в ставке, находившейся вдали от фронта, в самом Омске, решались все государственные дела, большие и малые, творилась вся политика, и внутренняя и международная. Поль. Лебедев, ген. Степанов, Иван Михайлов, Сукин, министр Пепеляев, Гинс—вот та компания, которая направляла всю политику и в руках которой находился и сам Колчак. Настроена ставка, была ультра-реакционно, озлобленно и монархически. Это был боевой военный центр нарождавшейся всероссийской реставрации. Люди, наполнявшие ставку, ничего не признавали, кроме своих узко-кастовых интересов. Лучше всего это сказалось на их отношении к земельной декларации—даже она показалась им слишком радикальной, о чем я говорил уже выше. В вопросах международной политики ставка была настроена в пользу японцев, что и понятно для таких заядлых монархистов. Проводником японской ориентации там был мин. ин. дел Сукин, человек с символической фамилией, воспитавшийся в заграничных посольствах царского времени. В вопросах внутренней жизни на стороне японцев стоял мин. фин. Ив. Адр. Михайлов, которого „молва убийцей нарекла“ (дело Новоселова), оставив за ним в истории Сибири кличку „Ваньки Каина“. Михайлов являлся самым талантливым человеком среди тех государственно-бездарных людей, которые окружали Колчака, но он обладал всего только талантом интригана, виртуоза в этой области, не останавливавшегося перед чисто фашистскими методами устранения своих противников.

Весной 1919 г. вся эта банда—ибо это была действительно банда— достигала кульминационных пунктов своего влияния, и одно время казалось, что она вот-вот получит всероссийское значение, к чему она так стремилась. Если бы это случилось тогда, „сибирские фашисты“ приобрели бы право требовать себе места на международной арене и, быть может, положили бы начало для создания союза мировой реакции. Такую перспективу я считал возможной не только весной 1919 г., но и позже, осенью того же года, во время наступления Деникина, о чем я еще буду говорить, описывая свое столыновение на этой почве в октябре 1919 г. в Иркутске с чешским уполномоченным Богданом Павлу. Нет никакого сомнения, что, если бы такой союз создался, то на восток он простер бы свои шупальца вплоть до Японии, этого стража реакции на всем бассейне Великого Океана.

Я вовсе не считал такую перспективу желательной с точки зрения той общественной позиции, которую я тогда занимал, да и теперь занимаю, хотя, если бы нас и не минула такая чаша, я бы не пришел от этого в отчаяние. Когда реакция приняла бы всероссийский объем, то она, по моему мнению, вызвала бы и всероссийское противодействие. Но, с другой стороны, не было нужды и ждать этого, погружаясь в общественный квиетизм, и наблюдать спокойно реакционную вакханалию, поднимающуюся с окраин к центру. Поэтому, когда, после падения Директории, людям моего образа мыслей приходилось искать спасения путем выезда из Сибири на Дальний Восток, я предпочел быть среди тех, которые остались на территории Колчака в расчете, что здесь, может быть, еще понадобятся и их силы.

И теперь, несмотря на все, потом бывшее, я в этом не раскаиваюсь и считаю правильной ту линию поведения, которой я тогда придерживался, хотя она дала в результате далеко не то, на что я в свое время рассчитывал. Я попробую в своем месте объяснить, почему и как эти ожидания не оправдались и в чем они состояли. Но загадывать об этом весной 1919 г. было еще рано, возможности предстояли всякие. Надо было только действовать. Предстояла борьба. Медлить и откладывать было некогда.

Очерк четвертый.

Кризис чехо-словацкой армии в Сибири.

1. — Роль чехов при Колчане.

Когда люди готовятся или приступают к борьбе, они подсчитывают свои силы и соображают, кто будет за них и кто против них, кто их союзник и кто враг. Две крупные силы привлекали с этой точки зрения мое внимание при Колчане. Одна — местная, сибирская, другая — иностранная; первая трактовалась мною, как своя, дружеская; вторая... Но иметь вторую врагом представлялось опасным, рассчитывать же на ее дружбу, притом не платоническую, а активную, не было как будто оснований. Первая сила — это были крестьяне, второй же являлись чехи.

К этому времени (конец зимы и весна 1918—19 гг.) чешская армия покинула совершенно уральский фронт. Чехи ушли оттуда, так как солдатская масса не желала воевать за Колчака. Вместо фронта чехи расположились в тылу, при том довольно глубоко: район их расположения начинался не ближе Омска и дальше тянулся на восток к Иркутску. Начиная от Ново-Николаевска чехов можно было встретить, на восток и на юг от него, на каждой узловой станции, на каждом крупном железнодорожном пункте. Под Томском, около ст. Томск 2-ой, был расположен целый чешский городок: дома здесь заменяли железнодорожные теплушки. Рельсы были проложены в несколько рядов, и из эшелонов получились настоящие улицы. Местами на них были сымпровизированы беседки, разукрашенные зеленью. Декоративная часть в чешских эшелонах вообще процветала.

Под Томском стояла 1-ая чехо-словацкая стрелковая дивизия. Та же картина бросалась в глаза в Красноярске, в месте расквартирования 3-ей стрелковой дивизии. Тут в распоряжении чехов находилась огромная площадь так называемого „провиантского пункта“ и, кроме того, от вокзала к мосту раскинулся, как и в Томске, целый городок из железнодорожных теплушек. На улицах постоянно встречались военные в чешской форме. Несколько больших зданий занимали чехи также в центре города, не говоря уже о том, что под их контролем находился весь „Военный Городок“.

Дальше на восток: на ст. Ключевенная, на ст. Иланская и около нее в гор. Канске, в Тайшете, в Нижнеудинске, в Черемхове, где находятся

крупнейшие в Сибири каменноугольные копи,—та же картина. И затем новый крупный центр чешского расположения—Иркутск с пригородами.

Во всех этих местах располагались по преимуществу пехота и артиллерия. На юг же от Н.-Николаевска к Барнаулу и еще глубже к горам, к Бийску, встречалась по преимуществу чешская кавалерия. Здесь чешские кавалеристы играли роль карательных отрядов в борьбе с крестьянским движением: их фигуры в характерных красных суконных шароварах постоянно попадались на глаза в этом районе, хотя было их тут не так много, ибо главная масса чехов располагалась вдоль магистрали по средней части Сибири.

В Омске, в правительственных кругах, относились в это время к чешской армии с нескрываемым раздражением: чехам не могли простить ухода с фронта. Считалось, что вместо войны чехи занялись просто спекуляцией, как говорилось в частушках того времени:— „Русский с русскими воет, чехи сахар продают“. Как раз в это время стали появляться в официозной прессе, напр., в „Русской Армии“, негодующие статьи о чехах, которых довольно открыто обвиняли в бездельничестве. Но это было несправедливо: чехи продолжали играть во внутренней жизни Сибири чрезвычайно крупную роль, хотя и не такую, как в начале. На их плечах лежала огромная работа по охране сибирской магистрали от повстанцев, и эта работа целиком была выгодна правительству.

Чешская армия в Сибири за этот период оказалась в трагически противоречивом положении. С одной стороны, чехо-словацкие солдаты, действительно, не желали воевать за Колчака и уходили с фронта самовольно, если командный состав принуждал их на нем оставаться. Чешскую армию в это время стала охватывать неудержимая тига на родину, возвращение туда во что бы то ни стало. Но вместе с тем все чехи, от последнего солдата до генералов, понимали, что вернуться домой они могут только через Владивосток, по „восточному направлению“, как говорилось тогда. А чтобы вернуться домой по восточному направлению, нужно было чехам, прежде всего, иметь в своем обладании сибирскую магистраль. Все мысли и чаяния чешской армии были прикованы к этой стальной нити, связывавшей их с внешним миром. Чехи стихийно тинцлись к ней. В моменты опасности они хватались за нее судорожно, как бы сознавая, что, если их оторвут от нее, это станет началом их полной гибели. Они затеряются тогда в этих бесконечных сибирских пространствах и будут там уничтожены по частям. Поэтому в глазах чехов железная дорога должна была существовать во что бы то ни стало, существовать и непрерывно работать, несмотря ни на какие препятствия.

Но ведь достичь этого, при наличности все поднимавшегося и поднимавшегося крестьянского движения, было не так просто, и чехам дорого доставалась охрана сибирской магистрали. То тут, то там им приходилось напрягать чуть не до максимума свои силы, чтобы сдерживать напор на ту же дорогу повстанческих армий. Я уже указывал, к каким крупным столкновениям это приводило на практике, в особенности на территории Енисейской губ., между Канском и Тайшетом. А сколько было пролито крови на „камарчагском“ или

на „манском“ фронте, или на Алтае—опять-таки ради спасения от повстанцев этой же железнодорожной линии.

Борьба всегда обостряет отношения. Обостряла она отношения и чехов с населением. Осенью 1919 г. „Союзом соц.-рев.“ была издана нелегальная (печатная) прокламация „О чехах“, написанная покойным Борисом Марковым, погибшим впоследствии на Байкале от руки ген. Сипайлова ¹⁾. В этой прокламации, широко распространенной по линии железной дороги, приведено много фактов такого обострения отношений. Хотя чехи в Сибири по отношению к населению держали себя иначе, чем правительственные карательные отряды, тем не менее и они, особенно кавалеристы на Алтае, спускались нередко до уровня ушкунников какого-нибудь Анненкова или Красильникова.

Так нарастала эта огромная драма среди чехо-словацкой армии. Не желая помогать Колчаку, чехи на деле оказывали ему мощную поддержку, без которой он погиб бы гораздо раньше, чем это совершилось на деле. Стремясь пойти навстречу населению и помочь ему в борьбе с реакцией, чехи, напротив, становились для этого населения ненавистными, и все на них начинали смотреть, как на врагов. Это приводило к большим осложнениям в рядах чехо-словацкой армии и вскоре ввело ее в полосу глубокого морально-политического кризиса. Я придавал ему очень большое значение; временами имел возможность близко наблюдать его проявления, как в верхах чешской армии, так и в самых глубоких низинах ее,—поэтому я нахожу нужным рассмотреть его здесь с возможной, при данных обстоятельствах, полнотой.

2. — Что представляли собою чехи.

Чехо-словаки были не единственной иностранной армией в Сибири. Правда, больших иностранных сил там не было, и все разговоры о помощи союзников на фронте, которыми полна была Сибирь летом 1918 г., оказались праздными. Ни тогда, ни после такая помощь не приходила, несмотря на все ожидания. Чехов тоже было не так много — не свыше, если не меньше, 40 — 50 тыс., но все же иностранцы были. Так, кроме чехов, в Сибири за все это время встречались отряды румын, сербов, поляков, латышские отряды, а из европейских государств — итальянцы. Одно время, зимою 1918 г., промелькнули канадцы, но вскоре скрылись. Также быстро продефилировали и также бесследно исчезли французы в своих характерных кэпи, но одетые не по сезону. В Сибири, повидимому, ни тем, ни другим не понравилось. Страна суровая, климат холодный.

¹⁾ Он погиб в числе 31 заложника, казненных бежавшими из Иркутска семеновцами, на Байкале, на пароходе. Их оглушали колотушкой по голове и сбрасывали под винты парохода. Так погибли все 31 чел., в том числе два крупных руководителя названного в тексте „Союза“ — Борис Марков и Павел Михайлов. Основанный ими „Союз“ представлял раньше левый флаг официальной партийной организации, отделившийся от нее и порвавший с нею организационную связь.

Из осколков—или, быть может, вернее, из отбросов—больших европейских армий долгие другие задержались итальянцы. Они перезимовали в Красноярске, одарили всех местных красавиц шоколадом и очаровали их галантерейным обращением, несмотря на полное незнание русского языка. Один из итальянских офицеров издал даже сборник стихотворений о Красноярске на итальянском языке, очень поверхностный и мало интересный, но типичный для этих приезжих гостей. Итальянцы представляли собою настоящую колониальную армию, со всеми свойственными ей недостатками. К нам их привозили из Китая, и на сибиряков они смотрели, как на китайских „були“. Чувствовали они себя здесь, повидимому, как где-нибудь в Абиссинии. Ходили до смешного укутанные в меха и зимой не знали, куда девать время от праздности и скуки. Летом скучать им было некогда, но стало для них еще хуже: на „манском“ фронте их жестоко побил повстанцы.

Среди итальянцев было много спекулянтов, не терявших даром времени. Их полковник был настоящий колониальный бурбон. По приезде в Красноярск он приветствовал особой телеграммой Колчака и в то же время устроил гнусный скандал одной из заключенных в местной тюрьме. После летних боев на „манском“ фронте итальянцы эвакуировались, распродав не без выгоды свое военное имущество.

Несколько в ином роде были румыны и сербы. В массе они были еще менее культурны, чем итальянцы, и просто грубы, в политическом отношении — не надежны. Было рискованно в этом случае иметь с ними дело. У них, собственно у сербов, была одна хорошая черта: они бойко торговали казенными лошадьми, пуская их на смену, и казенным оружием. Благодаря этому винтовки от них попадали на повстанческие фронты. Но делалось это не из еочувствия, а из корысти, временами просто из-за нужды. Характерно также, что личная охрана Колчака состояла из сербов. Юго-Славия, как известно, была единственной державой, признавшей официально правительство Колчака. Впрочем, Колчак от этого получил мало пользы и принял это скорее за насмешку над собой судьбы, так как ждал признания не от сербов, а от англичан и французов, которые с этим, однако, не спешили.

Поляков в этой части Сибири не было: они занимали район около Ново-Николаевска и к югу от него. От поляков население переносило много горя и насилий, память от них осталась тяжелая. При самом падении власти Колчака, поляки запятнали себя гнусным подавлением восстания Барабинского полка в Ново-Николаевске, спасая этим агонизирующую власть. Румыны, напротив, располагались на восток от Красноярска, в Тайшете. Держали они себя приблизительно так, как и поляки. Все эти отряды в целом не представляли особенно крупной силы; кроме того, они в моменты кризиса волей-неволей должны были ориентироваться на чехов. И в этом смысле они пока-что в счет не шли. Главное внимание приходилось обращать опять-таки на чехов.

Чешская армия по своему составу представляла из себя за это время, в отличие, напр., от итальянской, демократическую силу. Шмераль в своей известной книжке пишет, что чехо-словацкая армия в своем большинстве состояла из рабочих. — „Вооруженная сила чехо-словаков на 90% состояла из рабочих и бедных крестьян, — говорит он. — Большая часть из них уже на родине была социалистами. Они были националистически настроены“. Все это безусловно верно. В тогдашней чехо-словацкой армии в Сибири, о которой пишет Шмераль, считалось всего до 80% социалистов. Одновременно значительный процент этой же армии составляли люди с высшим и средним образованием, каковых было во всяком случае больше половины. Очень высоко стоял также общий уровень грамотности: неграмотных, можно сказать, не было; а во время пребывания в России почти все солдаты научились читать и по-русски, что чрезвычайно расширяло их горизонт.

Заслуживает также внимания указание Шмерала, что чехо-словацкие солдаты были настроены националистически. Патриотическое чувство, глубоко вкоренившееся в чешскую армию и воспитавшееся веками, спаивало ее в революционно-националистическую когорту с сильным социалистическим оттенком. Наблюдения над русской жизнью и пережитые чехами в разных концах нашего отечества, — то на фронте, еще при самодержавии, то в военных лагерях, позже при эвакуации и гражданской войне, — обогатили личный опыт солдат и дали им большой материал для размышления. Все это, взятое вместе, заставляло их держаться сплоченной группой, тесной и замкнутой в самой себе, проникнуть в которую чужому человеку, даже пользующемуся доверием, было не так-то легко. Очень часто все двери для него в наиболее интимных случаях оказывались закрытыми, все сердца на замке, и это — при внешней обходительности обращения и даже радушии.

Армия чехо-словаков за это время (я говорю здесь о первом периоде пребывания чехов в Сибири, до переворота 18 ноября) представляла собой не только сплоченный организм в социальном отношении, но точно также и в военном. Давно известно, что организованность — великое дело. Чешская армия была хорошо организованном целым, она прошла большую военную школу, отличалась не только сплоченностью, но и дисциплиной. Однако, здесь царил не та внешняя дисциплинированность, как в европейских армиях; здесь дисциплина выростала на особенной почве, на почве национально-психологического содружества.

Чехия была угнетенной национальностью, она давно лишилась государственного бытия и самостоятельности; Чехия стремилась стать самостоятельным государством в государстве, это была нация заговорщиков, проходившая тяжелую школу упорной борьбы за возрождение. Национальный гнет, под которым жила Чехия, уравнивал все грани внутри нации и, пред лицом все выведливающего государства, делал чехов одинаково братьями по несчастью. Это отразилось и на их армии, как армии заговорщиков. Благодаря этому, чешская армия сама сделалась неиерархически дисциплинированным организмом, наподобие любой европейской, особенно же германской армии, а своего рода

военным „братством“, где командиры и солдаты все говорили друг другу „брат“ и обращались один к другому на „ты“. Так и солдат, обращаясь к своему даже высшему начальнику, говорил ему: „ты, брат, генерал“. — Так как государственного бытия Чехия не знала, то армия должна была создать свои органы власти, не только военной, но и общенациональной, гражданской. Она и создала их в лице Чехо-Словацкого Национального Совета, игравшего роль высшей политической инстанции у чехов.

Совет являлся выборной организацией, следовательно, по происхождению он представлял собою организацию чисто демократическую. Выборными были частично и командные должностные лица. Большую роль играли в армии также полковые комитеты, введенные в нее по известному закону времен Керенского. Всё это придавало чехо-словацкой армии совершенно особый тип, но это же обусловило в огромной степени остроту того кризиса, который пришлось пережить чехам во время Колчака, когда и общая картина жизни внутри Сибири, и положение самой Чехии на международной арене радикально изменились.

Чтобы закончить этот очерк о чехах первого периода, нам необходимо остановиться еще на их патриотизме, отмеченном выше в словах Шмеряля. Чехи были славяне, как и все мы, русские, но они были славяне не такого, как мы, типа. Чехи были славянами, усвоившими европейскую культуру не внешне и не поверхностно, а внутренне, переработавшие ее и применившие к служению своим национальным задачам. Культурно-психологически они были очень далеки от нас, хотя с точки зрения расовой, племенной, они и чувствовали себя нашими братьями. Как славяне, чехи относились очень враждебно к германским народам, вообще к германизму. Тут у них сказывалась глубокая ненависть к прежним, вековым своим угнетателям, и чувство, полное вражды ко всему, что носило какую-либо духовную связь с ними. Был только один народ, к которому чехи чувствовали такую же смертельную ненависть, как и к немцам, это — мадьяры. Но замечательно, что, ненавидя немцев, чехи в сущности всем были обязаны именно немецкой культуре и немецкой образованности, вообще немецкой системе воспитания. Европейскую культуру они воспринимали через Германию и через „германизм“, который они отрицали и ненавидели. Чрезвычайно характерно, что почти всякий из чехов знал по меньшей мере два европейских языка: это, прежде всего, конечно, свой родной, чешский, а затем немецкий, и трудно связать, на котором было легче им объясняться.

Эта школа немецкой культуры, которую прошли у себя на родине чехи, постоянно давала себя чувствовать в сношениях с ними, она же сыграла большую роль в отношении чехов к нашим домашним событиям. Там, где они чувствовали хотя намек на влияние немецкой культуры, а тем паче немецкой государственности, они сразу становились в ультра-враждебную позицию. Это не значило, однако, чтобы чисто русские явления они сплошь сводили в тех или других случаях к простой немецкой интриге. Характерна в этом отношении оценка, по крайней мере некоторыми из них, российского большевизма. Многие из чехов воспринимали большевизм, как глубоко национальное, чисто русское

явление, но дело в том, что сами-то они были слишком немцами,— сколь ни парадоксально такое уподобление их немцам, — чтобы быть большевиками в русском смысле.

Не могу забыть очень любопытного с этой точки зрения разговора, который я имел в ноябре 1919 г. в Иркутске с одним из очень ответственных руководителей „Чехо-Словацкого Дневника“, человеком несомненной образованности и... немецкой культуры. Он, — как это ни странно, — оправдывал Брестский мир, отправляясь от Достоевского и некоторых особенностей национальной русской культуры. Редактор официального „Чехо-Сл. Дневника“, оправдывавший Брестский мир и утверждающий, что русский народ имел моральное право пойти на такой шаг религиозного, как он называл, отречения в духе Достоевского, — это было, конечно, странно и для меня неожиданно. Но он говорил со мной с таким подъемом и искренностью, что я не мог сомневаться в серьезности его суждений. И, однако, чувствовалось, что сам он в этом случае, при всей готовности преклониться перед своего рода моральным подвигом русского народа (и в разговоре с ним держался в этом вопросе иной точки зрения), сам себя не чувствовал способным пойти на месте русских по такому пути. Для этого он был слишком европеец, слишком глубоко усвоил немецкую культуру, при всем ее отрицании. И в этом сказывалось не персональное свойство какого-либо одного чехо-словацкого патриота, а родовое начало.

Если нас, русских, чехи готовы были ставить на пьедестал в виду нашей способности пожертвовать всем национальным, то сами-то они не имели никакой склонности поступиться ни одной чертой, ни одним достижением своей национальной культуры; что же касается до врагов этой культуры и тех или иных препятствий на пути ее развития, в чем бы они ни состояли, то они считали себя в праве всех этих врагов, если потребуется, просто физически уничтожать, а препятствия безжалостно сбрасывать с своего пути. Я говорю это не для фразы: история сибирского переворота знает в этом отношении потрясающие факты.

Быть может, впрочем, это тоже одно из последствий или наследий немецкой школы воспитания и немецкой преданности национально-государственной идее. Так, однако, или иначе, но все это в целом создавало из чехо-словацкой армии в Сибири небольшой, но слитный организм, все части которого были точно пригнаны одна к другой, где каждый знал свое место и понимал, за что он борется, где царил психология национально-племенного содружества, а не внешней дисциплинированности. Это национально-племенное содружество превращало чешскую армию в военное братство, проникнутое демократическими идеями, и оно, это братство, верно или неверно, но считало, что те же демократические идеи им вносятся в славяно-русский мир и в гражданскую войну близкого им по крови, хотя и не по духу, русского народа. Я повторю еще раз: только принимая во внимание все эти особенности чехо-словацкой армии, как мы ее наблюдали в 1918—1919 гг., можно понять и ее роль в тогдашней Сибири, и пережитый ею там глубокий морально-политический кризис.

3.—Чешская дипломатия и союзники.

Характеризуя выше чехо-словацкую армию, я оговорился, что там речь шла о первом периоде пребывания чехов в Сибири. Этот период трудно определить хронологически, но условно можно его обозначить как тот, когда Чехия еще не сделалась самостоятельным государством, а еще оставалась на положении угнетасмой национальности. Но вот на Западе происходит сначала военная, а потом государственная германо-австро-венгерская катастрофа. Сбываются вековые стремления Чехии к самостоятельности, с помощью союзников образуется новая республика—Чехо-Словакия. В Сибири этот период внешним образом отмечается приездом туда нового военного министра только что родившейся республики, ген. Стефанека. Одновременно происходит переворот 18 ноября 1918 г., выдвинувший на первый план адмир. Колчака. Сколько я помню, стояла уже настоящая сибирская зима, конец ноября или самое начало декабря, когда из Владивостока в Омск через Красноярск в сопровождении Богдана Павлу проехал давно ожидаемый чешской армией ген. Стефанек.

Ген. Стефанек в этот момент являлся уже не заговорщиком из среды угнетаемой нации, каковыми заговорщиками являлись перед тем все чехи, а не только сибирские,—это был военный министр признанного державами-победительницами государства. Также точно и Богдан Павлу теперь выступал в новой роли: перед тем он был конспиратор, даже глава конспираторов, так как он являлся председателем Чехо-Сл. Национ. Совета, стоявшего во главе всего чехо-словацкого движения в Сибири,—теперь же он ехал на запад Сибири, как официальный посланник, как посол новой республики. Эта перемена в положении прежних демократических заговорщиков, ставших государственными деятелями европейского типа, не могла, конечно, не отразиться на всей их психологии и на характере их дальнейшей деятельности в Сибири.

Первым признаком такой перемены был у чехов новый курс по отношению к съезду членов Учредительного Собрания, пытавшемуся на Урале—правда, не достаточно энергично и больше в области резолюций—организовать противодействие Колчаку и уничтожить его диктатуру. Чехи перед тем более или менее покровительствовали съезду, теперь же с приездом Стефанека сразу перешли на другие позиции. При их явном попустительстве сибирские войска произвели свержение остатков самарской власти в Уфе и арестовали целый ряд „учреждильщиков“, привезенных впоследствии в Омск и там трагически погибших. Я говорил выше в главе о Н. В. Фомине, что сам я тогда на Урале не был и события эти происходили не на моих глазах, почему я о них не говорил подробно. Но они теперь достаточно освещены в печати ¹⁾, и нет нужды к ним возвращаться еще раз.

¹⁾ См. брошюру Святицкого: „К истории Учредительного Собрания“.—М., 1921, изд. „Народ“.

Эта перемена чешской политики не могла быть неожиданной и странной: чехо-словацкая республика стояла в полной зависимости от союзников и была им обязана самым фактом своего существования. А союзники в это время совершенно определенно перешли на сторону Колчака, содействуя чем только могли его возвышению. Шмераль приводит даже со слов майора Кратохвиля такое заявление Стефанека к войскам в Сибири:— „Не смотрите односторонне на омские события. переворот не был приготовлен только в Омске, главное решение было в Версали“.

И правда, к тому времени, когда Стефанек приехал в Сибирь, Чехо-Слов. Нац. Совет издал уже прокламацию с протестом против переворота в Омске, с заявлением, что этот переворот противоречит идеалам свободы и народо-правства и нарушает начала законности, вследствие чего Совет считает кризис власти не завершенным. Но, во-первых, быть может, именно эту точку зрения Стефанек считал как раз „односторонней“, и, во-вторых, с приездом его самый факт существования Совета терял всякий смысл. Со Стефанеком ехал Богдан Павлу, но уже не в качестве председателя Совета, а в качестве официального посла республики. Я имел в Красноярске на вокзале краткую беседу с Павлу при проезде Стефанека, при чем как раз беседа вращалась главным образом около вопроса об отношении самого Павлу к воззванию Национального Совета о Колчаковском перевороте. Воззвание было подписано не самим Павлу, — он ездил в это время встречать Стефанека, — а Потейдлем и Свободой, и я интересовался узнать, как он к нему относится. Павлу отвечал на это очень уклончиво, и можно было только понять, что теперь положение вообще изменилось, что Чехия стала самостоятельным государством, что прерогативы Национального Совета уже становятся недействительными и вопрос об отношении к правительству Колчака нельзя решать так прямолинейно, как решил его Совет в своем воззвании.

Я совершенно не помню выражений, которые при этом употреблял Павлу, но общий смысл его слов был именно такой. Утешительного в том, что он сообщил, было вообще мало, таков был для меня совершенно ясный итог этой беседы с ним. Самого Стефанека я ни тогда, ни после не видал, но по поведению Павлу я мог хорошо ориентироваться и в его настроении. Становилось совершенно очевидно, что вместе со всеми союзниками верхи чешского командного состава и чешской дипломатии делали ставку на Колчака, при чем они до чрезвычайности идеализировали характер его власти, в чем им скоро самим пришлось воочию убедиться. Но это разочарование должно было притти еще, хотя и в недалеком будущем, пока же чехи либо прямо помогали Колчаку устранять своих противников, либо молча присутствовали при том, как они и без них устранялись. И в том и в другом случае политические результаты представлялись совершенно одинаковыми, разницы между ними не было никакой. Чехи попадали в орбиту международной дипломатии и решительно откалывались от сибирской демократии, держаться вблизи которой они старались перед тем все время.

4.—Сибирская демократия и союзники.

Впервые мне представился случай подойти близко к союзной дипломатии в Сибири осенью 1918 г. (сентябрь—октябрь), в тот момент, когда кончалось Уфимское Государственное Совещание. В самой Уфе на Гос. Совещании я не присутствовал, несмотря на то, что являлся членом Учредительного Собрания от Енисейской губ. Я не поехал туда по разным причинам, в том числе и чисто личным, а главное потому, что я плохо верил в успех совещания. Перед этим я участвовал в первой сессии Сиб. Обл. Думы и, закончив ее, выехал в конце августа 1918 г. к себе в Красноярск, где и думал задержаться на некоторое время. Однако, я пробыл там не больше двух недель, так как в середине сентября я получил из Уфы обширную телеграмму, в которой мне предлагалось немедленно выехать во Владивосток в составе делегации от Уфимского Гос. Совещания для передачи от него приветствия союзному командованию. Кроме меня, в делегации должен был принять участие кн. Г. Е. Львов, бывший премьер-министр. Из телеграммы я мог понять, что во Владивостоке происходит высадка большого десанта союзных сил, который отправится на запад, на уральский фронт. Как потом оказалось, никакого десанта там ни в это время, ни позже не высаживалось и приветствовать там было некого, да и не за что. Впрочем и в самой телеграмме под видом приветствия была замаскирована формула с своего рода предупреждением для союзного командования, из которого союзники должны были понять, что Уфимское Совещание соглашается на высадку десанта при том лишь условии, что задачей его явится не захват нашей территории и тем более не вмешательство в наши внутренние дела, а чисто военная помощь на фронте. Урал в этом случае трактовался, как один из участков общего противогерманского фронта.

Для меня было много неясного в этом поручении, я совершенно не знал, что делается на Востоке,—да и никто этого, как потом оказалось, не знал,—какие шаги там предпринимаются союзниками и какими силами они там располагают. Неясно было также, в какой собственно форме мне придется выполнять поручение Уфимского Совещания. Тем не менее я не хотел вторично уклоняться от всякого участия в работах Совещания и решил ехать на Восток. К тому же меня подкупала возможность лично побывать там и присмотреться к тому, что там происходило и как там складывались общественные отношения. Я решил выехать предварительно в Иркутск, дожидаться там кн. Львова и оттуда продолжать совместно с ним путь дальше.

В Иркутск я приехал числа 16-го или 17-го сентября. Здесь я застал делегацию Сиб. Обл. Думы, тоже ехавшую на Восток, но задержанную в Иркутске военными властями: делегация не получила от них пропуска дальше и была предупреждена ими, что, если она помимо военных властей будет продолжать свой путь, то военные власти арестуют всю делегацию. На Восток в то время проехал уже Вологодский для переговоров с ген. Хорватом. Иркутская администрация, не зная, что ей предпринять для

решения этого столкновения между военными властями и думской делегацией, запросила Вологодского об инструкциях. Вологодский ответил иркутской администрации шифрованной телеграммой (она была в моих руках), что он одобряет распоряжение из Омска о необходимости задержать делегацию и в случае ее упорства—арестовать. Картина становилась совершенно ясной. Власть в Омске в это время фактически перешла к так называемому Административному Совету, изобретенному Гинсом, и он начал уже действовать.

Я очень колебался, ехать ли мне дальше на Восток или вернуться обратно, в Томск, даже в самый Омск. Об этих колебаниях я сказал кн. Львову, когда поезд его прибыл в Иркутск. Я сказал ему, что колеблюсь, ехать ли мне на Восток, и, когда он спросил меня:— „Почему?“—я ответил ему, что по моему убеждению в Омске готовится государственный переворот и, быть может, для меня целесообразнее быть там, а не на Востоке. Кн. Львов стараясь рассеять мои подозрения и особенно оспаривал, когда я ему сообщил, что переворот могут совершить такие люди, как Михайлов и ген. Иванов-Ринов. Не потому чтобы он меня убедил, а по разным другим соображениям, я все-таки решил ехать дальше, не думая, что попытка к перевороту будет произведена так скоро, всего через какие-нибудь 3—4 дня после нашего разговора с кн. Львовым.

Мы быстро проехали Забайкалье и потом Читу. За Читой мы начали встречать на всех станциях японский караул и японские военные отряды. Все эти встречи и свои впечатления от них я описывал уже в своей брошюре „Дальний Восток и наше будущее“ и потому здесь я на них останавливаться не буду. Скажу только, что формула, которая была выработана на Уфимском Советании для предупреждения союзников, сразу обнаружила всю свою академичность: она по меньшей мере запоздала, страна фактически уже оккупировалась и притом худшими из „союзников“. Чем дальше мы ехали, тем мною все больше и больше овладевали обе эти мысли: с одной стороны, там, в Омске надо ждать сильного удара по демократии Сибири, с другой—здесь уже есть „де-ант“ для поддержки тех, кто там что-то замышляет.

После Читы мы скоро миновали Харбин. В Харбине я получил большую информацию о Дальнем Востоке, позволявшую мне с достаточной уверенностью ориентироваться в том, что там происходило. Между Харбином и Владивостоком мы встретили глубокой ночью поезд ген. Гайды (он ехал собственно в двух поездах), направлявшегося на уральский фронт. Это был тот самый поезд, на котором, случайно или нет, оказалась прицепленной старая доска прямого сообщения: „Владивосток — Москва“. За все это время для меня выяснились два отмеченные уже выше обстоятельства: во-первых, что во Владивостоке собственно некого приветствовать, а во-вторых—и не за что приветствовать. В это время во Владивостоке находились: Моррис от американцев, Нокс и Дж. Эллиот от англичан, старый Реньо от французов; Реньо был совершенный рамоли, при нем экспертом по русским делам состоял не безызвестный международный авантюрист Зиновий Пешков, величавшийся „сыном Максима Горького“. История его очень характерна, и я чрезвычайно жалею, что не

могу здесь на ней подробно остановиться. Несколько позже этот „сын Максима Горького“,—его буквально так называла газета „Сибирская Речь“,—принимал деятельное участие в перевороте 18 ноября. Зимой 1918—1919 гг. я его встречал уже в Омске, он состоял там при ген. Жанене. Удивительно, от кого эти генералы получали свою информацию по русским делам!

Никаких, разумеется, десантов, предназначенных на уральский фронт, во Владивостоке не оказалось. Были десанты, но только японские, которые думали вовсе не об Урале, а о том, что плохо лежало гораздо ближе, чем на Урале. От японцев во Владивостоке присутствовал маршал Отани, поддерживавший тесные связи с дальне-восточными атаманами.

Никакого общего плана действий союзники на Востоке не имели. Никакого органа, объединявшего их—не было. Все у них сводилось к тому, чтобы следить друг за другом и не дать обойти один другого при захвате или при разделе никем не охраняемого национального достояния. Было бы высококомично, если-бы я вздумал их собрать всех вместе и начал бы им внушать, что они здесь не для захвата русской территории, не для вмешательства в наши внутренние дела, а для того, чтобы совместно с Россией бороться против германского нашествия или что-либо в этом роде. Ставить себя в такое положение я не имел никакого желания и потому категорически отказался в последнем разговоре с кн. Львовым еще перед Владивостоком от какого бы то ни было „приветствия“. Нужно было думать не о приветствиях, а о чем-то совершенно ином.

Во Владивостоке для меня окончательно выяснилась и еще одна подробность: союзники, поскольку о них можно было говорить, не имели никакого представления о том, что такое из себя представляет Сибирь, и тем не менее брались решать ее судьбы и намечать, какая форма правления для нее была бы наиболее подходящей. Такой формой власти для них представлялся конституционно-монархический строй при предварительном установлении военной диктатуры. Находился на лицо в то время во Владивостоке и будущий диктатор—адмир. Колчак, соперничавший уже давно с ген. Хорватом. Оставалось только транспортировать его на Запад, что тогда же и было сделано.

На обратном пути в Красноярск и Омск я застал в Иркутске ту речь полк. Уорда, о которой говорил выше в очерке о массовых убийствах в Омске и гибели Н. В. Фомина. Картина союзной помощи вполне этим выяснялась, знакомство с ней я мог считать уже законченным. Оставалось подвести итоги.

5. — Еще раз о проф. Персе.

За время моей сибирской жизни описываемого периода я неоднократно формулировал эти итоги, в наиболее же резкой и выпуклой форме мне пришлось это сделать во второй половине того собеседования с проф. Персом, о котором я выше говорил с такой подробностью.

Отчет о внутреннем положении Сибири составлял первую половину моей речи, обращенной к проф. Персу, но у нее имелась и вторая часть, посвя-

ценная внешней политике. Проф. Перс в своем вступительном слове обратился между прочим ко всем присутствующим с просьбой высказать ему вполне откровенно, ничем не стесняясь, свое мнение об интервенции в Сибири, так как, подчеркнул он, отношением к этому вопросу сибирского общественного мнения у них, в Англии, особенно интересуются. Я не имел никакого основания сомневаться в искренности проф. Перса и не чувствовал никакой нужды скрывать в этом случае своего мнения.

Напомнив проф. Персу о его желании слышать от нас всю правду по вопросу об интервенции, я сказал ему, что этот вопрос и нас очень интересует, и если бы он даже не просил нас высказаться по нему с полной откровенностью, мы бы все равно это сделали. Дальше я обратил внимание профессора на то, что в этой области, по нашему мнению, далеко не все обстоит благополучно, и, если так будет продолжаться дальше, это поведет к большим осложнениям в наших отношениях с западными демократиями. Суть в том, прибавил я дальше, что то, что позволяют себе сейчас союзники, в частности англичане, в Сибири, представляет с нашей точки зрения прямой „позор“ для их страны и грозит создать между нами и ими такую пропасть, заполнить которую ничем уж не удастся.

Чтобы пояснить это, я сослался прежде всего на речь полк. Уорда в Иркутске, на то, что он там говорил о „традициях“, о национальном гимне, о монархии в Англии, и как все это воспринималось слушавшими его сибирскими погромщиками. Проф. Перс резко перебил меня на этом месте и, не давая мне продолжать, заявил мне, что он знает полк. Уорда много лет и хорошо осведомлен о его политических взглядах и что он ручается, что полк. Уорд не мог этого говорить или, в лучшем случае, его речь плохо была переведена на русский язык. Я ответил профессору, что, может быть, он и прав, хотя я в этом сомневаюсь, но что у нас в Сибири все так поняли полк. Уорда и такие речи мы считаем позорными для англичан. Если же полк. Уорд понят нами не верно, то профессор прекрасно сделает, разъяснив это публично, во всеуслышание.

Затем я сказал проф. Персу, что, к сожалению, не один полк. Уорд вводил нас в недоумение, а и более ответственные представители английского правительства совершали в этом случае шаги, более чем рискованные. Кто не знает в Сибири, — пояснил я эти слова, — что ген. Нокс играл активную роль при колчаковском перевороте.

Трудно передать негодование, с которым после этого обрушился на меня проф. Перс. Он снова решительно прервал меня, и в дальнейшем наша беседа превратилась в диалог между мною и им, а временами в общий спор и разговор, в котором приняли участие почти все присутствовавшие. Разговор закончился тем, что я передал проф. Персу тот инцидент с ген. Федоровичем, нач. гарнизона Красноярска, который изложен уже выше в очерке об убийстве Фомина. Это вызвало снова большие и длительные споры, но в конце концов факт был совместными усилиями некоторых присутствовавших, слышавших лично ген. Федоровича, установлен прочно, и я мог, хотя и не без труда, закончить

изложение своего мнения, совершенно искреннего и откровенного, об интервенции союзников, в особенности англичан, в Сибири.

Я говорил в этом случае о политике великих держав европейского континента, действовавших в Сибири совершенно самостоятельно, но я мог бы к ним присоединить и новый курс чешской дипломатии, сводившийся фактически к поддержке правительства Колчака, несмотря на то, что широкие массы чехо-словацкой армии относились совсем не так к Колчаку, как их дипломаты, попавшие в плен к покровителям вновь образованной с их помощью республики.

6.—Ген. Гайда и его отношение к Колчаку.

Люди разного социального положения и разной политической физиономии по-разному переживают всякого рода политические кризисы. Так случилось и в данном случае. По одному пути пошла чешская солдатская масса, как это мы еще увидим подробнее дальше, по другому пути пошел чешский командный состав, но и командный состав не весь действовал тут одинаково, а расслоился. Одним из ярких примеров такого расслоения явился инцидент с ген. Гайдой и его отношением к адмир. Колчаку. Правда, очень многое в этом отношении является еще невыясненным и едва ли скоро выяснится, особенно что касается организации переворота 18 ноября, участники которого тщательно скрывают теперь, как он произошел и кто именно играл в нем наиболее ответственную роль. Но кое-что можно все-таки считать установленным и уже вполне выясненным. В частности ясно, что ген. Гайда имел с самого начала какое-то близкое отношение к возведению адмир. Колчака на пост диктатора ¹⁾. Мне, по крайней мере, известен нижеследующий факт, который я здесь считаю не лишним передать довольно подробно, так как сведения о нем я имею из вполне авторитетного источника.

Я говорил уже выше о своей встрече с ген. Гайдой между Харбином и Владивостоком на первом пути туда. Но, как потом оказалось, ген. Гайда, после встречи с нами, имел и еще свидания, о которых я тогда не имел представления. И, быть может, наиболее значительное из этих свиданий состоялось тоже с одним из пассажиров нашего поезда, с будущим министром внутренних дел Викт. Пепеляевым. Пепеляева я застал в поезде кн. Львова, когда встретил его в Иркутске. В поезде кн. Львова он ехал, как частный человек и случайный попутчик, направляясь к своей семье на ст. Манчжури, где мы с ним и расстались. Здесь на ст. Манчжурия ген. Гайда, после встречи с нами, и виделся с Пепеляевым и имел с ним разговор о положении дел внутри Сибири. Оба они сошлись тогда на том,

¹⁾ На допросе в Иркутске Колчак передавал, как он беседовал с ген. Гайдой во Владивостоке на тему о диктатуре, но по рассказу Колчака выходило, что ни к каким практическим решениям они тогда не пришли. Позвоительно сомневаться, так ли это.

что необходима диктатура и нужен диктатор. Я имею все основания полагать, что сам Пепеляев, в отличие от ген. Гайды, шел в этом отношении гораздо дальше и на простой диктатуре не помирился бы. Он был несомненным монархистом, являясь убежденным сторонником кандидатуры на престол Михаила Романова, в гибель которого он не верил. Как человек решительный, Пепеляев не склонен был останавливаться на этом пути ни перед какими препятствиями. Это был настоящий максималист справа, что он и доказал впоследствии своею политикой в качестве министра внутренних дел.

По политическим убеждениям Пепеляев являлся ярким сторонником централизации старого типа, совершенно отрицал федеративный принцип в применении к России и даже к автономному строю относился скептически. К тогдашнему Сибирскому правительству Вологодского он относился с большой долей критики, хотя и доброжелательной, именно потому, что оно было построено на областническом принципе. В международной сфере Пепеляев уже в это время (сентябрь 1918 г.) стоял совершенно определенно за ориентацию на японцев, что было для него очень характерно, и самым энергичным образом требовал союза с атаманом Семеновым. Его очень умиляло также трогательное внимание японцев к вопросу о восстановлении монархии в России.

На ст. Оловянная между прочим у нас разыгрался такой инцидент. Японский генерал, начальник военных сообщений, просил кн. Львова разрешить ему прицепить к нашему поезду свои два вагона, следовавшие в Харбин. Князь Львов разрешил ему это. И, когда этот доблестный военачальник уходил, он, церемонно раскланиваясь, наклонился к уху кн. Львова и спросил его проникновенно: — „А что, не замечается ли в вашем отечестве желания восстановить свергнутую монархию?“

О, если бы это замечалось, как охотно бы он этому помог!

Об этом инциденте, бывшем без меня, Пепеляев рассказывал своим спутникам с видимым удовольствием, тем более непосредственным, что он не знал, что я случайно слышал его рассказ. Несколько позже, во время разговора с Пепеляевым и не подавая вида, что я слышал этот рассказ, я выразился между прочим, что царский престол превратился теперь в терновый куст и в него едва ли кто захочет сесть из прежних властителей, разве только найдется какой-нибудь японский принц, готовый согласиться на это, но и то едва ли. Пепеляев на это ничего не ответил, но один из его спутников (он ехал в компании делегатов Омского военпрома, отправлявшихся на Восток за товарами, чтобы потом на них спекулировать) заметил мне: — „Что ж, может быть, вы и не так далеки от истины, как вам кажется“. И это был, несомненно, голос, вещавший общую для всей компании истину.

Таковы были политические идеалы Пепеляева в то время. И вот в таком настроении он встречается на ст. Манчжурия с ген. Гайдой и ведет с ним разговор о диктатуре и о диктаторе. Сам Пепеляев являлся в этот момент сторонником диктатуры ген. Хорвата, как и все вообще сибирские цевзовики, и едва ли не с целью организации этого предприятия он направлялся тогда на Восток. Позволю себе кстати сказать здесь, что весьма вы-

сокого мнения о дипломатических и вообще политических способностях ген. Хорвата был и кн. Львов, что его до известной степени приближало к Пепеляеву при всех их разногласиях.

Несколько иным являлось политическое настроение ген. Гайды. Прежде всего, он был решительный противник японской ориентации и в частности такого яркого представителя ее на Востоке, как ген. Хорват. Затем у меня нет никакого основания предполагать, чтобы Гайда тогда являлся сторонником восстановления монархии в России,—это не вязалось бы с его открытым японофобством, за которое он впоследствии так дорого заплатил ¹⁾ и со всем его поведением на Дальнем Востоке.

Так однако или иначе, но Гайда в это свидание с Пепеляевым вполне сошелся во взгляде на то, что диктатура необходима. Ободренный этим Пепеляев мог тогда поставить вопрос более конкретно: диктатура—это хорошо, но кто будет диктатором? Быть может, он зондировал почву для кандидатуры ген. Хорвата, но Гайда предупредил его, ответив быстро и определенно:

— „Диктатор едет со мной в этом же поезде. Это адмирал Колчак“...

Итак, вот как далеко в сторону от первоначального отправного пункта уходили в то время некоторые из ответственных лиц чешского командования. Ген. Гайда сделал в этом отношении и еще шаг вперед: вскоре после переворота 18 ноября, когда вывезенный им с Востока, и едва ли на свой риск и ответственность, диктатор достиг власти, он перешел окончательно на русскую службу. Снедаемый большим честолюбием, он несомненно полагал тогда, что пред ним самим открываются тут всероссийские перспективы. На этот путь он увлек часть чешского командного состава, но увлечь на него всех чехов не мог. Более того. Он вырыл пропасть между собой и широкими кругами чешской армии. За ним не пошла даже в массе и чешская дипломатия, предпочитавшая несколько иной, хотя и немногим более лучший, тип отношения к Колчаку. Она не желала принять на себя активной роли в перевороте 18 ноября, но не отказалась от такой политики в дальнейшем, которая вскоре превратила всю чешскую армию в могущественную союзницу Колчака при всем, быть может, недоброжелательном отношении к нему, как к правителю государства. Наиболее ярким представителем этой части чешской дипломатии являлся тогда новый посол Чешской республики, бывший председатель Национального Чехо словацкого Совета, Богдан Павлу. Никто больше его не сделал, чтобы поставить чешскую армию в Сибири в безвыходное положение и довести переживаемый ею кризис чуть не до открытого взрыва и вооруженного возмущения. Нам необходимо здесь остановиться на этой деятельности Павлу, так как иначе будет неясно, как развивался кризис в чешской армии и во что он в конце концов вылился.

¹⁾ Восстание ген. Гайды, поднятое им в Владивостоке 17-18 ноября 1919 г., подавлено было с помощью японцев. Во время боя за вокзал со стороны повстанцев было убито и расстреляно до 300 чел. Расстрелы продолжались и после того.

7.—Богдан Павлу и его позиция.

По своей профессии Павлу был журналистом, по национальности словаком; обстоятельства заставили его сделаться дипломатом, но он не оставлял и журналистики. В „Чехо-Сл. Дневнике“ постоянно встречались его статьи на злобу дня, подписанные правда псевдонимом. Как журналист, Павлу обладал несомненным талантом, статьи его всегда читались с интересом, и в них чувствовался темперамент. Кроме того, Павлу был хорошим наблюдателем русской жизни и умел в образной форме передавать результаты своих наблюдений. Я помню, как однажды в августе 1919 г. он в разговоре со мной характеризовал омскую жизнь. Он говорил о необыкновенном распространении продажности в омских правящих сферах, о поражавшем его развитии „взятничества“ (он делал ударение на „и“, выдавал тем самым свое иностранное происхождение) и вспоминал при этом один рассказ Светония о Британике. Когда Британик прибыл в Рим, его там поразила царствовавшая всюду продажность, и он воскликнул: „О, если бы нашелся такой человек, который бы пожелал купить весь Рим, он легко бы мог это сделать“.—Если бы нашелся достаточно богатый человек, который бы тоже пожелал купить весь Омск, он сделал бы это без труда,—комментировал Павлу рассказ Светония.

Другой раз он очень картинно изображал свои отношения не только к Омску, как воплощению сибирской реакции, но и к демократическим слоям Сибири. В одном из своих публичных выступлений, еще до моего переезда в Сибирь, Павлу рисовал, как чехи ураганом мировых событий оказались заброшенными в глубь сибирской тайги и как бы утонули в ее пространствах. Им приходилось искать своими собственными силами выхода из этих дебрей, чтобы не погибнуть в них бесследно и бесполезно для своей родины. Разыскивая такой выход, чехи наткнулись на раненого, кем-то оставленного в этом царстве хвои и камней. Они подняли его к себе на плечи и пошли дальше, руководясь его указаниями. Этим раненым оказалась сибирская демократия. Заключая с ним союз, чехам приходилось, однако, задумываться над вопросом, что будет дальше с ними и с их новым попутчиком: выздоровеет ли он и вернется ли к нему способность самостоятельно, без их помощи, продолжать свой путь или он ранен безнадежно и тщетно ждать, что он поправится. И если это так, то что с ним делать самим чехам, так как вечно служить ему костылями они не могут.

Такова была дилемма, сформулированная Богданом Павлу еще в самом начале после переворота, когда Чехия еще не приобрела самостоятельности. Эта дилемма обострилась еще сильнее в тот момент, когда после столетнего порабощения Чехия встала на ноги и оказалась способной, хотя и не без чужой помощи, прокладывать себе дорогу дальше. Дилемма эта обострилась, так как к этому времени сибирские чехи пришли к убеждению, что в лице своего попутчика, обретенного ими там, в глухой тайге, они не имеют человека, способного к скорому выздоровлению. Ему не встать самому на ноги, и для чешской

национально-революционной идеи он становился бременем, на поддержание которого они не имели права тратить свои силы.

Этот мотив стал звучать у Павлу особенно сильно с тех пор, как из председателя Чехо-Сл. Нац. Совета он сделался официальным послом республики. Он считал, что чехи достаточно сделали для поддержания сил своего прежнего попутчика и могли теперь — с спокойной ли совестью или, напротив, с тяжелым чувством, для практической политики это все равно, — предоставить его своей судьбе.

Свою позицию в этом отношении он очень рельефно определил несколько позже в Иркутске, высказываясь в политической беседе с делегацией Зем.-Полит.-Бюро о резолюциях, принятых тогда нелегальным земским съездом. Это было в конце октября месяца 1919 г., в момент наступления Деникина на Москву. Павлу находил тогда, что решающим фактором в политике является — Деникин и вообще юг России. Сибирь, по его мнению, к тому времени уже сошла со сцены, и роль ее кончилась. Вопрос решался тем, когда „Добр-Армия“ достигнет всероссийского центра — Москвы. На этот фактор он и считал нужным ориентироваться, не считаясь даже с тем, что рассказ Светония о Британике приложим, быть может, не только к Омску.

Благодаря одному обстоятельству, мне пришлось тогда обменяться с Павлу полуофициальными письмами¹⁾, и я указывал ему, что он говорит о силе Деникина в тот момент, когда начинают обнаруживаться признаки его слабости. Победа Деникина, кроме того, означала бы такой взрыв реакции не только на территории России, но и за ее пределами, который сразу устранил бы для демократии всякую возможность ориентироваться на этих победителей. Но говорить об этом с Павлу было в сущности излишне, — было ясно, что нам не понять друг друга.

Все это случилось, как я сказал уже, в октябре 1919 г., но в сущности то же самое выяснилось и раньше, во время моего свидания с Павлу в начале мая, при его проезде через Красноярск. Здесь позиция Павлу обрисовалась передо мной во всем объеме, и здесь же он продемонстрировал, в чьи волчьи зубы он способен сбросить того равного, которого он сам нашел во время чешских скитаний по дебрям сибирской тайги.

¹⁾ Переписка состоялась по следующему поводу. Я пользовался тогда чешской почтой для сношений с Владивостоком. Мне была гарантирована неприкосновенность переписки. В конце октября я послал во Владивосток большое письмо, в котором излагал свой взгляд на чешскую дипломатию, в особенности на самого Павлу. Через некоторое время после этого я получил письмо от Павлу, из первых же строк которого я понял, что он прочел мое письмо, вскрывши весь пакет, и счел нужным сделать мне возражения. Как это письмо Павлу, так и мой ответ ему, остались в одном из моих сибирских архивов, и я не имею с них даже копии. Об этом инциденте, впрочем, мне придется еще говорить впоследствии.

8.— Богдан Павлу о расстрелах в Красноярске.

Ко времени приезда Павлу в Красноярск, в начале мая 1919 г., политика ген. Розанова дошла до своего апогея. Еще в апреле ген. Розанов ввел в губернии институт заложников: всех арестованных по тюрьмам всей губернии он объявил ответственными за действия партизан и на каждое их выступление в районе железнодорожной линии отвечал расстрелами заключенных по 10—12 человек сразу. Эти расстрелы, как кошмар, повисли над Красноярском и наводили панику на все слои городского населения. Красноярск не столь большой город, чтобы в нем можно было производить такие избиения тайно и крадучись, да таиться и не входило в расчеты ген. Розанова и его штаба. О своих расстрелах штаб ген. Розанова публиковал в газетах и не только не скрывал своих распоряжений, но даже бравировал ими. Вместе с тем бессмысленность их была столь очевидна, что эти репрессии не находили защитников даже среди власть имущих.

С другой стороны, фактической властью в городе был не только ген. Розанов, но также и чехи. Если бы чехи чего-нибудь не пожелали, то у ген. Розанова не нашлось бы сил заставить их поступить так, как он хочет. В частности, в тюрьме, откуда брались для расправ заключенные, не только фактическими, но и формально, по установившемуся порядку, хозяевами были те же чехи. Я говорил уже выше, что комендантом тюрьмы являлся чех—Кнапп. Без его согласия и без его разрешения ни один человек не мог быть вывезен из тюрьмы, ни для освобождения, ни для расстрела.

Во время моего свидания с Павлу я указывал ему на все эти обстоятельства и обращал его внимание на то, что при таких условиях ответственность за расстрелы в глазах всего населения ложится не только на ген. Розанова и на его штаб, а и на чешское командование.

Но кроме того я прибавил для сведения Павлу, что вопрос об ответственности чешского командования может быть в этом случае поставлен и в более острой форме, так как, по моим данным, списки лиц, подлежащих расстрелам составляются, правда, в штабе ген. Розанова, но вместе с тем идут на рассмотрение в чешскую контр-разведку и после того уже окончательно фиксируются. Я указал также Павлу, что, напр., в последних перед его приездом расстрелах двое заключенных, предназначенных сначала к смертной казни, были отведены чешской контр-разведкой и заменены двумя другими лицами. Я настоятельно предлагал Павлу, чтобы все эти сведения он проверил тут же, в Красноярске, и дал ответ официального характера, принимает ли чешская контр-разведка в этих расстрелах непосредственное участие, как это я утверждал, и, с другой стороны, я очень интересовался, как Павлу относится к коменданту Кнаппу, состоявшему на действительной военной службе в чехо-словацкой армии.

Павлу заявил мне, что он не знает процедуры составления списков, но что он не сомневается в полной непричастности к этому делу (он его охаракте-

ризовал каким-то резким словом, в роде „гнусного“) чехов, так что мои сведения, по всей вероятности, не верны. Павлу заявил мне также, что он поедет сейчас в город и, закончив свои очередные дела, наведет там все нужные справки, и просил меня на другой день утром зайти к нему за ответом. На утро он мне категорически заявил, что после справок в соответствующих учреждениях он установил всю процедуру составления списков, но что чехи тут совершенно ни при чем. Иного ответа я от него, впрочем, и не ждал.

Но, передавая мне результаты своего обследования, он вместе с тем сообщил мне о следующем факте. Незадолго до его приезда в Красноярск, на железнодорожной линии у моста Косогор повстанцами было сделано нападение на чешский вагон, прицепленный для охраны к товарному поезду, и при этом был убит находившийся в вагоне чешский унтер-офицер. Это убийство сопровождалось жестокостями со стороны повстанцев, труп оказался обезображенным. Ген. Розанов тогда, по словам Павлу, обратился с официальной бумагой к чешскому командованию, в которой он запрашивал, не пожелает ли чешское командование расстрелять кого-нибудь из заложников в возмездие за убийство чешского унтер-офицера. Павлу заявил мне, что на такой дикий запрос чешское командование не сочло даже нужным дать ответ.

Я должен, однако, прибавить к этому, что после того, как Павлу уехал из Красноярска дальше к Иркутску, на ст. Клоквенную, целая группа заложников была все-таки расстреляна (Петерсон, Боград, Перенсон, Коншин и др.) в возмездие за этого чешского солдата. Об этом расстреле появилось и официальное сообщение, при чем в нем было сказано, что расстрел произведен—„в возмездие за следующий факт, сообщенный чешским командованием: 3-го мая с. г. у моста Косогор, после геройской обороны, был зверски убит и изуродован ст. унтер-офицер 6-й роты 10 чехо-словацкого полка Вондрашек. Чехи,—говорилось дальше в сообщении,—наши братья по оружию, надругательство над раненым героем недопустимо. Расстреляны не за смерть его, но за зверство и мучения, которые он перенес“.

Чехи в этом случае как бы брались за одну скобку с русскими, и у всех, кто читал заявление ген. Розанова, оставалось впечатление, что расстрелы заложников произошли с ведома и одобрения чешского командования. Если же этого не было, то, следовательно, процитированное выше заявление ген. Розанова было самой злостной провокацией по отношению к чехам. Но в таком случае на него нужно было ответить хотя чем-либо, между тем со стороны чехов ответа никакого не последовало. Все это, взятое вместе, производило вполне определенное впечатление.

Я думаю, всеми этими справками достаточно ярко обрисовывается, в каком тупике находилась тогда чешская армия и в каком кровавом клубке противоречий запутались ее руководители. Сознавали ли они это? Я не задавался этим вопросом, но я видел ясно другое. Когда я говорил с Павлу, я чувствовал, что я стою как бы перед стеною, в которую я каждый раз упирался, как только заводил речь об общем курсе принятой чехами политики в Сибири и о ее результатах, подобных красноярским. Так и чувствовалось, что передо

мною стоит уже не чехо-словацкий журналист, вчера еще сам бывший на положении рядового гражданина и едва выбравшийся из чуждых ему лесных дебрей,—а стоит тут европейский дипломат, который понял, что не его дело заниматься политической филантропией. Он не мог думать о том, что там в кустах, где он только что был, остался какой-то раненый в гражданской войне, настолько еще сильный, чтобы указать ему дорогу, но уже не способный послеть за ним. Политика—вещь суровая: тот, кто не может сам постоять за себя, гибнет,—так было всегда, так и останется еще надолго в будущем.

Павлу был, несомненно, проникнут этим глубоким национальным эгоизмом, научившим его спокойно смотреть даже на расправы ген. Розанова. Всякие прения, разговоры и протесты становились тут излишними; чем больше они возникали и чем настойчивее я старался их вести, тем глубже и глубже раскрывалась между нами какая-то пропасть. Мы могли быть сколько угодно любезными друг с другом, тем не менее для меня уже в этот момент становилось ясным, что по существу мы занимаем непримиримые позиции, что мы—враги.

Об этом я мало жалел. Если есть враги,—найдутся и союзники. Враги наших врагов для нас—союзники.

В то время как я разговаривал с Павлу, я имел уже в резерве такого союзника,—этим союзником для меня была чехо-словацкая солдатская масса. Опираясь на нее, можно было иначе разговаривать и с русскими властями и с самим чешским послом.

9.—Как развивался кризис у чехов.

Параллельно тому, как формировалась по новому чехо-словацкая дипломатия, аналогичный процесс происходил в низах армии, но только иного значения. Начало ему положил так называемый приказ за № 588, изданный военным министром Стефанеком по приезде его в Сибирь. Этим приказом чехо-словацкая армия переводилась на положение обычной регулярной армии, в которой не могло быть места разного рода демократическим вольностям, вроде комитетов, выборного командного состава и других новшеств революционного времени. Если Чехо-Словакия стала независимым государством и если прежний институт уполномоченных, возглавляемый Нац. Советом, был заменен обычными консулами и послом, как их общим руководителем, то, естественно, аналогичные реформы должны были быть введены и в армию. Удивительного и неожиданного тут ничего не было, и тем не менее в той обстановке, в которой эти реформы вводились, они больно ударили по всей солдатской массе. Они послужили ферментом, под влиянием которого в армии началось брожение, начравленное против применения приказа № 588. Об этом движении в чехо-словацкой армии я слышал и раньше, но подробные сведения о нем получил только в ту весну, которую я проводил в Красноярске, в апреле месяце, даже собственно еще в конце марта. Сведения о нем приходили ко

мне разными путями и из разных источников, главным же образом повод к ним явился следующий.

В марте 1919 г. мной была издана в Красноярске брошюра „Дальний Восток и наше будущее“, с приложением статьи о ген. Гайде, о чехо-словацкой армии и сибирской демократии. Это был ответ мой ген. Гайде на его публичное отречение от слов, им мне сказанных и мною, быть может, несколько поспешно оглашенных. Так как этот инцидент получил тогда в сибирской цензовой прессе, постаравшейся придать ему некоторое политическое значение, большую огласку, то я на нем останавливаюсь здесь подробнее.

Осенью 1918 г. томские биржевики во главе с известным монархистом, полк. Сумароковым, организовали сбор на поднесение ген. Гайде золотого оружия. Золотое оружие было поднесено ему, когда он находился во Владивостоке в сентябре 1918 г., перед тем как произошла моя встреча с ним на перегоне между Харбином и Владивостоком. Во время этой встречи я сказал генералу, что томские биржевики поднесли ему золотое оружие, но понимает ли он, чего они от него ждут и чего хотят.—„Они хотят,—сказал я ген. Гайде,—чтобы вы этим золотым клинком закололи русскую свободу“. Генерал, кажется, не ожидал этой фразы и несколько смутился (я, впрочем, не знал тогда, что в это время в его поезде находился адмирал Колчак), а затем сказал мне, что „больше этих подарков делать ему не будут“.—Этим разговор и закончился.

Позже, в Томске, я читал лекции о Дальнем Востоке и нашем будущем. Я сознательно выбрал Томск, имел в виду томских биржевиков. На лекции, между прочим, я привел, характеризуя цензовую среду, и этот разговор. Так как полк. Сумароков был боевым монархистом, то он не пожелал оставить без ответа мою ссылку и послал ген. Гайде, который перед этим только что оставил чешскую службу и перешел к Колчаку,—значит золотой клинок мог ему там пригодиться,—газетные отчеты о моей лекции с запросом, точно ли переданы мной его слова. Ген. Гайда не решился собственно отрицать слов, им сказанных, но написал в ответ Сумарокову, что смысл, приданный его словам мною, есть моя выдумка.

Слово—„выдумка“ было во всяком случае произнесено, и по всему фронту цензовой прессы от Урала до Востока прошла целая волна утрированного возмущения, которое изливалось и в статьях, и в фельетонах, и в стихах, и в прозе. Про меня писали, что я лгун, что я наклеветал на уважаемого генерала, сочинил, чего не было, и не знаю, каких еще только сравнений не употребляли по моему адресу в сибирской прессе. Привлекли также к ответу и партию, „лидером“ которой я, по мнению прессы, являлся.

На все это в другое время можно было бы не обращать внимания. Мало ли, что писала обо мне цензовая пресса, начиная с моего выступления в Обл. Думе против Гришина-Алмазова. Но промолчать на этот раз я не мог.

Письмо ген. Гайде я прочитал дорогой, когда ехал из Омска в Красноярск с вышеупомянутым сенатором—„сибирским Кони“. На ст. Тайга я купил

свежий номер „Сиб. Жизни“ и там, по пословице: на ловца и зверь бежит,—нашел целую литературу о самом себе. До Красноярска у меня было времени достаточно, чтобы обсудить, что делать и как отвечать генералу, оказавшемуся между двух огней. Ответ собственно можно было бы написать весьма просто, но, во-первых, существовала военная цензура, с которой я должен быть считаться, а, во-вторых,—должен сказать здесь это прямо—я не хотел сжигать всех кораблей относительно ген. Гайды. Я не верил в долговременность и прочность его союза с Колчаком и полагал, что он еще может пригодиться.

Моя статья в ответ ему первоначально появилась в томской газете „Труд“, потом в сокращенной перепечатке в ново-николаевском „Нар. Слове“, но уже в Иркутске из газеты „Мысль“ она оказалась целиком вычеркнутой цензурой. Я мог только удивляться, что этого не случилось еще в Томске.

Тогда я решил обойти цензуру, перепечатав статью в отдельной брошюре. По закону это можно было сделать, так как предварительной цензуры для брошюр не существовало, а уже после отпечатания каждая вышедшая книжка представлялась в канцелярию управляющего губернией в 8 экз. для просмотра. Как она там просматривалась, я не знаю, знаю только, что цензурный аппарат был налажен, по крайней мере в Красноярске, плохо; напротив, аппарат по распространению,—и действовал через кооперативы,—работал энергично. Раньше чем цензура успела рассмотреть брошюру, она уже разошлась по разного рода общественным организациям и частным лицам, в том числе нашла себе доступ в чехо-словацкую армию в виду приложенной при ней статьи о ген. Гайде.

Чехи охотно поубунали мою книжку, и среди них я нашел не только читателей, но также лиц, пожелавших войти со мной в непосредственное общение. Эти знакомства обновили мои связи с армией чехо-словаков, главным образом на ее низах, в чисто солдатской среде. Наиболее ценными являлись тут установившиеся таким путем сношения между мной и представителями нескольких полковых комитетов, находившихся либо в самом Красноярске, либо на линии железной дороги на запад, к Томску, и на восток от нас, к Иркутску. Это были чрезвычайно важные и чрезвычайно ценные связи. Так как чешская армия была хорошо сплочена и изнутри организована и так как, несмотря на приказ № 588, комитеты пока-что существовали и охватывали почти всю внутреннюю интимно-политическую жизнь солдатской массы, так как они продолжали пользоваться в ней несомненным авторитетом, то иметь с ними непосредственные сношения для меня представлялось более, чем желательным. Через них я мог стоять в курсе всей политической и военной жизни армии, мог от них получать всестороннюю информацию и о ее внутренней жизни, о командном составе и царивших среди солдат настроениях. С другой стороны, через тех же делегатов я имел возможность в той или иной мере оказывать хоть отчасти влияние на формирование политического образа мышления чешских солдат, даже не входя с ними в непосредственное общение и в более тесное соприкосновение. Непосредственное общение с широкими

солдатскими массами требовало бы неизбежно выступления на массовых собраниях, что было далеко небезопасно, что же касается сношений с представителями полковых комитетов, то их можно было вести вполне конспиративно.

От представителей полковых комитетов я узнал о движении в армии против приказа № 588 и очень скоро убедился, что это движение по существу далеко ушло от своего первоначального источника и грозит превратиться, — вернее, уже превратилось, — в глубокий морально-политический кризис, вызванный не тем или иным отдельным, удачным или неудачным приказом министра Стефанека, а общим характером политической обстановки, в том числе международной, в которой находилась вся чехо-словацкая армия в Сибири. Основные этапы этого движения, сообразно которым развивался кризис в чешской армии, поскольку сейчас я могу это восстановить в своей памяти без справок с документами, которые находятся теперь не в моем распоряжении, состояли в следующем. Оно возникло еще в конце 1918 г. и проявилось прежде всего на Урале. К моменту колчаковского переворота оно настолько уже обозначилось, что Нац. Совет счел необходимым, дабы не потерять нравственной связи с армией, отгородиться от ответственности за переворот 18 ноября и от солидарности с Колчаком. После приезда министра Стафанека это движение получило новые стимулы и широко разлилось по армии. Здесь, же на Урале, именно в Екатеринбурге, еще в конце зимы произошло собрание представителей чехо-словацкого гарнизона, которое и приняло соответствующие резолюции об отношении к текущим событиям. На том же гарнизонном собрании была создана инициативная ячейка, которой было поручено сформулировать лозунги движения и созвать на основе их общеармейский съезд для выработки общеармейской линии политического поведения. На съезд могли быть избираемы представители только от солдатской массы, а не от командного состава в чем состояла характерная отличительная черта этой стадии чехо-словацкого движения. Съезды бывали там и раньше, на съездах происходила и организационная и политическая работа, но раньше эти съезды были легализованы и объединяли всю армию от верхов и до низов. Теперь же приходилось созывать съезд самочинно и делать его исключительно органом солдатской массы. Этот первый общеармейский съезд был созван в том же Екатеринбурге в апреле месяце 1919 г., в середине месяца или в самом начале его второй половины. Сколько я помню, на него собралось 44 делегата, главным образом от 1-ой и от 2-ой дивизий, так как делегаты 3-ей дивизии, стоявшей значительно дальше к востоку, в районе Красноярска, на съезд опоздали и прибыли туда только к самому концу его работ. Съезд принял ряд важных решений, но все-таки в виду недостаточной полноты состава постановил считать себя конференцией, а не органом, полномочным на общеармейские решения, обязательные для всей солдатской массы. Делегация от съезда отправилась в Омск к Павлу, была им принята, хотя и неохотно, и имела с ним бурное объяснение. В делегации приняли участие и представители 3-ей стрелковой дивизии, заявившие о своей солидарности с принятыми резолюциями.

Не считаясь совсем с резолюциями съезда Павлу не мог и потому частично некоторые требования съезда обещал выполнить. Так, напр., съезд настоятельно выражал желание, чтобы из Чехо-Словакии была направлена в Сибирь особая делегация, по составу обязательно социалистическая, которая бы, ознакомившись на месте с положением армии, помогла ей найти достойный выход из политического тупика, созданного для нее поведением чешской дипломатии. Точно также съезд от себя направил делегацию на родину. Впоследствии такая делегация действительно прибыла из Чехии под председательством д-ра Крейче, но она далеко не во всем удовлетворяла солдатские круги.

Заканчивая свои работы, Екатеринбургская конференция постановила созвать новый съезд с полным представительством всех частей армии и на нем еще раз пересмотреть принятые решения. Делегацию от конференции Павлу, однако, предупредил, что такой съезд допущен не будет. Тогда решено было созывать его конспиративно и нелегально. Временем этого съезда была назначена приблизительно половина мая 1919 г., несколько позже этот срок был отодвинут на 30 мая; место же съезда оставалось окончательно не определенным, предполагалось лишь, что его работы будут происходить где-нибудь в районе наиболее густого сосредоточения чехо-словацких войск, то-есть или около Томска и Мариинска, или около Красноярска. Съезд этот собрался впоследствии в Иркутске уже около середины июня месяца.

Все эти сведения и вообще всю информацию об этих событиях, все документы, обрисовывающие их деятельность, а также текст редактированных на них воззваний, я получил приблизительно во второй половине апреля 1919 г., за месяц или за три недели до предполагаемого созыва съезда. Из всего этого для меня сама собой возникала задача—во что бы то ни стало продержаться на воле до этого съезда и постараться попасть на него, чтобы принять участие в его работах по определению линии политического поведения чехо-словацкой армии в Сибири. Для этого мне, разумеется, было необходимо предварительно сговориться с наличными полковыми делегатами об их позиции на съезде, при чем эти переговоры с ними желательно было поставить таким образом, чтобы для них самих сделалась ясной необходимость и важность моего присутствия на съезде. Работу эту приходилось вести с известной осторожностью — я был все-таки иностранцем для чехов, а всю свою интимно-политическую жизнь они тщательно скрывали от чужих глаз.

Знакомясь с политическим настроением и взглядами тех делегатов, с которыми я встречался то вместе, то порознь, я составил себе известное представление о политической физиономии чешского солдата за этот период времени, и должен был этим представлением руководиться. Позже один из членов делегации д-ра Крейче (в октябре 1919 г.) выставил против меня обвинение, что, на основании моих отзывов о политическом настроении чешских солдат, у чешской дипломатии составилось убеждение, что среди чехов есть много „большевиков“ и что это в некоторых случаях привело к печальным последствиям.

Это было очень не точное изложение моих взглядов на чехо-словацких солдат. Я, действительно, находил на основании того материала, который про-

ходил через мои руки, что у солдат-чехов безусловно наблюдается временами очень яркое проявление большевистского настроения,—это относилось особенно к их взглядам на свой командный состав, на чешское офицерство, нередко проникнутое, как то замечалось в Красноярске в штабе 3-ей дивизии, традициями немецко-австрийского юнкерства. Ненависть, иногда очень обостренная, и недоверие, порой очень глубокое, к собственному командному составу, было широко распространено в это время у чехов и питалось самыми разнообразными источниками. Этим настроением их принимало оттенок большевистского. Но в смысле политического мировоззрения, поскольку его можно было уяснить по тем данным, какие проходили через мои руки, картина получалась несколько иная. Чешские солдаты того времени в своей массе были убежденные и сознательные демократы, правда, порой очень крайние и „левые“, но все же демократы. Из этого прежде всего и приходилось исходить в сношениях с ними и в выработке линии политического поведения. Здесь были их и сильные, и слабые стороны.

Рассматривая с этой точки зрения как те, так и другие, я обращал прежде всего внимание на ту роль, которую чехи придавали приказу за № 588 министра Стефанека.

„Наша малая дружина,—говорится в одном обращении Екатеринбургского съезда к чехо-словацкому правительству,—явилась зерном, из которого выросла самостоятельная армия, имевшая, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, с самого начала свой особый характер, у которого нет ничего общего с современными армиями, построенными по старым образцам. Наш солдат был не только солдатом, но и гражданином. Он не располагал тем, что имели почти все армии: организованным государственным аппаратом, и поэтому мы должны были его сами из себя создать. Так возник Национальный Совет для России и другие демократические органы нашей армии. Но деятельность их была довольно широка. Этими учреждениями, которые не имели ничего общего с большевизмом, мы были горды и свято их оберегали. Они были частицей нашей автономии, за которую мы пошли сражаться и которую мы требовали для всей нации. Они заменяли нам общественность, печать, парламент, политические организации, всё, что в демократической стране называется гражданской свободой. К сожалению, освобождением нации и созданием правительства на родине очень мало сделано для нас, для устранения нашей оторванности от родины, для установления правильного сообщения с нею. Мы убеждены, что нам автономные учреждения и дальше нужны“.

Между тем они оказались аннулированными приказом за № 588, против которого поэтому и протестуют авторы приведенного документа, принятого всем съездом и направленного с особой делегацией на родину. В обращении к правительству, из которого взяты приведенные слова, эта мысль о необходимости оставить в армии автономные учреждения играет доминирующую роль, ей там посвящено главное внимание. Но в моих глазах приказ за № 588 не играл такой всеопределяющей роли, как в глазах чешских солдат-делегатов. Я полагал вообще, что на этой почве им не выиграть своей тяжбы с командным

составом. Мое внимание привлекала, напротив, такая сторона, которая в воззвании у них оставалась в тени, будучи в ней выраженной всего в нескольких строках:

„Мы боимся, чтобы история когда-нибудь не сказала, что мы своим присутствием здесь помогали правительству, которое не отвечало нашим политическим убеждениям, и шли против русской демократии“. И еще одна фраза такого же рода:—„когда мы были на фронте, за нашими спинами власть завоевана была реакцией“.

Именно эти мысли, бегло выраженные в постановлениях съезда, привлекали особенное мое внимание. Направить сюда все русло политической мысли тех делегатов, с которыми я имел дело, и составляло мое основное задание. Как это было сделать? По существу эта задача не представляла особенных трудностей, материала для решения ее имелось много, но дело в том, что в самом политическом настроении чешских солдат и в лозунгах, ими принятых, отсутствовала психологическая подготовленность к восприятию надлежащего решения. Чехо-словацкая армия стояла в общем на точке зрения „пассивного“ протеста, тогда как вся обстановка требовала от них,—раз они, действительно, не желали, чтобы за их спиной организовывалась реакция, и раз они не хотели помогать правительству, которое не соответствовало их политическим убеждениям,—протеста хотя бы с известной долей активности.

Пассивный характер протеста у чешских солдат и видел в том, что у них основным лозунгом являлось требование ухода домой, требование увода войск через Восток на родину. Но чехи не могли своими средствами выехать домой. Для того, чтобы совершить этот огромный путь через Суэцкий канал и Триест из Владивостока в Прагу, у них не имелось никаких технических средств, совершить этот путь они могли только с помощью союзников, а союзники не желали их вывозить из Сибири. Удерживая же там чехов, они возлагали на них тяжелую задачу поддержки правительства Колчака путем охраны железной дороги от нападений повстанцев. Очевидно, надо было искать какой-нибудь выход из этого положения, при чем я полагал, что этот выход должен быть такой, чтобы для всей массы солдат-чехов он мог казаться практически выполнимым и вместе с тем не слишком противоречил их общему настроению.

Пока мы искали с чешскими делегатами выхода из этого положения, события шли своим чередом. Полк. Ирхала, нач. 3-ей дивизии, стоявшей в Красноярске, издал особое „Объявление к населению Енисейской и части Иркутской губ.“, в котором говорилось, что постоянные нападения на линию железной дороги, не прекращающиеся злоумышленные крушения поездов, террор над железнодорожными служащими и пр., заставили чехов взять железнодорожную линию под свою охрану. Полк. Ирхала объявил поэтому о твердом решении чехо-словацких и других союзных войск не допускать никакой порчи железнодорожного пути, не допускать никаких насилий над мирным населением злодейских покушений на жизнь как чехо-словаков, так и местных русских граждан.

„Всем жителям, находящимся на расстоянии десяти верст по обеим сторонам железной дороги, объявляем,—говорит дальше полк. Ирхала,—что полоса эта нейтральна, и всякий, кто заблаговременно не сообщит о каком

бы то ни было здесь подозрительном движении, будь это уже со стороны населения местного или лиц чужих, пришедших, будет привлечен к строгой ответственности. Те же, кто будут достигнуты или уличены в участии в большевистской агитации, в порче путей, насилии или же убийстве, как равно и все, кто не подчиняется распоряжениям чехо-словацких и прочих союзных властей, будут подвергнуты строгим карам, не исключая и смертной казни“.

Полк. Прхале не давали спокойно спать лавры ген. Розанова, и он издал объявление, в сущности повторяющее приказы знаменитого генерала. Лучшее демонстрирование солидарности между ними трудно было бы себе представить.

Почти одновременно с опубликованием полк. Прхалой этого объявления я получил от солдат-чехов предложение сформулировать в письменном виде те общие решения, к которым мы начали с ними в конце концов приходиться. Они желали получить такой документ, чтобы на съезде иметь проект готовой резолюции, которую осталось бы только провести. Однако, дать просто им в руки проект такой резолюции я не считал для себя удобным по многим причинам, но я предложил им другое. Я сказал, что я напишу критику приказа полк. Прхала, постаравшись ее по возможности фактически обосновать; что этот документ будет в то же время заключать в себе материалы для резолюции, если не самую резолюцию. Затем, я предложил им, что такую критику приказа полк. Прхала я, с одной стороны, представлю ему самому с сопроводительным письмом — и, с другой, передам полковым делегатам в нескольких копиях за своей подписью, и эти копии они могут размножить и распространить тем или иным путем перед съездом.

Так составилась мой доклад, — „Приказ полк. Прхала и мирное население Енисейской губ.“, поданный мной ему 12 мая 1919 г. и вызвавший с его стороны попытку принять против меня репрессивные меры.

Смысл доклада сводился в общем к тому, что всякого рода насилия над мирным населением и разного рода „злодейские покушения“, как выражался сам полк. Прхала, производятся у нас не только какими-либо разбойными бандами а — прежде всего — *агентами самого правительства*.

„Мирное и благонамеренное население Енисейской губ. страдает в настоящее время, — говорится в заключительной части моего доклада — от насилий и злодейских покушений на его жизнь не только со стороны каких-либо разбойничьих банд, а — и это особенно важно — со стороны агентов правительственной власти и руководимых ими карательных отрядов так называемого особого назначения. Этот основной факт полк. Прхала в своем приказе не учел и, если он не станет и дальше его учитывать, то он может еще больше уничтожить в ней деревень, и еще больше залить страну кровью, чем она залита кровью до сего времени отрядами особого назначения, но он не даст ей мира и, не дав мира, поставит свои войска в совершенно безвыходное положение“.

Дальше говорится, однако, что, если полк. Прхала действительно озабочен тем, чтобы дать обеспечение мирному населению от насилий и злодейских

покушений над ним с чьей бы то ни было стороны, то он должен, прежде всего, на всей линии железной дороги ввести полную дисциплину во все находящиеся там войска и во все отряды особого назначения. — „Он должен сделать так, чтобы со стороны этих войск не наносилось мирному и благонамеренному населению никаких насилий и не производилось никакого, а тем более „злодейского“ покушения на его жизнь“.

Если бы полк. Прхала попробовал выполнить хоть часть такой, в сущности чрезвычайно скромной и умеренной, программы, он бы вошел в такой конфликт не только с ген. Розановым, деятельность которого в моем докладе была подробно освещена, как во-истину „злодейская“, на основании тех же фактов, какие и приводил в беседе с проф. Персом,—но и с самим Колчаком. А этот конфликт помог бы быстро чехо-словацкой армии найти выход из переживаемого ею кризиса и дал бы ей возможность без жгучего стыда за свою роль в Сибири уйти домой на родину¹⁾.

Доклад был мной передан полк. Прхале тотчас по составлении, копии пошли к делегатам. Но, кроме доклада, я представил полковнику сопроводительное письмо, в котором я писал, что печать в Сибири находится в таком положении, при котором я не могу опубликовать своего доклада, но что я это сделаю при первой возможности, чем бы это ни грозило мне со стороны русских военных властей. Кроме того я прибавлял, что я смотрю на чехо-словацкую армию, как на своего рода военное братство (этот взгляд полковник абсолютно не разделял), где солдаты не изолируются от общегражданской и политической жизни, а потому я очень желал бы, чтобы мой доклад дошел до сведения не только верхов армии, ее командного состава, но и до ее низов, в гущу солдатской массы. Я заявлял, наконец, что за все факты, приводимые в докладе, я беру на себя полную ответственность, как за вполне достоверные.

Дни через два после этого я получил от полк. Прхалы официальное извещение, за подписью как его, так и начальника его штаба, майора Кванила, в котором оба они ставили мне на вид, что всякая пропаганда в чехо-словацкой армии со стороны посторонних лиц строжайше воспрещена.

Я, впрочем, это знал и без таких авторитетных разъяснений...

Почти одновременно с этим я узнал, что ген. Розанов хорошо осведомлен о содержании моего доклада полк. Прхале. Но, каким путем он с ним ознакомился, мне до сих пор неизвестно. Последнее не представляло, впрочем, большого интереса в моих глазах. Я считал доклад свой официальным документом. Он был написан в защиту мирного населения Енисейской губ., говорить от лица которого я считал своим правом и своей обязанностью, как делегат от него в Учредит. Собрание. Я и подписал доклад в качестве депутата в это учреждение от местного крестьянства (моя кандидатура в Учредит. Собрание была выставлена по инициативе общегубернского крестьян-

¹⁾ Позже чехи должны были это официально признать, издав свой «Меморандум» 13 ноября.— Я еще буду иметь случай коснуться особо этого документа.

ского съезда). Как официальный документ, я и позже распространял его всюду, где только мог.

Я полагал также, что этим путем я легче всего открою себе дорогу на съезд чехо-словацкой армии. К сожалению, я не мог тогда дать ему печатное распространение и только в выдержках и в переделке, под другим заглавием и несколько изменив повод для его опубликования, я поместил его в №№ 12-13 журнала „Нов. Земское Дело“, который я тогда редактировал.

Позже я узнал, что полк. Прхала, получив мой доклад и особенно сопровождавшее его письмо, поставил вопрос о моем аресте. Я был лучшего о нем мнения. Я полагал, что он попытается это сделать без дальних обсуждений.

Быть арестованным полк. Прхалой, это значило получить лишний довод для приглашения на съезд. Я был убежден в то время, что такой арест,—я считал его вообще возможным после того, как получил вышеупомянутое извещение от полк. Прхалы,—не мог бы быть долговременным и опасным. Он придал бы мне популярность в чешской массе, не больше.

Этот арест тогда не состоялся из-за протеста политического уполномоченного тех же чехов. Туча прошла мимо. Но я не знал еще тогда, что над моей головой в то же время собиралась гроза страшнее той, которую готовил мне полк. Прхала.

10. — Кап. Шемякин о судьбе Бориса Моисеенки.

Об этой опасности я узнал из совершенно неожиданного источника, от кап. Шемякина, начальника штаба атамана Красильникова. Об этом инциденте мне хотелось бы рассказать подробнее, так как в нем есть много характерных деталей.

Мое выступление на собеседовании с проф. Персом, мои беседы с Богданом Павлу, не являвшиеся ни для кого секретом, мой доклад полк. Прхале, повторявший все те обвинения, которые я выставлял против ген. Розанова в присутствии проф. Перса,—все это и многое другое создавали вокруг меня напряженную атмосферу и делали мое существование в Красноярске затруднительным. Я прекрасно понимал, что близится час, когда мне придется бросить все и уезжать отсюда, но, имея хорошую информацию о своем положении, о чем я говорил в своем месте, я полагал все-таки, что до открытия чехо-словацкого съезда я здесь смогу пробыть благополучно, если и не совсем спокойно. Расчеты мои, однако, не оправдались.

Я служил в то время в губернском земстве. Еще в марте, когда происходили перевыборы председателя губ. земской управы, съехавшиеся гласные-крестьяне настаивали, чтобы я выставил свою кандидатуру на этот пост. Я решительно отклонил от себя такое предложение, находя его совершенно нецелесообразным и практически просто невыполнимым, и высказался за другого уже имевшегося кандидата, — Григория Прохоровича Сибирцева, который

и был тогда избран. Сам же я взял сравнительно небольшой отдел, издательско-литературный, связанный с редактированием „Нов. Земск. Дела“, что давало мне возможность следить за всей земской деятельностью и быть в постоянном общении с Гр. П. Сибирцевым, как председателем земской управы. Каждый день, иногда по нескольку раз, я заходил к нему в кабинет по тем или другим делам. Однажды, — это было числа 17 мая, — зайдя к Сибирцеву, я увидел, что у него сидит какой-то военный. Я схватил при беглом взгляде потемневшие капитанские погоны, скромную пинель, интеллигентное лицо и, так как мне показалось, что они ведут конспиративный разговор, я повернулся, чтобы уйти, но был остановлен Сибирцевым. Сибирцев мне сказал, что им нужно как раз меня. Затем он представил меня своему собеседнику и назвал его. Оказалось, что это был кап. Шемякин, начальник штаба атамана Красильникова. На такую встречу я не рассчитывал никак. Когда я спросил капитана, в чем дело и зачем я ему нужен, он ответил мне:

— Я пришел предупредить вас, чтобы вы немедленно выезжали из Красноярска.

Начиная с марта месяца я постоянно получал такие предупреждения, иногда из очень серьезных источников, и, однако, прожил все это время спокойно. Я передал об этом Шемякину, но он снова, еще настойчивее повторил, что я должен уехать немедленно, иначе мне грозят большие неприятности. На вопрос: „От кого?“ — он сообщил, что пришел сюда из штаба Розанова. Два часа тому назад его вызвали туда на особое совещание. На нем присутствовали: сам ген. Розанов, начальник его штаба, которого я выше назвал „сибирским Сланцевым“, затем ротмистр Крашенинников и еще два офицера, которых Шемякин не знал. Перечислив этих лиц, Шемякин прибавил, обращаясь ко мне: — „Речь шла о том, что делать с вами. Ваша фамилия была названа полностью. Вы должны немедленно уехать“.

Я ответил, что ареста, о котором тут идет, по видимому, речь, я не опасюсь. Меня не арестуют.

— Вас и не хотят арестовывать — снова возразил Шемякин. — С вами решено поступить, как с Моисеенко.

Как с Моисеенко? Но ведь мы так в сущности и не знаем, что было с Моисеенко. Нам известно только, что Моисеенко 24 октября ушел часов в 10 веч. из Коммерческого клуба в Омске и больше нигде не появлялся. Что с ним случилось — это так и осталось тайной.

Я сказал это в расчете, что Шемякин объяснит, что тогда произошло с покойным Борисом Николаевичем, и, действительно, он очень быстро мне ответил, подчеркивая голосом местоимения:

— Это вы не знаете, а мы хорошо знаем.

Шемякин рассказал дальше, что в тот вечер, когда Моисеенко вышел из Коммерческого клуба, на улице около подъезда его остановили военные, поджидавшие его в автомобиле, и заявили, что он арестован. — „Это не был политический арест, — прибавил Шемякин, — это было уголовное дело“. Офицеры, арестовавшие Моисеенко, знали, что у него на руках находится большая

сумма денег (у него имелось около 3-х милл. рублей), как у секретаря съезда членов Учредит. Собрания. Думая овладеть этими деньгами, они арестовали Моисеенко. После ареста его отвезли на частную квартиру, при чем Шемякин прибавил, что он знает как имена этих офицеров, так и квартиру, на которую был отвезен Моисеенко. Привезенный туда Моисеенко на все вопросы о деньгах отвечать отказался. При нем денег не оказалось, где они хранятся и как их взять, он не сказал. Тогда его начали пытать. Но и под пытками ничего не добились. Цытали его всю ночь. Под утро его задушили. Труп выбросили в Иртыш ¹⁾.

Такие истории в тогдашнее время происходили постоянно (ср. главу „Что мы переживали“ в 3-м очерке) и невероятного тут ничего не было. Да и рассказывал это начальник штаба Красильниковского отряда, которому стучать краски не было никакой нужды. Когда мы остались одни, Сибирцев передал мне, что Шемякин — член омского „блока“ общественных организаций, человек безусловно честный. В штаб Красильникова он вступил по решению „блока“, чтобы там сдерживать хулиганство красильниковских героев, а также останавливать и его самого. Говорили мы с Шемякиным и на эту тему; я дал ему свой доклад полк. Прхале. На другой день Шемякин снова был в земской управе и доклад мне вернул. Мне показалось, что он был им недоволен. Он сказал, что все это правда, что я пишу, но не в этом суть. А в чем, — я спрашивать не стал. У меня было к нему какое-то чувство — я бы сказал — жалости. Мне казалось, он, по существу действительно честный человек, запутался в чем-то и не может найти выход. Я смотрел на него и думал про себя:

— Степанова-то Красильников все-таки повесил.

Я многого тут не понимал, а расспрашивать было некогда. Да и разговор у нас как-то не клеился, особенно при вторичном свидании. На его вопрос, что я намерен делать, я сказал ему тоном более сухим, чем сам хотел, что я останусь в Красноярске. Он мне ответил:

— Делайте, как знаете. Я вас предупредил.

Больше мы с ним не встречались. Я не могу забыть, что он хотел предохранить меня от возможной гибели. И мне до сих пор жаль, что я ему такой услуги оказать не мог.

Я тогда — спасся. А позже он — погиб.

¹⁾ Борис Николаевич Моисеенко, член боевой орган. п. с.-р., участник ряда террористических предприятий, организатор покушения на вел. кн. Сергея Ал., окончившегося взрывом 4 февр. 1905 года. О нем см. „Воспоминания“ Савинцова в журн. „Былое“ в частности в главе о деле 4 февр., но у Савинцова роли Моисеенко придано меньшее значение, чем она была в действительности. Сам Моисеенко тоже оставил воспоминания об этом деле, напечатанные в „Деле Народа“ от 17 февр. 1918 г. О бесследном исчезновении Моисеенко см. также у Святццкого: „К истории Всеросс. Учредит. Собрания“. — Очерк событий на востоке России в септ.-дек. 1918 г. Изд. „Народ“. М. 1921 г., стр. 43—44, 65—66.

11. — Снова в дороге. — На Алтае.

Не знаю, рассказывать ли дальше. Придется говорить исключительно лишь о самом себе, а это всего труднее. Попробую все-таки это сделать, ограничиваясь самым необходимым.

После ухода Шемякина я пробыл в городе всего 5—6 дней, не больше. Сначала я решил, что смогу пробыть недели две и просил всех, кто меня обычно информировал, держать меня неустанно в курсе того, что происходит в штабе Розанова. Я полагал, что на улице меня не схватят, особенно днем, а ночью я мог не оставаться дома. Прошло дня три,—все было спокойно. Ночевал я все же дома, уходить из дома не хотелось. Это было, конечно, неблагоприятно, но судьба меня хранила. Однажды утром мои информаторы прислали ко мне экстренный запрос, в какой квартире я ночую и, вообще, где я. Они сообщили, что в последнюю ночь ко мне на квартиру был послан патруль из казаков Красильниковского отряда, чтоб взять меня, но казаки ошиблись адресом. Они пришли на ту улицу, где я жил, но не в дом № 2, как у меня, а в дом № 3. — Потом оказалось, что из дома № 3 они прошли в № 13, но не догадались спросить напротив. Я был в эту ночь дома.

Ясно было, что надо уходить. Случилось это числа 21 или 22 мая. Но, прежде чем уйти, я решил сесть и написать письмо адмир. Колчаку. Излагать здесь, что я писал тогда, нет смысла, надо бы привести письмо целиком, но я его не имею. В общем я писал Колчаку, что его ставленники здесь, как впрочем и везде,—убийцы. Я говорил там также, что это письмо будет мне служить самозащитой, так как копии с него я разошлю всюду, куда только можно, чтобы оглаской факта предохранить себя от опасности.

Затем начался совершенно особый переплет событий. Я совершил одну крупную ошибку, которая меня чуть не погубила. У меня имелась связь в штабе Розанова, которой я редко пользовался, но думал, что она надежная. Я мог давно проверить ее, но не проверял за разными делами. Когда я писал письмо Колчаку, ко мне пришел один из посредников, поддерживавший сношения с этой связью в штабе Розанова. Он увидал, что я пишу, потом ушел. Через час или полтора он возвратился и передал, что видел, кого нужно, сказал ему о письме моем к Колчаку и тот страшно просит дать ему прочесть, что я пишу. Но перед тем, как он пришел, я узнал, что человек, которому я доверялся, этот штабный у Розанова,—на самом деле его надежнейший помощник. И меня предостерегали от каких-либо сношений с ним. Я почувствовал себя, как в капкане. С ужасом я сознавал, что я сам своими руками сомкнул концы этого заколдованного круга и мне теперь, казалось, уж не вырваться.

Я решил немедленно уходить из дома. Это было утром 22 мая. Стоял прекрасный день. Солнце заливало светом дом, в котором я жил. Около дома никого не было. Было 11 часов, когда я, уходя из дома, на минуту остановился на крыльце, быстро соображая, как мне идти. Я уже успокоился и знал, что делать.

Я вышел из дома в одном верхнем платье, в полу военном костюме. Мне надо было пройти в район вокзала, на противоположный конец города, к месту расположения чешских казарм. Я должен был там встретиться с делегатами от полковых комитетов и окончательно условиться, куда и как мне ехать. Хорошо знал город, я пошел боковыми улицами, но в одном месте не хотел делать крюк, чтобы обойти тупик, повернул в проходной двор, из него в другой и очутился... в казармах казачьего дивизиона! Возвращаться было поздно. Через двор прошел благополучно.

В этот день мне была удача на хорошие встречи. Едва я вышел из дивизиона и стал переходить через улицу, как заметил полицейского пристава Храмцова. Он стоял и ждал кого-то. Мы были с ним в роде как коллеги, он считал себя литератором и сотрудничал в „Своб. Сибири“. Там он писал пьесы разного рода, в том числе и обо мне. Был взяточник и жестокий человек. Позже, при свержении Колчака, попал в тюрьму. Однажды уголовные зазвали его к себе в камеру и закололи ножами.

Наконец — я в казармах. Решаем, куда мне ехать. Передо мною лежало два пути, на запад и на восток. Восток... Это рисовалось столь соблазнительным. Уехать куда-нибудь к самому синему морю, или даже дальше, за море, на край света, чтобы раз навсегда стряхнуть с себя кошмар этой жизни. Сделать это так легко, стоит добраться только до Иркутска, а дальше путь открыт.

Но тут имелись и опасности. По дороге к Иркутску нужно было бы миновать Камарчагу, где в этот момент как раз начинались бои, потом Канск, резиденцию Красильникова. А что, если я окажусь у него в руках, не повторится ли история со Степановым? Чем это лучше истории с Моисеенко?

Мне казалось разумнее взять направление на запад. Иногда всего безопаснее — пойти на встречу опасности, а не убегать от нее. Одна ночь пути и — на утро я уже не в сатрапии, подвластной Розанову, а вне ее. К тому же предполагалось, что именно в этом районе будет чехо-словацкий съезд, уезжать вдаль от которого мне не хотелось.

Я так и решил: ехать на запад, но не в Омск, а к югу, на Алтай. Я давно не был в тех местах, там можно переждать грозу.

Так я условился с моими телохранителями, ибо с этого момента они сделались настоящими стражами моей безопасности. Мы окончательно решили, что я еду на запад, а не на восток. Ехать я должен был в чешской теллушке. Она прицеплялась к каждому почтовому поезду и пользовалась всеми правами экстерриториальности.

Поезд уходил после полуночи и у меня оставалось еще много времени до отъезда. Чтобы скоротать его, я решил уйти в окрестности Красноярска, на те высокие береговые холмы, которые выходят на Енисей около Гремячего. Оттуда открывался вид на долину, напоминавший „Над вечным покоем“ Левитана. Суровая красота сибирской природы, которую я научился ценить только теперь, после многолетних мытарств по чужим странам, — далеко уносила меня от пережитых тревожений, и они начинали казаться мне такими мелкими и жалкими, даже иллюзорными.

Не сон ли это? Не вернуться ли к себе домой?

Когда я спускался с холмов обратно, совсем стемнело. На небе ярко горели звезды. Ночь была безлунная. Ровно в полночь я был в теплушке. Сидя там, я видел в полуоткрытую дверь, что на вокзале началось какое-то движение, потом мои спутники начали о чем-то совещаться и плотно закрыли дверь, взяв предварительно винтовки. Пора было уже ехать, но сигналов не было. Когда, наконец, мы тронулись, мой спутник, положив винтовку около себя, сказал, что перед отходом на вокзале появилась большая группа офицеров, поставила стражу у всех выходов и начала производить обыск в поезде, стоявшем рядом с нами и отправлявшемся на восток. Как хорошо,—прибавил он,—что мы не поехали в Иркутск, если даже они искали и не нас.

Через несколько дней я был на Алтае. Я пробыл там целый месяц. Это дало мне возможность ознакомиться с положением дел в крае и обновить ряд личных связей. Благодаря этому, я получил впоследствии ту информацию о Черно-Ануйском съезде и протоколы его работ, которыми я пользовался выше. Руководителями съезда и всего партизанского движения в этом районе были исключительно крестьяне, местные люди. Трагична их судьба.

Начавшись еще в конце лета, партизанское движение в этой части Алтая было разбито правительственными войсками в начале осени, в октябре месяце. Часть повстанцев ушла в горы, в алтайскую чернь, часть разошлась по губернии. Из числа же не желавших покоряться выделилась небольшая группа в 10 человек, которые под чужими именами пробрались в Омск и здесь поступили в личную охрану Колчака. Они поставили своей целью убить адмирала.

Омск к этому времени начал уже эвакуироваться, выехал и сам Колчак. В Барабинске эти черно-ануйские повстанцы произвели крушение поезда Колчака, но не вполне удачно. Заговор был наполовину раскрыт. Заподозрили наших повстанцев. Из них восьмерых повесили, один бежал, а последний, десятый, оказался вне опасности и по-прежнему остался в конвое адмирала.

Это был „главковерх“ черно-ануйского движения. Человек чрезвычайно крупных способностей, превосходный организатор, с необычайно сильной волей. Он представлял собою воплощение тех настроений, которые создавали когда-то крестьянские „жаберии“. Позже, накануне крушения колчаковщины, я встретился с ним в Красноярске. Он разыскал меня и, оставаясь по-прежнему в конвое Колчака, информировал меня обо всем, что происходит там. Я считаю его одним из самых крупных по способностям и по характеру вождей сибирских партизанов. Где он теперь, не знаю.

На Алтае я узнал о падении Перми. Одновременно начали появляться признаки нарастающего партизанского движения в крае. Можно было бы остаться здесь, но я не хотел быть отрезанным от магистрали. Я решил поэтому выехать снова к этой железнодорожной артерии Сибири, и еще раз собрался в путь, обратно в Ново-Николаевск. Хорошо помню, что прибыл туда под праздники—было два праздника: суббота, день Петра и Павла,—в Сибири наступала сенокосная пора,—и воскресенье. Оба праздника я проводил за городом, а в город приехал в понедельник. Здесь кто-то из кооператоров мне передал последнюю

сенсацию: на вокзале стоит поезд ген. Гайды, вооруженный чуть-что не пушками, а в городе офицеры его штаба зондируют настроение. Были в „Закушбыте“, спрашивали между прочим про меня. Роман ген. Гайды с Колчаком, очевидно, окончился. Меня это очень заинтересовало, и я стал ждать, что будет дальше.

12. — Новая встреча с ген. Гайдой.

Часа через два после этого я виделся с одним из офицеров из штаба ген. Гайды (теперь он—коммунист!), и он наскоро ввел меня в круг омских новостей и передал мне о конфликте Гайды с адмир. Колчаком. Он выразил при этом сожаление, что между мной и генералом произошло зимой такое „недоразумение“, и это теперь мешает нам с ним увидеться, несмотря на все его желание. Я сказал на это, что, если кто может считать себя задетым в этом споре, то во всяком случае не ген. Гайда. Но если у ген. Гайды есть ко мне серьезное дело, то вспоминать о старом я не стану. Этим почти решался вопрос о моем свидании с ген. Гайдой.

Впоследствии я вынес много нареканий за то, что согласился на этот шаг, нареканий до известной степени понятных. Достаточное количество поводов к ним давал сам ген. Гайда. Отрицательные стороны его характера, а также его карьеры, были всем известны, а мне, быть может, ближе чем кому-либо иному. Честолюбивый по натуре, ген. Гайда отличался крупным властолюбием,— это была его отличительная черта, постоянно выражавшаяся склонностью к диктатуре. Затем, по натуре, это был жестокий человек, не знавший жалости там, где царил закон войны. Ему было бы не так трудно попытаться, свергнув одного диктатора, самому сесть на его место, в чем его тогда подозревали и на что у него могло хватить и сил, и смелости. Все это было мне известно, и тем не менее я счел бы политической ошибкой свой отказ от свидания с ним.

Я не говорю о том, что само по себе это свидание меня ни к чему не обязывало,—его всегда можно было сделать только информационным. Но и помимо этого, я менее всего опасался индивидуальных свойств характера ген. Гайды, а также тех интимных целей, которые он мог себе поставить. Я полагал в то время, что идея военной диктатуры уже пережила самое себя, что она сделалась объективно несостоятельной и не сможет возродиться на прежней почве. На наших глазах терпела крах вся система военной диктатуры, а не только личная власть Колчака. Падение Перми предопределяло для меня падение Омска, и было настоящим галицийским поражением сибирской реакции. Для замены одного диктатора другим в таких условиях не могло быть данных, их не было и в новой группировке общественных сил. Обстановка изменилась радикально по сравнению с той, при которой выступал Колчак и которой он не умел воспользоваться, и никакой Гайда, будь он еще более энергичен и обладай еще большей силой воли, не смог бы при таких условиях укрепить порядок,

уже исчерпавший себя и в своих собственных глазах потерявший силу самооправдания.

С другой стороны, самый разрыв ген. Гайды с Колчаком являлся показателем разложения военной диктатуры и одним из ярких признаков ее грядущего крушения. При таком разладе в командном составе диктатура теряла свою силу и могла зашататься даже под сравнительно слабыми ударами со стороны народных масс. Надо было только обострить этот разрыв в среде правящих кругов, надо было довести его до открытого конфликта, вложив в руки одного из противников меч возмущения. Я полагал, что, если бы я имел возможность сделать это и не сделал, я бы совершил акт политически почти преступный. Между тем, зная характер ген. Гайды, я мог рассчитывать, что он не остановится на полпути, а дойдет до крайних выводов, какие только могут быть продиктованы ему его положением.

Не важно, если первоначальным стимулом для этого послужит пусть даже уязвленное самолюбие властолюбивого генерала. Но важно, что этот генерал все еще имел крупное имя в армии и группировал около себя наиболее здоровые элементы. Привлечь такого человека на свою сторону значило бы получить авторитетный доступ во все слои командного состава, в том числе и низшего. Я вообще полагал тогда, что без командного состава с правительством Колчака справиться будет не легко, и в этом отношении мои опасения слишком оправдались опытом 12-дневных кровавых боев за Иркутск, тогда как при надежном командном составе этот город можно и должно было бы взять почти без боя, как перед тем Красноярск.

Наконец, имя ген. Гайды имело вес не только во внутрисибирских отношениях, а и на весах международной политики, с чем тоже приходилось считаться в обстановке неизжитой интервенции.

По всем этим соображениям я считал необходимым, не взирая ни на какие личные с ним счеты, согласиться на это свидание и ознакомиться, чего он собственно хочет и что он может сделать в данной обстановке. Я лично не думал, чтобы он стал стремиться к посту диктатора, — он достаточно обжегся на чужой диктатуре, чтобы мечтать о собственной. Да и политически, в отличие от русских генералов, он настолько то был развит, чтобы понимать, что этот овощ не ко времени. Но, во всяком случае, на такой предмет могли быть приняты заранее предохранительные меры.

Борьба с диктатурой Колчака, если бы она оказалась сколько-нибудь успешной, неизбежно должна была привести, кем бы она ни велась, пусть даже не к большой, но все же чувствительной смене политического режима, к раскрепощению тех сил, которые до того были порабощены. А благодаря этому открылась бы возможность для организации народных масс и для создания из них такой силы, которая гарантировала бы страну от возрождения режима диктатуры при смене самого диктатора. Но в таком случае никакая форма военной диктатуры не смогла бы укрепиться и стать опасной для интересов социального развития. Всё это я учитывал, соглашаясь на свидание с ген. Гайдой.

Позже от тех, кто меня порицал за этот шаг, я слышал и еще аргументы, в силу которых такое свидание считалось недопустимым: это аргументы морально-политического характера. Они напоминали мне одну фразу Белинского в его переписке с Боткиным. „Я жид по натуре, — говорит Белинский, — и за одним столом с филистимлянином не сяду“.

Гайда был несомненно филистимлянином, садиться с ним за один стол, пусть даже только для разговоров, — а ведь дело могло кончиться не одними разговорами, — было недопустимо для тех, кто знал, каким смерчем проходил иной раз он по тем или иным местам Сибири. Этот аргумент был, конечно, серьезнее других, это правда, но в моих глазах соображения политической целесообразности отодвигали в данном случае на второй план соображения моральные. Ведь я же должен был вырвать из его рук тот золотой клинок, которым филистимляне соблазняли его заколоть русскую свободу, и вложить в них меч для борьбы с ее врагами. Может быть, я брал на себя непосильную задачу, но, все-таки, почему было не рискнуть?!

Соглашаясь на свидание с ген. Гайдой, я поставил условием, что никто не должен знать об этом. За ген. Гайдой слишком тщательно следили в городе специальные агенты (по особому приказу Колчака), я не знал кроме того, кто с ним едет, поэтому рисковать оглаской свидания не хотел. Эта осторожность впоследствии принесла мне большую пользу, ибо до самого конца правительство Колчака не знало о моих сношениях с Гайдой. Оно слишком прочно успокоилось на том, что моя встреча с ним невозможна в виду зимнего столкновения между нами. И на это я тоже рассчитывал.

Поезд ген. Гайды отходил на восток в тот же понедельник, тотчас после полуночи. Я предложил поэтому устроить мое свидание с ним в поезде, во время пути, с тем, чтобы на любой промежуточной станции я мог сойти с него так же незаметно, как предполагал войти.

Около полуночи я пришел в условленное место около вокзала и, дождавшись там провожатого, никем не замеченный, вошел в поезд ген. Гайды. Мой первый разговор с ним о Колчаке и о том, что делать, состоялся на перегоне от Ново-Николаевска к ст. Тайга. С этого момента начался новый период моей деятельности в Сибири, о котором надо говорить особо.



**КАРТА
ПОВСТАНЧЕСКИХ РАЙОНОВ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ**

при КОЛЧАКЕ
(1918-1919 гг.)

МАСШТАБ-1:6.720.000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
верст.

МОНГОЛИЯ

У К А З А Т Е Л Ь.

- Авксентьев, 75.
Адрианов А. В., 53, 60, 73, 112.
Александров, 142.
Алексеев, ген., 99.
Алейников, 51.
Анненков, атаман, 14, 73, 93, 99, 139, 148.
Аргунов А. А., 6.
Артемьев, ген., 127, 128, 129, 130, 138.
Асиновский, 139.
Атилла, 125, 133.
- Бабины, бр., партиз., 9, 24.
Бабунин М. А., 45.
Барсов, 83.
Барташевский, 62.
Белинский, 133.
Белов, полк. („Витгенкопф“), 71, 72.
Бжозовский, ген., 81, 83, 87, 96, 112 — 114.
Блинов Ив., 137.
Блок А. А., 6.
Бобров Николай, 82.
Боград Як., 137, 165.
Болдырев, ген., 120, 121.
Бологов, 17, 19.
Вондарев, 40.
Воткин В. П., 183.
Бойчук Ян, 137.
Брешковская Е. К., 67.
Британиэ, 162, 163.
Брудерер А., 79, 80—83, 87, 90.
Буревой К., 97.
Бурцев В. Л., 36.
„Былое“, журн., 4, 177.
- Вавилов, прапорщ., 137.
„Ветровская демонстрация“, 5.
Вейман Фед., 137.
Висковатов, прок., 98, 113, 114.
„Власть Труда“, газ., 94.
Волков, ген., 75, 102, 139.
- Волконская, ел., 5.
Вологодский П. В., 6, 71, 73, 77, 84, 89, 95, 96, 117, 132, 155, 156.
Вольский, с. р., 97.
Вондрашек, чех, 165.
Востротин С. В., 68, 69, 112.
- Гаррис, амер. конс., 109—111, 113, 114.
Гайда, ген., 53, 56, 140, 156, 159—161, 167, 168, 171, 181—183.
Герцен А. И., 65.
Гинс Г. К., 64, 71, 72, 84, 96, 102, 112, 144, 156.
Глухарев, полк., 59.
Гоголь Н. В., 74.
Голиков, 14.
Головачев М. П., 71.
Гофер-фон, мин. фин., 116.
Гоп А. Р., 70.
Грибоедов А. С., 114.
Гришин-Алмазов, ген., 71, 73, 74, 101, 112, 167.
Гришина-Алмазова, 73, 93, 112.
- Дарвин Ч., 4.
„Дело Народа“, газ., 68, 69, 70, 177.
Девятов, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 92, 93.
Девятова С. И., 77, 78, 85, 86, 92, 110.
Деникин, ген., 61, 143, 145, 163.
Дидерихс, ген., 140.
Двинаренко, 113.
Директория, 6, 57, 83, 102, 103, 106, 145.
Достоевский Ф. М., 47, 91, 105, 114.
- Емелин А. А., 86, 87.
„Египетский Вестник“, газ., 136.
- Жанен, ген., 102, 107, 157.
Жардецкий, 57, 58, 84, 102, 112, 113.

- „Закусбьт“, 87, 88, 94, 112, 181.
 „Западно-Сиб. комиссариат“, 6.
 „Заря“, газ., 117.
 „Звездная Палата“, 118.
 „Зеленая Роща“, 90, 91.
 „Земская Сибирь“, журн., 28.
 „Земск. Полит. Бюро“, 7, 27, 28, 53, 56, 127, 163.
 Иванов Всеv., 107.
 Иванов Ник., 79.
 Иванов-Ринов, ген., 56, 101, 103, 110, 111, 113, 114, 133, 141, 156.
 „Извест. Главн. Шт. Алт. Окр.“, 35, 46.
 „Известия“, (москoвск.), 69.
 Ильинский, прив.-доц., 107.
 Иоффе Семен, 137.
 Кадлиц, полк., 25.
 Каледин, ген., 69.
 Калмыков, атаман, 139.
 Катанаев, полк., 102.
 Квапил, майор, 122, 174.
 Керашилов, партизан, 14.
 Керенский А. Ф., 74, 93, 107, 151.
 Кнненский, милиц., 100.
 Киряенко, с.-д. 83, 92, 93.
 Ключников, проф., 102.
 Кляпп, чех, 122, 164.
 Колчак А. В., („Верховный Правитель“), адмир., 6, 7, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 26—29, 32—34, 36, 41, 43, 48, 50—52, 54, 56—59, 61—65, 69, 83—89, 90—94, 97—99, 101—114, 116, 117, 119, 120, 121, 126—131, 135—139, 143, 144, 146, 149, 151, 153, 154, 156, 159, 161, 167—169, 172, 174, 178—183.
 Кошкин Ив., 137, 165.
 Корнилов, ген., 59, 60, 69.
 Короленко В. Г., 3, 4, 67.
 Коростелев Г., 137.
 Коротков, пор., 121.
 Кравченко, партиз., 9, 16—19, 34, 38, 136.
 Краковецкий, 74.
 Красильников, ген., 17, 81, 102, 123, 124, 143, 176, 177, 179.
 „Красн. Знамя Труд“, газ., 68.
 Крашенинников, ротм., 121—123, 176.
 „Крестьянск. Правда“, газ., 17, 35.
 Крейче, д-р, 170.
 Кропоткин, кн., помещ., 114—116, 118.
 Крутовский Вл. М., 7, 59, 71.
 Кузнецов, след., 62.
 Кускова Е. Д., 40.
 Куликов В. В., 83—87.
 Лебедев, ген., 61, 102, 117, 119, 144.
 Левальд Карл, 137.
 Левитан, худ., 179.
 Ленин Н., 40, 97.
 Лиссау, 83.
 Локтев, 83.
 Лубков, парт., 9, 14, 30.
 Львов, кн., 102, 155—157, 159—161.
 Масвский, с.-д., 83, 90, 93—95.
 Маерчак В., 137.
 Маклаков В., 113, 114.
 Макушкин П. И., 59.
 Мамин-Сибиряк Д. Н., 21.
 Мамонтов, парт., 9, 11, 17, 26, 46.
 Мамонтов, ген., 101.
 Мариловцев Вас., 137.
 Марков Борис, 148.
 Марковецкий, 83.
 Мартынов, полк., 141.
 Матковский, ген., 111, 113, 114, 133.
 Матузов, парт., 14.
 „Махновщина“ 13, 29—31.
 „Меморандум“ (чешский), 174.
 Менчуг, 137.
 Милославский, партиз., 12.
 Михаил Ал-дрович, вел. кн., см. Романов, Мих.
 Михаил Николаевич, вел. кн., 3.
 Михайлов Ив. Адр., 71, 74, 112, 116, 117, 119, 144, 156.
 Михайлов Павел, 148.
 Михаловский Б., 105.
 Моисеенко Б. Н., 75, 123, 175—177, 179.
 Моррис, 156.
 „Мысль“, газ., 168.
 „Накануне“, газ., 102.
 „Народный Голос“, газ., 31.
 „Народное Слово“, газ., 168.
 Наше Дело“, газ., 64.
 „Национальный Чехо-Словацкий Совет“, 151, 153, 161, 163, 166, 169.
 Некрасов Н. А., 5.
 Некрасов Н. В., министр, 60.
 Нитавский Ал-ей, 137.
 „Новое Земское Дело“, журн., 28, 53, 119, 140, 175, 176.
 Новоселов А. Е., 6, 7, 9, 75, 90, 138, 144.
 Новоселов, партиз., 9, 15, 30, 31, 45, 48.
 „Новое Слово“, журн., 4.
 Нокс, ген., 63, 64, 107, 158.
 „Общее Дело“, газ., 36.
 Остриков Влад., 133.
 Отани, маршал, 157.

- Павленков Ф. Ф., 59.
Павлов В. Е., 62.
Павлу Богдан, 145, 153, 154, 161—166, 169, 170, 175.
Пепеляев, ген., 71.
Пепеляев, мин. В. Н., 87, 102, 112, 142, 144, 159—161.
Пепсин Иоганн, 137.
Перенсон Адольф, 137.
Перс, проф., 131—133, 141, 143, 157, 158, 174, 175.
Петерсон Ольгерд, 137, 165.
Петров, министр, 117—119.
Пешков Зиновий, 156, 157.
Плетнев, партиз., 12.
Плешков, ген., 69.
Подвицкий В. В., 62.
Попов, ген., 19.
Портянников П. М., 133.
Потанин Г. Н., 4, 5, 53, 59, 90, 95.
„Приказ № 588“, 166, 168, 169, 171.
Прокопович С. Н., 40.
Прхала полк., 52, 122, 172—175.
Пугачев Ежельян, 18.
Пушкин А. С., 19.
- „Рабочее Знамя“, 30.
Разгильдеев, 4.
Ракитников Н. И., 97.
Распутин, 118.
Реньо, 82, 156.
Рогов партиз., 9, 12, 15, 30, 31, 45.
Розанов ген., 10, 11, 26, 119—129, 131, 133—138, 142, 143, 164—166, 173—176, 178.
Романов М. („Вел. кн. Мих. Ал.“), 73, 111, 160.
Рубцов кап., 62, 92, 94, 100.
Рудов полк., 122.
„Русская Армия“, 147, 121.
- Савиньев, 177.
Сазонов Анаст., 80, 83, 84.
Саломатов Григ., 137.
Саров, 83.
Светоний, 162, 167.
„Свободная Сибирь“, газ. 58, 179.
„Свободный Край“, газ. 63.
Святицкий, 153, 177.
Семенов Ал-др, 137.
Семенов, атаман 60, 69, 101—103.
„Сибирская Жизнь“, газ. 58, 60, 73, 89, 95, 112, 168.
„Сибирская Кооперация“, журн. 72.
- „Сибирская Речь“ газ., 57, 112, 118, 157.
Сибирцев Гр. Прох., 28, 175, 176.
Сипайлов, ген. 148.
„Слово“, газ. 78.
Скоропадский, гетман 69, 120.
Солодовников, полк. 53.
„Соха и Молот“, газ. 20, 34—39, 41—49.
Стааль, 73.
Станиславе Ян, 137.
Старынкевич, министр '83, 95, 97, 98, 100, 101, 113.
Степаненко, мин. 71.
Степанов, с.-р. 141, 142, 177, 179.
Степанов, ген. 144.
Стефанек, чешский мин. 153, 154, 166, 169, 171.
Столыпин П. А., 66.
Струве П. Б., 108.
Сукин, мин. 119, 144.
Сумароков, полк. 167.
Сурин, атам. 102.
- Толкачев, пор. 127.
Толкунов, партиз. 14.
Толстой Л. Н., 40.
„Толчак“, 108, 116.
Тома Альбер, 95.
Троицкий П. С., 122, 126, 131, 132.
Троцкий Л., 93, 97.
Трубецкая, кн. 5.
„Труд“, газ. 168.
- Уманьский, учит. 60.
Урд, полк. (Ворд), 64—67, 157, 158.
Успенский Глеб, 40, 54, 106.
Устругов, мин. 112.
- Федорович, ген. 65, 158.
Феодорович Флориан, 62, 79.
Флуг, ген. 59.
Фомин Н. В., 57, 60, 62, 67, 68, 71—94, 96—98, 101, 105, 127, 132, 133, 153.
Фомина Н. Ф., 76, 85—87, 89, 92, 93, 109, 112, 157, 158.
- Хмельницкий Богд., 27.
Хорват Д. Л., ген. 58—60, 63, 69, 73, 102, 112, 139, 155, 157, 160, 161.
Храмцов, 179.
- „Центросибирь“ (коопер.), 78, 84, 85.
Чаусов партиз., 12.
Чернов В. М., 67, 97, 98.

Черненко Б., 97.

Черчилль, 64.

Чехов А. П., 115.

„Чехо-Слов.-Дневник“, 52, 152, 162.

Шатилов М. Б., 7.

Шемакин, кап. 123, 175—178.

Шильников, ген., 106.

Шипицын А. Н., 95.

Шимканов В. Г., 80, 83.

Шмераль, 150, 154.

Шредер, прок. 100—101.

Шульц Эрнест, 137.

Щетинкин, партиз. 9, 16—19, 30, 34, 51,
55, 124, 133, 134, 136.

Ядринцев Н. М., 4, 5.

Яковенко, партиз. 9, 24.

Яшнов, 117.

Эллинг Дж., 64, 156.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА. (Вместо предисловия)	3

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ.

Крестьянское движение при Колчаке.

I.— Общий обзор крестьянского движения в его разновидностях	9
1.— Значение крестьянского движения	9
2.— Общий обзор движения. — Южный район	10
3.— Общий обзор движения. — Томская губ.	14
4.— Общий обзор движения. — Енисейская губ.	16
5.— Партизаны в Минусинском уезде	18
6.— Тасеевский повстанческий район	20
7.— Партийные группировки среди крестьян	22
8.— Тайшетский повстанческий район	24
9.— Крестьянское движение и революционная оппозиция	26
10.— К характеристике крестьянского движения. — Сибирская махновщина	29
11.— Черно-Алтыйский съезд повстанцев	31
12.— Перед приходом советской власти	32
II.— Как понимали партизаны советскую власть	34
1.— О материалах по данному вопросу	34
2.— Справка из прошлого	36
3.— Крестьянские съезды в Минусинске	39
4.— Вопрос об интеллигенции у повстанцев	41
5.— Политическая программа повстанцев	43
6.— Что объединяло повстанцев	45
7.— Противоположные стороны партизанского движения	48
8.— Красноярские рабочие и партизаны	50
9.— Итоги и выводы	52

ОЧЕРК ВТОРОЙ

Как это было?

(Массовые убийства в Омске при Колчаке в декабре 1918 г.
и гибель Н. В. Фомина).

1.— Ценовые группировки в Сибири	57
2.— Омское восстание в декабре 1918 г.	61
3.— Адмирал Колчак и англичане	62
4.— Выступления польк. Уорда	64

- 5.—Н. В. Фомин и его общественная работа
- 6.—По приезде в Омск
- 7.—Мобилизация реакции.
- 8.—Перед гибелью Н. В. Фомина
- 9.—Рассказ жены Н. В. Фомина о его гибели
- 10.—Комментарии к рассказу Н. Ф. Фоминой
- 11.—Мое расследование по делу Н. В. Фомина
- 12.—Мин. юстиции Старынкевич об „офицерском самосуде“
- 13.—Еще раз у Старынкевича
- 14.—Чем заплатил Колчак за 18-е ноября.

ОЧЕРК ТРЕТИЙ.

Адм. Колчак в борьбе с крестьянством.

- 1.—„Проблема о мужике“ и адмир. Колчак
- 2.—Легенды о Колчаке
- 3.—Мое свидание с мистером Гаррисом и его результаты
- 4.—Диктатура омского военпрома
- 5.—Князь Кропоткин и его земельная программа
- 6.—Правительство о земельном вопросе
- 7.—В Красноярске при ген. Розанове
- 8.—По чьим директивам действовал ген. Розанов
- 9.—Адмир. Колчак и японцы
- 10.—На собеседовании с проф. Персом
- 11.—События в Ачинском уезде Енисейской губ.
- 12.—Что мы переживали
- 13.—Дело канского городского головы Степанова
- 14.—Что было делать

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ.

Кризис чехо-словацкой армии в Сибири.

- 1.—Роль чехов при Колчаке
- 2.—Что представляли собою чехи
- 3.—Чешская дипломатия и союзники
- 4.—Союзники и сибирская демократия
- 5.—Еще раз о проф. Персе
- 6.—Ген. Гайда и его отношение к Колчаку
- 7.—Позиция Богдана Павлу
- 8.—Богдан Павлу о расстрелах в Красноярске
- 9.—Как развивался кризис у чехов
- 10.—Кап. Шемякин о судьбе Бориса Моисеенко
- 11.—Снова в дороге.—На Алтае
- 12.—Новая встреча с ген. Гайдой

Указатель

Приложение: Карта повстанческих районов средней Сибири при Колчаке